



Любовь Баканова

**БРЯНСКИЕ  
ХАТЫ,**

**РУССКИЕ  
БАБЫ**



**Любовь Баканова**

Брянские хайку  
русские бабы

(Лирические зарисовки  
об уходящей деревне)



**Соликамск, 2007**



## **Дорогой Друг - читатель!**

Позволь мне обратиться к тебе именно так, ибо, если ты заинтересовался этой книгой и, к моей большой надежде, она тронет хоть какую-то грань твоей Души, я вправе считать тебя другом, а Души наши - состоящими в искреннем родстве. Моя скромная книжка - это дань светлой памяти моей малой родине, моему деревенскому детству и заброшенной, уходящей деревне. Сейчас, к величайшему сожалению, ничего не пишется о деревне, о простых людях-тружениках - все заполонила "другая литература". Не стало замечательных русских писателей "деревенщиков", болеющих и страдающих за несчастных мужиков и баб. Навсегда покинул этот белый свет и самый чуткий, самый трогательный, самый радеющий за "болезного" российского человека, на котором зиждется процветание всего общества и которому достаются крохи от его "благодетеля", великий писатель Виктор Петрович Астафьев. Я имела огромное счастье целое десятилетие переписки с ним. В одном из писем он называл меня дочкой и я, по-дочернему, откликаюсь на его признание своим маленьким вкладом литературного творчества, в котором живет, пульсирует, бьется моя живая и, пусть, наивная женская Душа.

Книга писалась удивительно легко и быстро; будто кто-то из моих дорогих - родных, ушедших в мир иной, водил меня за руку, и я часами не отрывалась от бумаги. Она очень автобиографична и лишь небольшие "литературные художества" дополняют ее. В ней я сохранила родной, местный говор и интонации. Но, насколько легко и быстро она писалась, настолько тяжело и долго шла к изданию. Как уже не однажды случилось в истории нашего общества - все перевернулось с ног на голову; произошла очередная переоценка ценностей. Миром правит капитал; бешеная, жестокая гонка за подвернувшейся в данный момент (а вдруг он короток!) наживой, в которой черствеют, плесневеют человеческие души, отметающие на своем пути всякое сочувствие, понимание, доброту и щедрость. И найти хоть какую-то мало-мальскую помощь очень трудно. А еще труднее, если ты бедный, но гордый.

Но вот что удивительно: как бы не ломали-коверкали, изменяли-перестраивали людскую Жизнь-историю, возводя на трон Богатство, Силу, Власть - в конце концов, в разумном обществе, все-равно побеждают непреходящие ценности - Любовь, Доброта, Великосердие. Может быть, поэтому мы еще существуем?!! Пока существуем...

Мне очень дорога эта книга. Я не ставлю ее никоим образом в один ряд с иными материальными благами, ибо они имеют способность быть тленными, и только человеческая память и душа, облаченные в незамысловатые книжные строки нетленны и вечны.

Парадокс: я очень жизнелюбивый и жизнерадостный человек, а в книге моей много грусти и печали. Но свет любви сияет в ней!!! Приятного прочтения, дорогой друг!

**С любовью, Любовь Баканова.**

## Вечные ракуты или Грусть Возвращения

Теть Шуру Кудрину, по-уличному "Кудриху", доживать своё век, увозила в город средняя дочь Веруся. У Кудрихи было огромное семейство. Только одних девок - пятеро, да ещё четыре малого (сына). Были ещё "ребята", умершие во младенчестве, о коих Кудриха не очень-то тужила, а скорее наоборот, уж слишком часто и щедро господь одаривал её материнством. Две дочки Кудрихи жили где-то, далеко, то ли на Урале, то ли в Сибири. Один из сыновей обитал под Москвой, остальные же все находились близко, "рядушком", как она сама говорила. В областном центре. Потому Кудриха сильно не горевала, что уезжает из родной деревни. "Ребята усе рядом, буду переходить от одного к другому", - улыбалась она морщинистым ртом, с оставшимися, кое-где, вставленными давным-давно, металлическими зубами.

Да и что было горевать!? На деревенской улице, зарастающей дурнотравьем и жёстким, будто металлический, камышом, напивавшим со стороны болота, оставалось всего несколько жилых хат. Как говорится, раз, два и обчёлся! В одной из таких хат жила теть Катя, таких же преклонных годов как Кудриха, с другого конца деревни доживала свою долю Марусяка Чурова. "Чуриха". В серёдке же улицы, когда-то длинной и многоголосой, жили ещё две-три бабки, наверняка, завидующие Кудрихе, и тоже надеющиеся на своих ребят, что и им повезёт, и их заберут к себе, и им удастся хоть напоследок отведать сладкой городской жизни. Остальные же хаты, одиноко и сиротливо стояли с вылинявшими бревенчатыми стенами, крашенными, когда-то, в модный на деревне красный или голубой цвет (что интересно, в красный цвет красили саму хату, стены, а уж веранды и крылечки всегда были голубыми), со слепыми окнами, грубо заколоченными досками, с засохшими садами, всё от того же наступающего на деревню болота, служившим раньше зелёным пастбищем для многочисленных стад гусей, которые имела каждая семья. К любой из этих хат уже трудно было подступиться из-за разросшегося в человеческий рост бурьяна и липнувшего ко всему репья - "дедовника". Теть Шура-Кудриха, когда-то молодая, статная женщина, с пшеничной косой до самых колен, теперь же согнутая "в три погибели", но ещё с лучающимися, молодыми глазами, помнила и другую улицу.

Та улица была разметена где веничком, а где и крылышком гусиным, что было чаще, от самого крыльца, через всю дорогу, до противоположной стороны, где размещались сараи с закутками для скота. Так уж было заведено! И редкая травка росла только по обочинкам да в проулке.

В каждой хате была куча детей. По едокам в колхозе выдавали

зерно: рожь и пшеницу. И вот, у каждого крыльца, по лету, сушили "хлеб". На пастелках и разных половичках была рассыпана золотая пшеница и рожь, которые от солнечного июльского нагрева наполняли улицу неповторимым, незабываемым хлебным духом. Ребячья-детвора должна была охранять эти поляны-россыпи от птиц, "птушек", но и сами "ребяты", как те же птушки, игрались, резвились, кидались горячим зерном друг в дружку, невзирая на ругань старших, катались по тёплым "хлебным одеялам" и смеялись, заливались, то ли от щекотливого прикосновения колючих зёрнышек, то ли, просто, от детского счастья, неомрачённого ещё невзгодами человеческого бытия.

Теперь же разлетелась многочисленная детвора, а большинство деревенских мужиков и баб переметнулась на вечное место жительства, в "зелёные рякитки". Так зовётся здешний погост, находящийся на пригорке, почти рядом с деревней. Действительно, пышные кроны зелёных раки как будто укрывали какую-то вечную тайну и были видны ещё издалека, при подходе с любой стороны.

Уезжала Кудриха после "родителей" - родительской поминальной субботы.

"Вот, девки, свозитя мне к батьке на могилку, а потом и отправимся".

Дочка Веруся решила устроить по случаю отъезда прощальный обед. Старая Кудриха была довольна: соберутся оставшиеся соседки-подружки, посидят, "побалакают", кто знает: увидятся ещё или нет.

"Скорее на том свете увидимся теперя..." - грустно улыбалась Кудриха.

Веруся сообщила матери, что приехала с Урала Виктория, удивившая им недалёкой родственницей, а с Верусей, когда-то, в детстве они были даже закадычными подружками, "не разлей вода". Кудриха искренне обрадовалась и наказала дочке, чтоб непременно пригласила Вику на "проводы". Сама она, в далёкой молодости, также дружила с матерью Вики.

...Виктория приехала неделю назад. Сейчас же, находясь в районном центре по своим главным делам, она решила, попутно, побродить по местам своей юности. Посмотреть на школу, где заканчивала девятый-десятые классы: в их селе была только восьмилетка; найти школьный интернат, где жила два этих учебных года. Там должен быть старый яблоневоый сад, в котором валялись они с девчонками под кипенно-белыми майскими яблонями, с незабываемым, ни на что не похожим тонким нежным ароматом. Зубрили билеты к выпускным экзаменам, но, боже мой, над головой так романтично синело голубело небо, так ярко светило солнце, так разноголосовесело щебетали птицы, что никакие параграфы не лезли в бесшабашные головы. После восьмилетки Виктория не захотела идти ни в педагогическое училище, ни на "докторину", как хотела её мамка, а

вот, дай-подай ей школу-десятилетку в районе, и именно, школу имени М.Горького. Сейчас она стояла у этой школы, всё такой же, неизменившейся за целое тридцатилетие и, даже сотни раз крашенный горьковский бюстик у входа, выглядел вполне сносно. Другие девчонки и мальчишки торопливо, по-детски беззаботно, шагали к школьному крыльцу. И всплыла в памяти наивная, подвижная девчонка-девушка Вика Гамина. Вот также, торопясь, зачастую опаздывая, она летела дворами в школу, и в класс врывалась перед самым звонком, покрасневшая, весёлая и... счастливая.

Хотя, какое уж там счастье?! Жила в интернате; выданный ей матерью "трояк" давно "съеден", а от "Пирожковой", мимо которой Вика носилась в школу, так аппетитно, так невыносимо-вкусно тянуло жареными пирожками. Но впереди - жизнь, неизвестность, и Виктория надеялась на какую-то необыкновенную, выдающуюся судьбу.

...Интернат свой она так и не нашла; кружила-крутила дворами, наткнулась на новые гаражи, а строения и яблоневого сада как и не бывало. Она поинтересовалась у проходившей пожилой женщины и та ответила, по-местному, излишне удивлённо:

"Дык, яго уже давно тут нету! Ты что жа, милая? Давнуще тут не была? Усё, усё порастаскали, по брёвнушку разнясли, а яблони порубили - оны уже старые были".

Виктория грустно улыбнулась, слушая забытый ею местный говорок, смешанный с украинскими и белорусскими словечками, интонациями. Нигде больше она не слышала такой речи, для других, может и непонятной. И часто друзья Виктории спрашивали у неё:

"Брянские - это кто? Бульбаши или хохлы?"

"Да русские мы, русские!" - смеялась она в который раз.

Молча, с щемящей, но светлой печалью в душе стояла Виктория на уже незнакомом месте, бывшем её школьном пристанище ранней юности. Как будто это было, ну, совсем недавно. Перед глазами возникла картина. Картина в движении. Прошло столько лет, но она и сейчас почувствовала всем сердцем ту неловкость, обиду на саму себя, растерянность после случившегося.

...Тогда, много лет назад, Вика Гамина стремилась попасть именно в эту школу из-за большой влюблённости в высокого симпатичного мальчика. Несмотря, на довольно тёмные круги у него под глазами, что она сразу заметила, мечтам её не было конца: он ей казался самым красивым. Впервые она увидела его в общерайонном школьном походе по местам боевой и партизанской славы, куда её как отличницу и "общественницу" направила сельская школа. Время было золотое, неповторимое, и длилось почти целый июнь. Путешествовали на открытом большом "газике". Сначала по Брянщине, а затем, переправившись через Десну, поехали партизанскими тропами Орловщины. Спали в палатках, по пять-шесть человек, "покатом". Главное, все вместе, мальчики и девочки. Вот время и воспитание! Ни у кого не возникало никаких "крамольных" мыслей, никто

ни разу из ребят не выразился пошло и цинично. Наоравшись до полуночи песен у костра, даже не чувствовали нескончаемого писка комарья - спали как убитые. Молодёжонькие, здоровые - всю поездку подкупали хлеба - не хватало на растущие организмы отпущенной нормы. И вот, с самого начала была организована общая концертная бригада, где Вика Гамина с Васей Кузиным, "Кузей", пели дуэтом. "Алёшу". На баяне играл талантливый дядечка, Глеб Петрович, как оказалось потом, страдающий припадками эпилепсии. Это случалось несколько раз, и зрелище было не из приятных, но Вике было очень жаль его, и всякий раз она старалась хоть как-то и чём-то помочь ему, уделяя повышенное внимание. Играл Глеб Петрович великолепно и старательно, и также старательно, с душой, "выводили" Вика с Васей про "Болгарии русского солдата". Там Вика и влюбилась в "Кузю", Васю Кузина, и решила, во что бы то ни стало, продолжить учёбу только рядом с ним. Поход завершился, и она с нетерпением ждала начала учебного года, ещё и ещё вспоминая тёмноволосого мальчика из районной школы.

Ей немного не повезло: попасть-то она попала в эту школу, хотя для сельских ребят была предназначена другая, имени Тамары Степановой, (почему-то всех селян отправляли туда), а вот определили Вику в 9 "А" класс, когда объект её воздыхания учился в 9 "Б". Но, всё равно, она была счастлива. Каждый день видела его, старалась, как будто случайно, наткнуться на него в коридоре, ловила его взгляд, но Вася Кузин был очень популярен среди девочек. Девочек бойких и уверенных в себе. Он вроде бы совсем забыл, как слаженно, дуэтом, пели они с деревенской девочкой Викторией в летнем лагере.

Под Новый год состоялся костюмированный школьный бал. Вика нарядилась цыганкой и выглядела эффектно. Большая, шёлковая, с переливами и длинными кистями красная шаль на плечах, широченная цветная юбка до пят и распущенные тёмные волосы, действительно, делали смуглую Вику похожей на цыганку. На празднике работала "новогодняя почта". Можно было послать записочки кому пожелаешь. Вот где выпала возможность хоть как-то намекнуть хладнокровному "Кузе" о своих чувствах. В записке она попросила Васю исполнить с ней цыганский танец. Она боялась робела, не представляя что из этого получится, но ей так уж хотелось, пусть на минутку, завладеть его вниманием. Танца не вышло, хотя Вика видела, как он читал её записку, но когда расстроенная Вика одевалась в гардеробной, к ней подошёл Вася и попросил подождать его на улице. У неё учащённо забились в груди, сердце колотилось так, аж захватывало дыхание. Не помня себя, она уже через секунду стояла на зимней предпраздничной улице. О, счастье! Есть ли ещё подобные минуты на свете?!

К ней подошла Галка Зернова, тоже жившая в школьном интернате, но учившаяся в другой школе. Вику передёрнуло от негодова-

ния: только её здесь и не хватало. И как она вообще здесь оказалась? Наверное, была приглашённой на бал.

Галка ей шепнула:

"Сейчас выйдет сюрприз!"

И "сюрприз" вышел. В образе Васи Кузина. Вика, ничего не понимая, чувствуя смятение, но не подавая виду, улыбнувшись сказала:

"Ну, что ж, потопали!"

Они шли рядком - Вика с Галкой, а Вася шагал чуть в сторонке. Провожал. Но кого? Уже почти дошли до интерната, остановились, вспоминая бал, когда Вика, вдруг, ни с того, ни с сего, встрепенулась и, увидя горящий свет в своей комнате, вскрикнула:

"Ой, там же, никого сегодня нету, а огонь горить!"

Она бегом понеслась к интернату, сама не понимая, зачем ей это надо, но где-то далеко-далеко сознавая в себе, что именно сейчас ей надо выделиться, показаться, чтобы он, молчун-кавалер обратил на неё внимание. Чтобы он забыл про стоящую рядом Галку Зернову. Она ещё бежала, но что это? В один миг острая пронзительная боль сковала ей грудь и живот. Она лежала на небольшой куче стылого песка, незамеченной ею, в которую она врезалась со всего маху, на полном бегу. Может быть, лежала она на этой злосчастной куче какую-то минутку-две, но стыд, боль, обида, страшная неловкость за это неуместное падение, приостановили, как будто, время. Совсем недалеко стояли Галка с Васей. Они, конечно, всё видели, и Вика больше всего боялась сейчас их смеха. Но смеха не было. Стояла звенящая тишина. Наверное, они тоже испугались. Вика поднялась, потряхнулась и тихо, тихо пошла на горящий в её комнате "огонь". Так говаривала бабушка маленькой Вике:

"Вица, задуй, доча огонь!"

или "зажги огонь". "Задуй огонь" осталось от того времени, когда в деревне коптели керосиновые лампы и надо было дуть на стекло, чтобы лампа погасла. А сейчас у Вики всё внутри жгло, горело этим огнём. Она глотала горячие слёзы и войдя в комнату, увидела свою мамку. Стало ещё горше и тоскливее. Мать испугалась:

"Ты, чаго ж, доча? Кто тебе обидел?"

Вика стеснялась как материнских ласк, так и своих к ней. Немного погодя, она успокоилась, хотя боль ноюще ещё давила внутри. Мамка навезла гостинцев голодающей доче.

Об этом случае Вика старалась потом не вспоминать и даже не поинтересовалась у Галки, как долго они тогда простояли.

И удивительно, как-то постепенно, стал "уходить" из её сердца Вася Кузин. Получается, боль физическая дала ослабнуть "боли" душевной.

Да, прошло целых тридцать лет, а грустные, приглушенные давностью, те далёкие ощущения, как будто ожили и взволновали нестареющую душу. Вика посмотрела на часы и решила вернуться на

автовокзал. В помещении вокзала было немногочисленно и удивительно чисто. В предыдущие приезды Вики пол здесь был густо усыпан шелухой семечек и табачными окурками. Сейчас, пол же, выстланный цветным линолеумом, был подметён и даже вытерт влажной тряпкой. Вика вслушивалась в разговоры ожидающих своих автобусов пассажиров из разных деревень района. Рядом с ней сидели две дородные, ещё крепкие пожилые женщины. Обе одеты в модные, когда-то, яркие пуховики, наверняка, доставшиеся им после ребят. Головы, круговую, повязаны хорошими, серыми, пуховыми шалями. У ног их стояли связанные ручками большущие сидора-сумки. Как Вика догадалась, приехали закупаться "продуктами"; во многих сёлах-деревнях позакрывались магазины. Одна из них, лет под семьдесят, постукивая самодельной палкой-клюкой говорила другой, чуть постарше.

"Я ить, Сим, чичас не одна живу. Малай со мною (сын). Ен со своею бабой разбегились и, вот. Куды жа типеря? Тока к мамке. Мамка усегда примить. А яму самому уже сорок два года".

Другая добавляет, печально глядя перед собой:

"Оны жа, Паня, сичас вумныя усе стали! Бабы усе современныя - чуть чаго, сразу развод! Мы то, помнишь, жили и не знали куда бечь от пьяного мужука, когда ён забушуить. А чтоба разводиться, того и в заводу не было".

И грустно, и смешно было Вике слушать этот разговор, и как губка впитывала она уже позабытые, но такие родные выражения. В зале ожидания стал прибавляться народ. Автобусы, без объявления диспетчера подходили и уходили от вокзала, но сельский люд уже знал, чей и когда отправляется. Из дальнего угла Вика услышала громкую ругань. Женщина кричала, не обращая никакого внимания на окружающих её людей.

Подвыпивший мужичонка, лет сорока пяти, в чёрной, во многих местах лопнувшей дермантиновой курточке, в серой помятой фетровой шляпе, но зато, с когда-то пышными, пшеничными, а теперь, прокуренными усами, всё порывался "выйтить покурить". На что, не стеснясь орала его жена:

"Сядь, гад! И куды ты усё рвёсся? Сичас уже поедем, иди, сядь на место!"

Рядом стояла худенькая, остроносая девочка, лет пятнадцати, наверняка дочка, уж очень похожая на мать. И когда, очередной раз, мужичонка хотел двинуться к выходу, эта худосочная дочка заорала резким, ненавидящим, в данный момент, своего папочку, хрипловатым голосом:

"Табе что говорить? Сядь, сиди и боля ни гавкай!"

Вика поразились такому обращению с родным отцом:

"Надо же, как разговаривает, а тот умоляя всё просит и просит её "выйтить всяго на минутку"".

- Да, толька тебе и отпусти - ты сичас же нахрёшься! Табе ж

усё не хватать! - выговаривала несчастному мужику здоровенная в плечах, но невысокого роста жена, с таким же острым лицом, как у дочери.

Неприятно стало смотреть Вике на эту семейную драму, и она вышла на улицу, скоро должен был подойти автобус. Через несколько минут рядом с ней оказалась эта кричащая тройка. Им было ехать совсем недалеко, и именно в Викином автобусе. Вика знала ту деревню, недалеко от райцентра. Когда-то даже бывала в гостях, у далёких родственников. На улице к вечеру заметно похолодало, всё-таки конец октября. У девчонки, одетой очень легко, в тонкое пальтишко из ангоры, уже вышедшее из моды, о чём она, вероятно, не знала и чувствовала себя, наоборот, модной девушкой, с маленькой чёрной сумочкой через плечо, сильно покраснел острый носик. Она была "раскрытая", как говорят на Брянщине, то есть без платка или шапочки, и конечно, было заметно, что мёрзнет страшно. Пьяненький мужичок - папа, только и наговаривал - упрашивал:

"Доча! Накрый же ты платок! Ты же уся замерзла! Или шапку надень, гляди, нос какой красной!"

"Доча" же, держа форс, рявкала:

"Я скызала табе, не гавкай! Скоко ты будешь мне и мамке нервы трепать?!"

Вике так не терпелось встрять в этот разговор, одёрнуть неблагодарную "дочу", но подъехал автобус, и началась посадка. Автобус был какой-то кривобокий, с разбитым оконным стеклом, и, когда шумная толпа деревенских стала напихиваться в него, он перевалился на другую сторону.

"Ну, такую трахому дают только для нашего села", - подумала Вика.

Она видела и узнавала лица немногих своих земляков, прибывших к посадке в последний момент, а они в толкотне и криках, не обращали на неё никакого внимания. Вику втиснули общим потоком в автобус, и она уселась радостная, что даже место досталось в самом дальнем уголке. Земляки, в основном бабы, стали успокаиваться, рассаживаясь, размещаясь со своими котомками. Последней в дверцах автобуса застряла бабка Лиза с двумя большими сумками:

"Ох, бабы, подмогнитя! Сичас пукну!"

Сидящие впереди втащили бабку, удивляясь, "чего это она накупляла?"

- Дык чаго-чаго! Тут вот хлеб и булки, а у другой сумки плитка электрическая. Сосед Толик заказал, вот и чуть не пукнула, ташу!

- Ну, конечно, твоему Толику некогда. Как же. Кто водку хлебать будить? - улыбаясь говорили бабы бабке Лизе.

Вика тоже засмеялась, опять же вспомнила, как смеялись над ней новые друзья, когда она сама так разговаривала. Вот это словечко - пукнуть. В её родной местности оно означает: "упасть", "упа-

ла". Бывало, мать скажет кому-то из своей многочисленной ребятни:

"А ну-ка, Вик, Том, сбегайте-ка, у сад, там, наверно, полно яблок понапукало!"

И ребята неслись в летний сад, особенно после дождя, где много было яблок-"пуканцев", то есть нападавших яблок. Где-то их называют падалицей, а здесь же, смешным словом - «пуканцы». Хотя, слово «пукать» имеет совсем другое значение. Но, бабка Лиза, слава богу, не пукнула, то есть не упала, а стала пролезать через лежащие в проходе сумки в конце автобуса. Увидев Викторию, она долго-долго глядела на неё, затем, покачивая головой, сказала:

"Вица! Да никак ето ты? Ох, господи, ну и хороша ты стала!"

Вика уступила ей свой уголок. Бабка уселась и ещё громче, радостная от успешной посадки, почти закричала:

"Вика! А тебе, наверное, никто не узнаёт, вот какая ты стала полнущая. Наверное, хорошо живешь?"

Вика засмушалась и отвечая на повернутые к ней головы деревенских баб, на их любопытные взгляды ответила:

"Нормально живу, мои дорогие! Вот приехала к брату, гощу у него целую неделю. А сюда, в райцентр, приезжала по своим делам".

Ей не захотелось подробнее объяснять причины своего приезда всему автобусу, во всеуслышанье, и так стало тоскливо на душе, что из глаз готовы были пролиться, вот-вот, слёзы.

...Ровно десять лет не была она на своей малой родине. Мешали всякие житейские проблемы: то рос-болел маленький сын, то "болел" - пил дорогой муж, которого она всячески спасала - лечила, нянчилась с ним, ровно с куклой, и, в конце-концов, он трагически погиб, опять же из-за пьянки. И все эти годы она не забывала, помнила наказ своей теть Нюры. Мать Виктории уже давно лежала рядом с бабушкой Машей под старой раскидистой, с расколовшимся надвое шершавым стволом, зелёной и, значит, ещё живой раkitой. В прежние годы, когда Вика приезжала в гости к теть Нюре, они сразу же шли на деревенский погост. Попричитав в голос на могилке своей младшей сестры, матери Вики, потом, как-то, резко остановившись и подёргав могильную траву, теть Нюра доставала из сумки самогонку, крупнонарезанное, "пальцами", сало, сваренные "вкрутую" яички, хлеб, и они с Викой поминали. Помянув родных, начинали обходить остальные могилки погоста. Увидев, что на каком-нибудь памятнике, кресте, нет фотографии, теть Нюра огорчалась и говорила Вике:

"Вот, девочка, когда умру, чтобы карточка у mine была! Пусть заместо креста палку какую-нибудь поставите - воткните, ну чтобы карточка была, и я на ней - молодая. А то, гляди, подошли и не знаем, хто тута ляжить! Так что, помни мой наказ!"

...В автобусе, наконец, наступило затишье и он, натужно гудя, дребезжа разбитым стеклом, мчался по давно проложенному шоссе, по

обе стороны которого стоял сумрачный, почти безлистный берёзовый лес. Скоро он свернул на укатанную дорогу и поехал средь полей и лугов, всё ближе и ближе к родному селу. Вике вдруг захотелось выйти из автобуса, немного не доезжая, и пройтись пешком, подышать вольным родным воздухом, может быть, вновь "уловить", вспомнить те далёкие ощущения, когда она быстрой, волнуемо-эмоциональной девочкой бегала по этим дорогам. Она попросила шофёра остановиться и, под удивлённые взгляды земляков, вышла из автобуса, благо, невелика была её поклажа: в сумочке лежало три керамических фотоснимка.

"Боже мой! Как хорошо-то!"

Свежий прохладный ветерок нежно оглаживал её горячие щёки и лоб. От встречи с бабами, от их разговоров, сердце ещё волновалось и ей так приятно было остаться одной, со своими мыслями - "думками", как говорила её покойница - мать. Вика шла по дороге, пустой в этот предвечерний час, глядя по сторонам на зарастающие поля, где вроде бы, совсем недавно были такие прекрасные пашни, и её тётушка Нюра, с деревянным аршином в руках, бегала босиком по мягкой рыхлой земле - отмеряла сотки своим колхозникам-работягам. Вика остановилась. Сначала тихонько, а затем, наращивая мощь, во весь голос, запела, благо, никого рядом не было:

"Поле, русское поле,

Светит луна или падает снег..."

Веяло глубокой печалью от этой окружающей тишины, от срывающегося, когда-то сильного голоса, и Вика зашагала дальше. Ей захотелось, как в юности, "рвануть" вперёд, оставляя за собой свистящий ветер, бежать, лететь и чувствовать сопротивление встречного воздуха. Но, пройдя быстрым шагом несколько минут, при попытке "рвануть", Вика, вдруг, стала задыхаться. Вот тебе и Вица - "чечевица", "поскакушка - попрыгунья", а сейчас располневшая баба Виктория.

"Нет, похудее бы была, точно бы побегла!" - улыбнулась сама себе она, заметив, что скоро заговорит на родном, местном языке, вспомнив "смешные" словечки.

Теперь по обе стороны дороги, лежали вольные, добротные, когда-то, луга, покосы. Каждое лето, на целую неделю уезжали деревенские мужики на "косовицу". Ночевали в самодельных палатках и каждый день, с утра, однорукий Пашок объезжал хаты, собирая харчи для косарей. Вечером же, "ребяты" встречали его лошадь у околицы, и Пашок раздавал им бутылки и банки, уже заполненные ароматной, нежной земляникой, пахнувшей июльским жарким солнцем, зелёными травами и яркими цветами, которую собрали их отцы на летних лугах и косогорах. И долго потом сохранялся этот земляничных запахов в бутылках, банках и другой прочей посудине.

"Боже мой! Как всё запустило, заросло! Неужто это всё так и уйдёт-пропадёт?! Ведь жило и трудилось целое поколение, наши отцы и матери?! И что же будет дальше?"

Перед самой деревней Вика свернула в "Первый бор", хотя никаким бором он не являлся - так, пышные кусты ив и краснотала, да высокие, раньше сочные травы. Просто от деревни это был первый лесной массив, а дальше шли "Маркины сосёнки", где уже было раздолье для грибов, в основном, маслят, "мостами" растущих на белёсых, моховых полянах.

Как часто Вике снилась эта дорога. Тогда ещё автобус не ходил до самого села, и деревенские бегали пешком двенадцать километров, до самой станции. За "Маркиными сосёнками" находилось болотистое место - "Палом". При переходе здесь всегда возникали проблемы, потому как было очень топко, сыро, грязно. Машинам приходилось далеко объезжать его. Затем шёл большой смешанный лес, с преобладанием елей и сосен, где неширокая тропинка-дорожка была засыпана шишками и иголками этих деревьев. Лес был какой-то "весёлый" и уютный, в нём никогда не было страшно; по прохождению середины его стояла небольшая скамейка для отдыхающих. Назывался этот лес - "Пасеча". Выйдя из "Пасечи", открывалась длинная песчаная дорога, которая вела уже до самой станции, прерываясь раза два торфяными разработками.

Семнадцатилетняя Вика преодолевала эту дорогу за полтора часа. Но иногда, по осени, вбегая в уютный лесок, она падала под желтокудрую берёзку или величественную сосну и часа два читала "Два капитана" В.Каверина или любимого Павку Корчагина, окунаясь в прекрасный, призрачный мир героев-романтиков. Она и сама тогда была первый романтик - ученица районной школы.

"Да, надо признаться, нет теперь той беззаботной, наивной Викишки, как нет и многих родных, дорогих сердцу людей. Их нет, по-настоящему, вообще, хотя пока я жива, они живут со мной, во мне..."

"Думки" лезли в голову Виктории, а перед её глазами уже предстали посеревшие деревенские хаты.

На другой день, как раз накануне родительской субботы, Виктория с братом Виктором отвезли на погост металлические ажурные кресты, заранее привезённые из района, и, когда завершили всю работу: поставили эти скромные памятники, вкопав в могильные холмики, привинтили к ним карточки с родными, молодыми лицами, как и хотела теть Нюра, подравняли, утоптали жёлтую, глинистую землицу - под осенней почерневшей ракушкой, вдруг стало как будто светлее, радостнее, и даже солнышко проглянуло из-за хмурых туч. Наказ был выполнен, и теперь, наверное, тетюшка перестанет сниться дорогой племяннице, где она, в снах, всё куда-то бежит, торопится. Виктория не побоялась остаться на кладбище одна, чтобы навестить могилы своих ушедших земляков, как когда-то с тетей Нюрой они обходили их. А ведь, будучи маленькими, вечерами, даже боялись смотреть в сторону кладбища, особенно после того как пона-рассказывают друг другу страшные небылицы. Виктория ходила по погосту, подходя от одного могильного холмика к другому, вдруг,



...И на погосте,  
за оелом  
Я поклонюсь  
крестам...

внезапно останавливалась, будто споткнувшись. На фотографии улыбались, грустили, были как живые её знакомые, такие родные мужики и бабы - бывшие соседи. Никак не верилось, что вот под этой ракушкой, с кривыми толстыми сучьями, лежит тетя Лида, так часто заходившая к ним в хату, целыми длинными вечерами просиживающая у них, и всё время что-то рассказывающая. Всегда улыбающаяся, незлобивая, хотя была одинокой, она и на карточке такая же улыбающаяся, чуть набок склонившая голову. Какое-то время, она жила с мужиком-вдовцом из соседней деревни, но он оказался сильным выпивохой, и привыкшая к покою тетя Лида, прогнала его, хотя и ждала ребёнка. Как же она была счастлива рождению сына. Ни на миг не отходила от подвешенной к матице люльки. Балдахин над нею, из красивого тюля, закрывал, оберегал слабенького дитя от нехорошего глаза. Но ничего не спасло мальчика. Родившись очень болезненным, он вскоре умер. Тетя Лида и сама заболела с горя. Заболела серьёзно и об этом страшном названии болезни в деревне ещё знали мало. А на фото она улыбающаяся и только в глазах грустинка несложившейся бабьей доли. Рядом лежат тетя Аня и дядь Ваня. Дружная добрая пара. Один из них совсем ненадолго пережил другого. Вике вспомнилось, как она завидовала их единственной дочке Надьке, что в деревне большая редкость, которую они наряжали как куклу; в семье же Вики, помимо её, было ещё пятеро детей. Сейчас вот и Надька где-то далеко, и такой грустно-смешной показалась та детская зависть.

На душе Виктории было тоскливо-тревожно. Она чуть не запнулась о следующую могилку и, подняв глаза, встретилась с карим, пронзительно-острым взглядом с фотокарточки её ровесника - Вовки-Дыбы. Глаза его, давно лежащего в сырой земле, настолько казались живыми, что нутро Виктории опухло холодком ужаса. Она поклонилась могиле, три раза касаясь её рукой, не отрывая взгляда от фото. Перед её глазами промелькнула картинка детства. Вот они с Вовкой прячутся в высоких лопухах, в бузине... , вот поздними вечерами, вместе с другими ребятами, крадутся в колхозный сад за "дулями" - здоровыми жёлтыми сладкими грушами. А вот, картинка уже повзрослее, подушечкапательной: Вики хочет покатать на "Яве" приехавший в гости, к бабушке, городской мальчик, почти юноша. Им уже по пятнадцать, и Вика, такая гордая, сгорающая от желания "прокатиться с ветерком", залезает на заднее сиденье мотоцикла. Вовка-Дыба, красный от злости, а может, и стыда за себя или Виду, стаскивает её, упирающуюся, и рвёт подол платья. Она снова вскакивает на мотоцикл, в глазах Вовки слёзы. Городской мальчик жмёт на газ, Вика обхватывает его худую спину, и они мчатся через всю улицу, вылетая за деревню, и ветер полощет Викины длинные волосы. А на деревянном крыльце хаты остался Вовка-Дыба, ещё не понимающий что с ним происходит и, потому, он злится и сорвав в палисаднике незрелый подсолнух, пробует

его семечки, отчего-то солёные, кидает жёлтую "шляпу" (так у них зовутся подсолнухи) прямо в дорожную пыль. Только потом, спустя время, Вика поймёт, вспомнив, и догадается, что это было зарождение чувства, которому не суждено было сформироваться и по-взрослому проявиться. Вовка попадёт в тюрьму, подравшись с приезжими "шефами" - ребятами из областного вуза, и побитый им парень окажется сыном высокопоставленного чина. Вика переживала за него и писала письма. Вышел Вовка через шесть лет и был совершенно другим человеком. Женился. Пожили недолго. После развода хотел податься на заработки, на Север. Не доехал. Его сняли с поезда, истыканного ножом, и бедная мать, несчастная тетя Клава, еле-еле опознала его. Сейчас она покоилась рядом с сыном и никак не представлялось, что "Клашка-артистка", "Клашка-красавица" уже не живая, горячая кровь и плоть, а некая непонятная субстанция, засыпанная горкой жёлтого песка. Тётя Клава, действительно, была очень красива. Высокая, статная, с толстенькой чёрной косой вокруг головы. Зная, что хороша собой, не могла пройти мимо зеркала, чтобы не поглядеться. Бригадирша Дуська так и рассказывала: "Бегая я, бабы, повещаю на работу, захожу у хату Дыбихи. Никого. Я тоды сов у зал, гляжу, а Клашка сидит перед трюмом и головой крутить. Туды-сюды, туды-сюды. Ой, ты батюшки, красота писаная, так собой любитесь! Ну прям, артистка, ничего и не попишешь!"

Так вот, эта самая "артистка", также, как и многие земляки Виктории, жизнь кончила трагически. Похоронив сына, а вскорости, и мужа, тетя Клава запечалилась, захандрила и как-то быстро состарилась. У кого, ведь, какая старость... Иные городские женщины и в пятьдесят лет ещё надеются на судьбу, ищут счастья, прибегая к различным женским ухищрениям. А в деревне баба в пятьдесят - почти старуха. И больше душой, иструдившейся и изболевшейся, нежели огрубевшей внешностью. Выпустив в "белый свет" оставшихся ребят и оставшись одна в пятистенной хате, тетя Клава затосковала. Всё чаще и чаще стала она прибегать к единственному русскому спасению от злой тоски - кручины. Самогонный аппарат хранился у неё на чердаке. Загасив своё вдовье горе самогонкой-первачом, тетя Клава веселела, и тогда вся хата её оглашалась криком-песнею. Но к соседям она ходить перестала. Замкнула на замок не только свою хату, но и сердце. Пила в одиночку. О том трагическом утре, опять же, поведала бригадирша Дуська: "Я, вить, ей скоко раз балакала: Клаш, будя, Клаш будя! Етым ты, говорю ей, сабе жисть не облегчишь! А она лыбитца и отвечать: "Ох, Дуська, ничаго ты не понимаешь! Я как выпью и сразу так усё хорошо, так мила. Вот дажа ты, страхолюдина, и то красивой кажешься. Толька ба нутря выдержали!" А сёдни я забегла к ей, хотела муцицы занять, мой змей блинов захотел, да и выгурить её на хверму, а у ней дверь - наглухо! Тогда я покликала Ваську Миклухина, ён и залез у окно. А Клашка, наша красавица, (здесь у Дуськи сырели глаза) как, видать, ишла к

дверям, так и грохнулась. Ляжить головою на пороге и виски даже не заплела".

...Несложившаяся жизнь, тяжелая судьба. Виктория вдруг подумала, отчего так мало счастливых семей в её родном селе?! Что ни хата - то трагедия! Непросто жили папки и мамки - у детей, зачастую, жизненная тропа тоже не усыпана розами. Сколько ровесников уже лежит на отчем погосте! И ведь ушли они "в мир иной" ещё молодыми, не найдя "пути своего" и вернувшись домой под вечные зелёные ракиты.

Вот красивая гранитная стела, под которой спит вечным сном самый красивый "малай" на деревне. Славка Суворов. С этим Славкой Виктория родилась в один день и в один час. Как шутили мать Виктории и мать Славки тетя Мотя: "Оны сразу жа, как жаних с невестою лежали на одной подушке! Тут уже ничаго не поделаишь!"

Женихом и невестою Славка с Викою так и не стали, хотя Богом и судьбою им, может быть, и было дано такое предназначение. Но всё детство и всю юность они были рядом. Классе в шестом Славка серьёзно заболел. Долго лечился в районе. И Вика очень скучала, тосковала по нему. А когда он, наконец, появился в школе, радости её не было предела. Чувствовалось, что и Славка скучал по ней. Он как мог, по-мальчишески, неумело оказывал знаки внимания. Старался чем-то угодить, помочь Вике. В уличных детских играх он коршуном кружился около неё, не давая никому затронуть. Однажды, принёс утеранный Викою бант. Была, с детства была между ними судьбоносная связующая ниточка. Но не упрочили, не соединили концы этой нити Вячеслав и Виктория. Всё получилось как-то быстро и спонтанно. Высокого, черноглазого, со смольными волосами, "как вороново крыло", длинными, по тогдашней моде, Славку быстро "охомутала" старшеклассница Ритка. И он стал отходить, удаляться от Вики, хотя при встречах ещё вспыхивали его глаза радостью, горели чем-то невысказанным, но тут же и гасли, виноватились. В армию Славку не призвали, из-за того давнего детского заболевания, зато в майский тепло-ветренный день сыгралась их с Риткой свадьба. Ей было восемнадцать, ему - семнадцать. Ни Вика, ни её мать на свадьбу не пригласили. Мать Славки, тетя Мотя, прямо и открыто заявила: "Поль, мне самэй эта свадьба поперёк горла! Не "ту" я хотела б видеть своею невесткой! Но видишь как она яго быстро объягорила! Говорять, к Ведянью уже унука заготовили! А Вика твоя тоже хороша! Дурочка, мялась-жалась и дождалась!" Полина помалкивала, а потом, слабо махнув рукой, проговорила: "Найдишь еще! Можя и лучши!" Но было отчего-то грустно и обидно, хотя никаких открытых отношений у ребят и не было.

Уже потом, после школы, работая в городе, Виктория познакомилась со взрослым парнем, привозила его домой, на смотрины. И как-то, на остановке встретилась со Славкой. Кроме них в этот раз в город никто не собрался. Они стояли вдвоём. И возникла нелов-

кость. Отчего, почему? Ведь ни он, ни она ничего не обещали друг другу, не говорили о своих чувствах. Что же осталось в них, между ними?! Виктория первую, играя, будто бы ей очень хорошо и весело, с улыбочкой поинтересовалась: "Как жизнь молодая?", на что, к её удивлению, Славка, не умеющий играть-притворяться, как-то, дерзко, раздражённо тоже спросил: "А ты, я слышал, жениха привозила, что замуж собралась? Ну и кто же он?" Сначала Викторию кольнула его сердитая интонация, но, тут же она поняла, что ей, почему-то так приятен нескрываемый Славкин "холодок". Значит, была, жива, есть ещё их та "родовая ниточка", пусть и не сказаны слова признания, слова привязанности друг к другу, а, может быть, и слова неразвившейся любви. Где-то, ошиблись они в дороге Жизни, свернули не в ту сторону их судьбы и, не оправдав Божьего наказа, разошлись навсегда!

У Славки родился сын, как теть Мотя и говорила, в престольный праздник села "Ведянье". Но жили молодые "прохладно". Теть Мотя так и не полюбила невестку Ритку, а когда случилось это горе (Славка разбился на мотоцикле, когда после очередной ссоры в семье гнал из города к матери), то всю вину переложила на неё. На внука тоже глядеть-привечать не хотела.

- Нетути у яго от моего Славика ни единого сходства! Ну, хуть ба одна черточка какая была! Нет! Вылитая мать!

Бабы увещевали теть Мотю, кучей отыскивали Славкины "чарты", указывали на "породу", но та упёрлась и твердила одно:

"Какая, к чёрту, порода? Ихняя! А то я слепая - не вижу! Ребёнок - та увесь бледнай, как поганка, а мой Славик был чёрнень..."

Теть Мотя, не договорив, начинала реветь и бабы отступали.

...Не сразу отошла Вика от этой стелы. В голове возникло, сложилось в стих:

"Ты, Славка здесь,

в земле сырой,

а я гуляю под луной.

Бреду сквозь пелену тумана.

Мне, значит, рано... Ещё рано!"

Виктории нестерпимо захотелось вернуться к живым людям. Она чуть не убежала с кладбища; оно оставалось за её спиной - пустынное, непонятное, с фотолицами былых жизней, хранящее свою вечную тайну. Виктория вспомнила, как теть Нюра говаривала:

"Не ходи, прохожай! Не топчи мой прах. Мы уже усе дома, а ты ещё у гостях..."

Она всё убыстряла свой шаг, ей хотелось скорее стряхнуть, смыть этот жёлтый кладбищенский песок со своих сапог в холодной осенней луже и ступить на живую деревенскую улицу, с ещё зелёной, чуть пожухлой травой, по которой важно шагали припозднившиеся стада гагачащих гусей.

Младший брат Виктор, единственный из всех детей Гаминых, ос-

тавший жить на родине, в родном селе, сказал вернувшейся Виктории, что сейчас к ним придёт Веруся "с нашей улицы". Виктория радостная, с каким-то, будто освобождённым от чего-то чувством, схватила на руки старшенького четырёхлетнего племянника Вадюшку, потормошив его, решила почитать сказку. Сказка была о волшебном сундучке, с лежащими в нём сокровищами, золотом. Маленький Вадик внимательно слушал, а потом вдруг выдал:

"Ты всё брешешь, тетя Вика! Никакого золота у том сундуке и нету. Там только самогонка стоит!"

Брат Виктор и невестка Ольга покатались со смеху. Смеялась и Виктория, хотя ничего не понимала. Невестка ей объяснила, что это её мать, бабушка Вадика, прячет от отца самогонку в прабабкин ещё сундук, а Вадюша гостил там, у деда с бабкой, целое лето и видел, запомнил эту картину.

"Так что, тётка Виктория, и вправду брешешь ты, что золото у нашем сундучке..." - повторила Ольга.

В этот момент, когда все ещё смеялись, и забежала в хату Веруся. Виктория бросилась ей навстречу:

"Ну, ты и бомба стала! Во толста, так толста! - удивлялась Веруся, глядя на Вику, сама - такая же дородная, но выше ростом.

- Пойдём-ка на родную улицу, Вица-чечевица! Мать крепко тебя увидеть хочет, я ведь увожу её к себе, в город".

Виктория обещалась придти, навестить родные места. Брат жил в центре села, состоящего из нескольких небольших деревенок, по сути своей, улиц. Эти улицы, каждая со своим названием, лучами разбегались от центра села, где находился магазин, перекочевавший в разрушенную ещё до войны церковь, медпункт, сельсовет, школа. Их родная улица-деревня называлась "Курносовка". Откуда и что это за название, толком объяснить никто не мог, но на улице жили не одни курносые, если напрямую обращаться к названию улицы.

- Да, Вик, только какие там, родные места остались?! - говорила бывшая подружка Веруся, - Одны забытые хаты да ракирки вместо садов. Всё, всё, Вика, позаросло.

Небольшая пауза повисла в хате, а потом, вздохнув, Веруся продолжила:

"Вот ведь, Вика, скоко годов прошло, скоко мы не виделись: сами уже тётками стали, а всё хочется, чтобы всё было как раньше, правда? Да и мы, вроде бы, всё ещё такие же, а если со стороны взглянуть... Ну, ладно. Завтра к обеду к нам прибегай. Мы только к бате на могилку сходим и сразу за стол. Ну, гляди, мы ждём, мать очень просила. Поняла? Ну, я побегла!"

Веруся громко хлопнула дверью, на что брат Виктор сказал:

"Самая шустрая из Кудриных. Ты знаешь, как она своего мужика гоняить?! Только шум стоять! А ён, особенна пьяной, очень её боится".

Вика удивилась. Бывшая подружка всегда была тихой, смирёной девочкой.

- Дык, наверно, у батю пошла! - видя удивление сестры, закончил Виктор.

У Веруси судьба сложилась более-менее удачно. Вышла замуж за тихого бессловесного парня из соседнего села: сама себе была хозяйкой. Вырастила, как Виктория, единственного сына. Навозившись и нанячившись в детстве с младшими братьями и сёстрами, Веруса хотела пожить "как люди", видел счастье и богатство в малочисленности семьи.

Виктория помнила батю Веруси, дядю Леонида. Даже, будучи уже довольно пожилым - это всё ещё был здоровый, высокий, красивый мужик с кудлатой, седой головою. Очень сильно похожий на актёра Евгения Матвеева. Прожил он достаточно долго для этих краёв, в последние десятилетия подпорченных Чернобылем: целых восемьдесят два года. Как раз, столько же, прожил и красавец-актёр Евгений Матвеев. Чуть повзрослев, Виктория уже понимала, почему о дядь Лёне так много и по-разному говорят. Он выделялся среди деревенских мужиков своей статью, какой-то уверенностью и независимостью. В молодости дядь Лёня часто обижал тетя Шуру-Кудриху, несмотря на большую ораву детей. Часто пьяный, он орал на неё, бросался с кулаками, и она или убежала к соседям, или пережидала "шум" пьяного мужа где-нибудь за углом хаты или сарая. Но детей Леонид никогда не трогал. Они и появлялись, ежегодно, несмотря на семейные драки и скандалы. Из бабьих шепотков маленькая Вика слышала, что "Лёнька николи (никогда, значит) ету Кудриху и не любил, а умирает по своей Зойки". Зойка, (в деревенском произношении - Зойкя) жила одна-одинёшенька, и вот, молодой ещё тогда, Леонид, повадился бегать к "етой красуле". Вика помнила, что тетя Зоя, действительно, была очень красива. Особенно выделялись на белом лице, неподдающемуся никаким ветрам и морозам, изнуряющему летнему зною, её чёрные-пречёрные глаза. Они тянули к себе невидимым магнитом. Вот, в поле такого притяжения, видать, и попал дядя Леонид. Кудриха знала об этом. Конечно, молодая статная тетя Шура составляла достойную пару своему Леониду, но если рядом с ним поставить чернооую, тоненькую, с высокой красивой грудью Зойку, картинка представлялась неопишуемой.

Всегда молчаливая и спокойная Кудриха, не выдержала лишь однажды и так "звезданула" бидоном по башке Зойку, что даже бок у бидона помялся. Что же было с бедной головушкой несчастной Зойки, даже трудно представить. После этого она стала меньше "приваживать Лёньку". Опять же из бабьих тайных пересудов. А дядь Лёня очень страдал. И тут случилось несчастье. Убирали лето покосы. И как оказалась Зойка под маленькой копёшкой скошенной душистой травы?! Легла, наверное, просто передохнуть после

обеда, подальше от бабьих язвительных усмешечек. Бабы же отдыхали от солнца и зноя под крытыми повозками. И надо же случиться в этот момент проезжающему трактору-копнителю. Он и "закопнит" охапку сена вместе с лежащей под ним Зойкой.

От ушибов головы и тела она скончалась, не доехав до районной больницы. С тех самых пор голова дядь Лёни стала седеть и седеть.

Долго ходила за ним Зойка и во сне и наяву. Вика сама слышала, как он рассказывал о встречах с ней, и от этих рассказов брала жуть. Некоторые взрослые посмеивались над ним, вроде как и не верили, а бабы, с широко раскрытыми глазами, шушукались:

"А, можа, и вправду она не даёт яму прохода? Вы поглядитя, бабы, у няго ж виски (волосы) всё блее и блее..."

Некоторое время дядя Леонид вовсе не появлялся на улице. На все расспросы Кудриха отвечала, что мужик замаялся с ногами. Домой же, в хату, старалась никого не впускать. Но в один из мягких, сумеречных вечеров дядь Лёня вышел из хаты и какой-то неуверенной, не похожей на него, походкой, направился к соседскому крыльцу. На крыльчке покуривали мужики, хозяйки же завершали домашние заботы, доили только что пригнанных коров. Так что бабам не довелось услышать страшный рассказ из первых уст. Тут же, на лавочке у палисадника, сидела и детвора. Когда дядя Леонид стал рассказывать мужикам, отчего у него "отнялись" ноги, ребята наострили ушки и стали заворожено слушать. Среди ребят была и Вика. На всю жизнь запомнился ей этот рассказ.

Начинал дядь Лёня неспешно, покуривая самокрутку и подкашливая, иногда задумываясь и покачивая головой, как будто и сам не верил, что это всё происходило с ним.

"Не знаю мужуки, что теперя делать и как жить. Конечно, вы вот, можа и не веритя мне, а тогда я почаму, по-вашему, стал белой как лунь, у двадцать восемь годов? А сейчас вот и с ногами случилось".

Мужики уверяли его, что сочувствуют ему и просили:

"Давай, Лёнь, кажи дальше".

Он продолжал:

"Ну, значить, было у нас правление вечером, собрание, и я, как бригадир, долгон там быть. Шурка ещё ругалась, что часто засидаю у контора, что, можа, опять кого завёл. А мы ж, по утрам наряд получаем, а вечером должны председателю доложить-отчитаться. Ну, я, конечно, каждой раз бегать на эти отчёты не согласен. А в тот вечер, всё же, пошёл, да засиделися. Пока то, да сё - уремя (время) уже к одиннадцати. Ну, я ещё потом зашёл к тётце. Шурка велела у неё узять дрожжей. Там с нею посидел, чтой-то ей не здоровилось. Выпить у неё ничего не было, а, можа, старая карга и пожалела, не дала, но чаго не было, того не было. А то вы ещё подумаете, что я, это, всё с пьяных глаз выдумал. Пошёл к себе на деревню (бабка Феня - тётца, жила в центре села) уже где-то около двенадцати ночи. Пока шёл по селу - весело было на душе. Тут жа кругом огни

горять: магазин освещён, да большущий фонарь висит над контрой. А как отошёл от центра - темень страшная, хоть глаз выколи, ничего не видать. Хорошо, хоть месяц выглянул - посветлее стало. Пробегаю по стёжке поле картофельное, вдали уже видны огни нашей деревни. И чтой-то, удруг (вдруг) так тошно на сердце стало, ну прямо хоть волком вый. Каким-то другим чутьём чую, что что-то не то. Ну, вы знаете, я ж никого, никогда не боялся, а тут уроде (вроде) и не хочу глядеть в сторону погоста, а голова туда так и поворачивается. Глянул я туда, не останавливаясь, темница, зелёные рякитки шатром чёрным стоять, и вдруг, чтой-то, как уроде бы, забелелось на фоне етой черноты. Я ещё быстрее пошёл, а самому, хочешь не хочешь, опять туда глянуть охота. Я повернул голову, батюшки - святы, какая-то баба, в белом платочке, бягить прямо ко мне. Тут ноги мои стали как ватные, еле передвигаю, а баба вот уже и рядом. Слышу: дышит мне прямо в ухо, да так часто, будто запыхалась. Я - ни жив ни мёртв, язык в роте (рту) стал как колода. Не пошевелишь. А она идет рядом, словно лятить - шага не слышно, а толька одно дыхание.

"Узнал?" - спрашивает, хотя голоса её я не слышу.

Я молчу, а в мозгах-то: как жа не узнать тебя, Зойка, от тебя и запах всё тот же исходить. Господи! Дык ты ведь, мёртвая, прости ты мне, христа ради! А сам, мужуки, ни одной молитвы ведь не знаю, а надо бы... "Отче наш.. иже еси на небеси..." - и всё, кранты. Стал просить бога, умолять яго, своими словами, чтоб исчезло ето видение... Тут чувствую её дыхание стало отставать от моего ватного шага. Уж сколькая я так уремя (время) тащился, даже и не знаю. Наверно, целый час шёл последние метры до первых хат нашей вулицы. Напоследок, ещё и оглянулся. Гляжу, попархала моя Зойка в сторону погоста как бабочка, толька кончики белого платка трепещутся в ночи. Зашёл к себе, у хату, покачиваюсь, а Шурка думала, что пьянай, хвататить свою одёжу и убежать. Я ей говорю, еле шевеля языком:

"Дура, не бойся, трезвый я, ноги чтой-то не слушаются".

Вот, мужуки, какое тут дело приключилося". И дядь Лёня замолкал. После такого повествованья "мужуки" покряхтивая, вздыхали, а дядь Серёга Юркин ещё пробовал и пошутить, разряжая нагнетённую обстановку:

"Ды, ты ба, Лёнь, ету свою зазнобу - Зойко сгрёб, ба, прижал, ба, к себе, да и у картохи повалил, ба..."

Но никто не засмеялся, не поддержал эту шутку. Дед Агафон, самый пожилой, посоветовал дяде Леониду три раза сходить "у церкву" и поставить свечки за упокой души несчастной бабы. Уже совсем смерклось, мужики стали неторопливо расходиться и ребяты тоже рассыпалась, каждый старался уйти со взрослым после такого жуткого рассказа. Была ли та история совершенно достоверна или, всё-таки, "для интересу" дядь Лёня её досочинил и при-

украшил - теперь никто не узнает, никто не скажет. Лежит успокоившийся, сильный, деревенский мужик в "зелёных рякитках" и кто знает, быть может, хоть на "том свете" состоялась, наконец, их с Зойкою любовь.

Назавтра Виктория поспешила на родную улицу. Зашла в магазин - не идти же с пустыми руками на "провода". Кучка стоявших у прилавка баб стала с интересом рассматривать её, а, всегда бойкая на язык, нагловатая Настюха Тукина бесцеремонно заудивилась:

"Ну, ты и телега стала! Ето жа нада - как тебе распёрло!"

Другие бабы замахали на Настюху руками:

"Ды, чаго ты брешешь! Ты, Вичка, не слухай ету балаболку. Ты, наоборот, вон какая хорошия стала!"

Вика даже растерялась, глядя на кряжистую, плотную как мужик Настюху, подумала:

"Сама ты - настоящая телега!", - а вслух озорно сказала:

"А что, тетя Настя, Светка твоя, всё такая же худосочная, как цубылка (былинка)?"

Настюха Тукина, как будто не расслышала вопроса, что-то уже говорила тетя Кате Смолиной.

Бабы расступились перед прилавком, пропустив Викторию вперёд, и она, по возникшему затишью за спиной, затылком, чувствовала любопытные взгляды баб.

"Чаго жа, она набереть, чаго накупляить?"

Вика специально громко назвала самые дорогие конфеты, имеющиеся в магазине и спросив "белую" (водку), нарочно-удивлённо крикнула:

"Да вы что! Неужели пьёте такую дешёвую гадость? Что, в вашей лавке даже одной бутылочки "Люкс" не найдётся?!"

Про "Люкс" Вика бухнула наугад, совсем не зная, есть ли такая водка вообще. В магазине же имелась и дорогая водочка, но Виктории хотелось "показать" себя, особенно перед этой Настюхой. Она накупила всего, что подороже; давно не видевшим её бабам было интересно узнать про то, как она живёт, с кем живёт. Вика, искренно, обнимала своих дорогих, когда-то соседок, чувствуя превосходство над ними, и жалея их, рассказывала о себе "в чуть приукрашенных тонах", а бабы восхищённо глядели на неё, качали головами, по-доброму улыбаясь. Одна лишь Настюха гордо отвернув в сторону голову, презирала баб за душевный разговор с "етой фифой". Ей самой нечем было похвастаться и погордиться. Её дочь, Светка, несколько раз выходила замуж, и от каждого "брака" был ребёнок. Сеёчас же, сама Настюха возилась с чумазой ребятнёй, а неунывающая "цубылка" Светка опять искала очередного "мужука". Конечно, для заносчивой Настюхи Тукиной это было больно и уязвимо. Но ведь ни у неё одной так складывалась жизнь дочери. Многие бабы переживали раздоры и разводы в семьях своих детей, но при этом оставались добрыми душой, ласковыми сердцем, гостеприим-

ные своим небогатым очагом. Ещё с детства Виктория помнила Настюху именно такой: всегда грубоватой, резкой, насмешливой.

Выходя из магазина, она чуть не натолкнулась на свою бывшую учительницу Евдокию Семёновну. Сейчас ей было уже за восемьдесят, но ещё зоркие глаза её углядели и почти сразу же узнали Викторю:

"Вика-Викушечка, это ведь ты? Дорогая ты наша птичка-чечевица!"

Евдокия Семёновна заулыбалась всеми морщинками своего тёмного лица. Вика обняла эту маленькую усохшую женщину и не могла отказать её просьбе: "Зайти в дом, посмотреть карточки". "Дом" находился рядом с магазином и, пройдя к нему, Викторю охватила пронзительная горечь и тоска. Перед нею стояла настоящая "избушка на курьих ножках". Деревенская хатка почти вросла в землю и держалась, наверное, благодаря завалинке, подпирающей её под самые окна, которые скособоченными наличниками смотрели на этот несправедливый мир. Евдокия Семёновна всю жизнь прожила без постоянного мужчины. Хозяина. Не единожды она пыталась устроить свою личную жизнь, но какие в деревне женихи? Один раз "приняла" вдовца, по простоте своей, прощала ему страсть к выпивке, но когда тот совсем освоился да стал гонять её и девок, которых она любила больше жизни и растила одна, то выгнала его из своего уже тогда невидного жилья. Две дочки быстро подросли и не давали ей ещё "попыток", а сами одна за другой выскочили замуж. Бедная Евдокия Семёновна, отнюдь, не горевала. Была она очень весёлого нрава и в школьной учительской самостоятельности была артисткой первой величины. Её красивый, сильный голос, с необычной окраской тембра звучал на всех школьных и сельских вечерах. Она носила высокую пышную причёску и яркие платья. Но вот на её уроках частенько царила невообразимая шумиха. К большому огорчению Виктории, многие ученики, поддерживаемые своими мамами, считали артистизм учительницы человеческой слабостью. Быть может, бабы завидовали её красоте и голосу, а ребята, ещё не понимая, но слыша в семье разговоры об одиночии, не очень удачливой женщине, позволяли себе не всегда тактично и уважительно вести себя на её уроках. Вика одёргивала, успокаивала, особо уж развоевавшихся; ей было жаль доверчивую, наивную Евдокию Семёновну. Она жила сельской жизнью и также, как все держала скотину. Учительница была детдомовской, как потом узнала Вика, и не принадлежала к учительским династиям. Может быть, поэтому, она была проще и мягче, чем другие учителя; могла вернуть такое смешное словечко, объясняя материал; могла прибежать на урок запыхавшись, еле-еле успев переодеться в "чистое", но от её рук, ещё долго пахло поросыным кормом, закуткой. Рассказывая что-то на уроке, Евдокия Семёновна ставила свою ногу на перекладину табурета, ей, наверное, так было удобно, но, как раз, эта поза и вызывала усмешки, расхолаживала класс. Как

говорится, деревня есть деревня. Многим она не нравилась, но, всё-таки ж, учительница, и к ней обращались уважительно, по имени отчеству, хотя "за глаза" смеялись: "артистка погорелого театра".

Сейчас же Виктория смотрела на эту сморщенную старушку с "правильным произношением" (она "вела" русский язык и литературу) и испытывала к ней острую жалость. Зайдя внутрь хатки она была поражена нищетой и убожеством обстановки; всё старое, обветшалое, не однажды чинено-латано. Русская белёная печка, словно грузная пьяная баба, присела посреди хаты, подлёртая с двух сторон деревянными чурками. Как она ещё держалась, эта полуупавшая печь? Как не боялась Евдокия Семёновна шурудить ухватами в её кирпичном надсадившемся нутре, доставая чугушки с полёбкой?! Но что резко выделялось на фоне удручающей бедности - это высокая железная кровать. С узорчатой резьбой и никелированными шарами на спинках. Кровать, с пышной периной и пирамидой подушек, украшенная покрывалом из ярко-жёлтых тюльпанов по синему полю, с белой кружевной обтяжкой, являлась гордостью старой учительницы. И на всех "карточках", показанных Виктории, Евдокия Семёновна позировала у этой кровати. Менялись наряды: платья, юбки, блузки, а фон оставался один - убранная большая кровать. Не было в хате более достойного места.

Глядя в очередное фото с постаревшей, но нарядной учительницей, у такой же нарядной кровати, где Евдокия Семёновна по старой, неизменной привычке, поставила ногу на перекладину рядом оказавшегося табурета и, улыбаясь, смотрела в объектив, Виктория почувствовала жесткий комок в горле, а в глазах закипели слёзы. За огромную трудовую жизнь сельской учительницей была заработана только вот эта металлическая красавица-кровать! Кого винить? У кого спросить? Что мы за люди, что за "Иваны, не помнящие родства"??!

А Евдокия Семёновна уже суетилась, собирая на стол. И как Виктория не отнекивалась, ей всё же пришлось отведать ещё тёплого ароматного борща из полуразвалившейся печки. Сейчас уже не было никакой дистанции между учительницей и ученицей; просто, русская деревенская женщина потчевала свою гостью, землячку. Как положено, с поднесённой стопочкой самогонки. Сама же хозяйка отказалась: замучило давление. И похвасталась, похвалилась: "на ту зиму девки меня заберут к себе, в город, если доживу, конечно". Провожая Викторию, Евдокия Семёновна сказала, чуть грустно улыбнувшись:

"А вот, вы, Вика, ваше поколение, тогдашние ребятки - были самые лучшие, самые примерные и умные..."

"Да уж, хороши были "ребятки"!" - усмехнулась в душе Виктория и обняв на прощанье учительницу пошла, не оглядываясь, от её "дома".

Она быстрым шагом прошла центр села и оказалась на извили-

стой стежке-дорожке, бегущей средь небольшого поля, когда-то засаживаемого картофелем. Теперь же оно зарастало высокой травой, стало кочковатым, как болото, а кое-где уже поднимались небольшие рощицы осинки и берёзок. Стёжка же, по которой протопало столько детворы из многодетных тогда хат в школу, в центр села, стёжка, которая раньше была широкой, как тракт, и по ней ездили летом на "колеснях", а зимою - на санях-розвальнях, сейчас была узенькой, зажатой с обеих сторон разным сорнотравьем. О, сколько же мечтаний и фантазий проносилось в голове девочки Вики, когда бегала она по этой тропке-стёжке в школу. То она представляла себя известной журналисткой (после просмотра фильма С. Герасимова "Журналист" она просто влюбилась в главного героя, сыгранного красавцем Юрием Васильевым), то чудные фантазии уносили её на голубой лёд далёких стран, где она уже - знаменитая фигуристка (опять же под впечатлением танца Л. Пахомовой и А. Горшкова, так любимых ею, что иногда, до самого утра перед её глазами мелькали их блестящие коньки в неподражаемом танго), и обступившие журналисты уже её спрашивают, как она достигла такого успеха. На самом же деле, бедная деревенская девчонка Вика встала на коньки только в четырнадцать лет. Где-то, каким-то чудом, мамка достала чёрные мальчишеские ботинки с блестящими лезвиями коньков. Вика кое-как напяливала их на ноги, ботинки оказались размера на два меньше и, счастливая, убежала к озеру. Конечно, всё это она проделывала в одиночестве. И никто не видел, с каким упорством, желанием, с ушибами коленок и со слезами в глазах, Вика вновь и вновь овладевала любимым видом спорта. И удивительно, за одну зиму коньки ей покорились. Она летала по озеру, заслонённая от ненужных взглядов двумя высокими берегами, выбирая гладкую ледяную поверхность, не занесённую снегом и, даже, пыталась делать прыжки. В пол-оборота. Ну и что ж! В её-то "пожилом" возрасте для фигурного катания - это было уже достижение.

За такими мечтаниями она незаметно быстро доходила до центра села. Если это было зимой, Вика забегала в уютную кочегарку, которая отапливала сельский магазин. Она грелась, глядя на шипящий разгорающийся уголь, подкидываемый продавщицей тетё Раей, убегающей затем торговать. И когда оставалась одна, в этой кочегарке, ей было так хорошо и уютно, и несбыточные мечты вновь завораживали её. Зачастую, вот так промечтав, Вика опаздывала в школу на первый урок и стояла за дверью класса, не решаясь войти, чувствуя себя такой виноватой.

Сейчас же Виктории снова захотелось побежать по этой стёжке, никак не соглашаясь в душе, что это уже не та, ну не та Вика, а другая, "чужая" женщина. И этой "чужой" женщине уже не давался порывистый бег навстречу ветрам, хотя по природе своей и энергии, ей всё хотелось куда-то бежать, к кому-то лететь. В душе "дру-

гой" женщины было такое непонимание происходящего, такое смятение чувств, несогласие сердца и разума, не сумевших определиться в тайнах природы, что это сильно печалило, угнетало всегда жизнерадостную Викторию. Вику-Вицу-чечевицу - в детстве. Так её звали-дразнили деревенские ребяташки. Для всей их "вулицы", да что там, целого села, имя Вика-Виктория, было незнакомым и необычным. Почему-то, полно было всяких Валеков, Танеков, Галеков, а вот Вика на всю округу была одна. Не раз, бабы-соседки удивлённо спрашивали Полину, мать Вики:

"И иде жа, Поль, ты такая имячко откопала? Вика-Вица, трава, что ля?"

Ну, и действительно, в ту пору, в колхозе как раз и выращивали кормовую траву-вику.

"А-а ничаго вы, бабы, не понимаете! - улыбаясь отвечала Полина. - Это же имя такое - Виктория. Значит, победа. Понятно? А вы тут привыкли всех Дуськами звать!"

Мать Вики в молодости жила аж в самой Москве. Уезжала туда в начале пятидесятых, по вербовке. В отличие от своих деревенских подружек, которые дальше района нигде не бывали, Полина была довольно интересной и начитанной женщиной. Она закончила семилетку, а в то время это уже было "образование". Вика помнит, как она рассказывала об одном своём ухажёре, который вместо слова "Сахалин" произносил "Секалин". Мать смеялась:

"Звал меня с собою на этот Секалин. Там, мол, денег кучу дають... А я думаю, да тебя, такого грамотного, только и ждётся твой Секалин".

Когда маленькая Вика обиженно спрашивала, почему её "дражнють чечевицей", мать ласково прижимая дочку к своему выпуклому животу (ждали скорого появления очередного братика или сестрички), говорила ей:

"Ты жа, доча, у меня самая первая! Самая, красивая! Ты жа - Победа! Вот всем и объясняй, что ты всех победишь и везде будешь самой первой!"

Виктория не везде и не всегда была самой первой. Но стремление жить лучше, интереснее, захватывающе всегда были присущи её натуре.

...И вот ступила она на родную "вулицу". Но, какая же она стала маленькая, сжатая, какая-то укороченная, наверное, как и сама жизнь, укороченная отжитыми годами и потерянными близкими. А бывало, её и не пробежишь на одном дыхании от крайней хаты Маруськи-Чурихи до хаты Шурика-Бобыля, жившего на другом краю. Такой длинной казалась та улица. Улица детства. Подростками они играли в войну. Вика почему-то всегда "была" Любкой Шевцовой. Они хоронялись на чердаках, сеновалах, в торфяниках-сараях от "немцев" - мальчишек, и когда те приближались к "объекту-похоронке", Вика и Веруська Кудрина начинали хихикать. Им хотелось, чтобы их

скорее обнаружили, нашли и начали "пытать". Девки повзрослей злились на "предателей" и желали им самой страшной пытки. А пытка заключалась, быть может, в самом приятном для Вики и Веруси. Каким-то, ещё неосознанным чувством, им хотелось, чтобы "ребята" прикасались к ним. Во время "пытки" мальчики хватили за руки, слегка выкручивая их, прижимали к себе, "пытали":

"Говори, какой пароль? Признавайся, какой пароль?"

- На горшке сидеть король!

А однажды, когда "немцы" их засекали в старой клуне за огородами и кричали им, чтобы выходили все до одной, Вика вдруг крикнула:

"Ага! А вы цулуваться будете".

С чего это она тогда взяла?! Почему такое крикнула? Быть может, именно с этого момента в девочке-подростке зарождалось что-то женское?? А Лёшка Гранин, самый "большой" из мальчишек, лет пятнадцати, засмеявшись ответил:

"Да нужна ты кому? Цуловать ещё тебе..."

И это так больно резануло Вику по её "маленькому самолюбию", что ей стало невыносимо стыдно и обидно. В ту минуту она наверно и простилась с детством. До сих пор ей слышится то звонкое высказывание Лёшки Гранина, кстати, почему-то так и не женившегося, и дружный гогот девчонок.

...В тех местах, где раньше стояли хаты, теперь шевелились густой травой широкие пустошины-прогалы, кое-где ограждённые тёмной, догнивающей горотьюбой. Над всей этой грустной картиной качали своими серыми, развесистыми ветками старые высокие ракиты. Ракиты детства, ракиты юности.

Тёплыми днями, в мае, нежно-зелёные, тогда ещё молодые ракиты, казались, одним единым, сплошным гудящим роем из майских жуков. В воздухе стоял однотонный мощный гул и детвора носилась по улице с коробками из-под спичек, где сидели самые красивые, большие пойманные жуки. Балуюсь, мальчишки сажали их за шиворот визжащим девчонкам, и к гудению жуков над верхушками весенних раquit примешивался постоянный писк и крик деревенской ребятни.

Теперь ракиты хранили память о своих хозяевах, начиная с какого-то, далёкого неизвестного мальчика, первым воткнувшим ракитовый прутик возле родной хаты. Не одно поколение выросло под зелёными кронами этих живучих, не капризных деревьев. Виктория подошла к заросшему месту, где стояла хата бабки Фёклы и деда Алёши. Но где же тот металлический, диаметром полтора метра, круглый диск, вбитый у самого порога? Об этот диск и взрослые, и дети обтирали от грязи свои "обулки" по весне и осени. Затянула, всё скрыла высокая разномастная трава. Три ракиты, стоявшие позади хаты, за садом, теперь высились на первом плане. Они - единственная оставшаяся памятка о когда-то живом, так любимом Вик-

торией, месте. Виктория пробралась через бурьян и колючки к раkitам. Она обняла большое шершавое тело дерева со старыми, бурыми от времени, тут же отваливающимися, пластинками коры. Подняв голову кверху, она глядела сквозь толстые раскоряченные сучья раkitы на медленно ползущие по небу облака. Вот также они плыли и тогда, когда Вика, прячась в бабкином саду, наблюдала за молодой парочкой. На фоне коричневого ствола раkitы белела рубашка Кости-танкиста; он недавно вернулся со службы. Костя обнимал, прижимал к раkitке приехавшую из города Любку - завлубом. Саму Любку Вика не могла видеть, как не ухитрялась: большой Костя, распахнув руки, как крылья, полностью закрыл свою подругу. А в весеннем саду заливались птахи, весело гудели шмели и пчёлы, в голубом небе плыли и плыли облака...

Бабкина хата стояла ближе к околице и Вика, учившаяся в районе и прибегающая на выходные домой, первым делом залетала в прохладные сенцы бабки Фёклы. Пробежав двенадцать километров от станции, она страшно хотела пить. В сенцах, на железной цепке, висело ведро с вкуснющей, колодезной водой. Виктория, наклонив ведро, прямо через край пила эту живительную влагу и никак не могла напиться. Баба Фёкла по-доброму ворчала:

"Ну хватить-хватить! Дорвалась! Не дай бог, захвораешь сгоряча!"

Пол в сенцах, здесь зовущийся мостом и земью, был земляной. Ни у кого в деревне не было этого "чуда". Вика удивлялась, почему дед Алёша до сих пор не застлал его досками. Ведь бедные, голодные времена уже давно миновали, когда семья бабки и деда, тогда ещё молодых, очень бедствовала. Давно уже многие повystроились, новые крашенные дома стояли вдоль улицы, а в их хатке с чисто выметенным земляным мостом в сенцах, по-прежнему ощущалось присутствие нищеты. Баба Фёкла на вопрос Вики засмеялась:

"А зачем теперь ён? Мы с дедом уже и привыкли!"

А дед сидел в углу, на сундуке, и покуривал свой самосад. Сквозь пелену дыма еле угадывалась простая обстановка: длинная лавка, вдоль стены с окнами, стол в углу, увешанном иконами с рушниками, а в другом углу, ближе к дверям, обеденный стол с палицей (полочкой) над ним. Вторую стенку разделяла на чуланы с постелями большая русская печка. Над входом в чулан красовались цветные ситцевые занавески. Вот и весь интерьер! И так почти в каждой старой хате. В новых же домах-пятистенках, с их ещё молодыми жильцами, обстановка и убранство было уже более современное, заставленное привезённой из города мебелью, с радиолой, а потом и телевизором.

Виктории редко приходилось ночевать у бабки Фёклы, но она на всю жизнь запомнила высокие, под самым потолком постели, с набитыми шуршашей соломой матрацами. Дед и баба были совершенно разные по своему темпераменту. Он - очень спокойный, мол-

чаливый, серьёзный, медлительный и только в большие праздники, подвыпив, становился повеселее. Бабка же, напротив, шустряя и весёлая, всегда занимающаяся каким-нибудь делом, удивляла Вику своими прибаутками и приговорками. Она одинаково кричала и на поросят, не подлускающих друг друга к корыту, никак не дающих вылить ведро с кормом, и на деда, спокойно посасывающего свой табак:

"Ах, чтоб вам хранцуз у глотку! Ах, чтобы вас хвороба узяла!"

Откуда взялся этот "хранцуз" у бедной, забитой деревенской женщины? Из каких краёв, из каких книг? Ведь бабка Фёкла была совершенно безграмотная! Это всегда удивляло Викторию. Где-то в начале мая на колхозных полях высеивалась конопля и, дед Алёша становился героем дня. Он стоял у сеялки и следил за равномерным распределением семян. Вот тут-то и маленькая Вика с сёстрами становились востребованными. Мальчишки, девчонки подбегали к ней и заискивающе просили:

"Ну Вик, ну попроси у своего деда "конопей", а? Ну, пожалуйста, давай сбегает, попросим".

Они мчались на поле, дед, увидя Вику, останавливал большой комбайн-сеялку, насыпал "конопи" в развёрнутые платки, в шапки, и просто подставленные подола платишек. Гордая Вика шагала обратно впереди всех, хотя дед насыпал ей не больше, чем другим. Оттого, что дед был немногословен, несмотря на внушительную внешность он был как-то незаметен. А может быть, очень подвижная бабка Фёкла затмевала его. Но прожили они вместе большую тяжёлую жизнь. Это были родители Викиного отца. Их давно уже нет на этом свете, нет и хаты, а три старые ракиты ещё сторожат, берегут для чего-то, затянутое лопухами, когда-то жилое место.

Виктория шла дальше, по родной улочке. Вот хата Ганечки Весёлой. Какая же она сейчас невысокая, эта хатка с небольшим крыльцом, где раньше по тёплым, весенним, зазывным вечерам умещалась целая орава деревенских ребят. Может, то крыльцо тогда было новое и просторное, а может, просто ребяшня была ещё маленькой и ей всё казалось большим и огромным, как в том известном фильме с красноречивым названием "Когда деревья были большими". У самой Гани девок и малых (парней) было около десятка и, хотя кличка у неё была "Весёлая", теть Ганя таковою вовсе не являлась, а скорее наоборот, всегда была чем-то озабочена, опечалена и недовольна. Она постоянно кричала на свою ораву, шпыняя то одного, то другого. Даже на весёлых праздниках-гуляньях, она никогда не пела залихватских частушек, не носилась в разудалой пляске, как делали это другие бабы. Красивая сама по себе, рожавшая симпатичных ребят, она была всё же какой-то серой среди женского уличного населенья. Теперь, постаревшая, но в отличие от Кудрихи, ещё прямая, хотя старше её на целых пять лет, теть Ганя Весёлая крича-

ла на курей, загоняя их в сарай: "У, змеюские дети, нажрались, так бягитя к месту! Нету на вас никакой управы: усё голодные гады, как ни корми!"

Виктория почти прошла мимо, но теть Ганя подняла голову, из-под ладони стала вглядываться в неё. В засаленной старой телогрейке, по глаза повязанная выцветшим полушалком, она, удивительно, сразу узнала Викторию.

- Вика! Ето ж ты? Когда ж ты приехала?

Вика остановилась, подойдя к изгороди палисадника, рассказала ей немного о себе.

- Дык, пойдём у хату обедать, а? - приглашала и будто спрашивала теть Ганя.

- Да нет, большое спасибо. Я иду к Кудриным, Веруся приглашала.

- А, ну что жа, мне тожа учера Шурка звала на обед. Увозить её девка к сабе. Вика! Зайди хоть потом! - теть Ганя нагнулась над тазиком с размоченным хлебом, и вновь стала звать-ругать кур.

Виктория пошла дальше, вглядываясь в такие знакомые, чуть приснеженные первым октябрьским снежком стёжки, обочинки, проулки. Предусмотрительно захватив с собой фотоаппарат, боясь, что это, возможно, будет её последнее свидание с родиной, она фотографировала оставшиеся жилые и пустые хаты, полусгнивший заброшенный колодец, из которого они весело обливались водой в знойные июльские дни, визжа и убегая друг от друга, засохнувшие сады и палисадники и, конечно, то здесь, то там гордо стоящие, такие одинокие ракиты. А вот хата бабки Танеши и деда Мити, которую они очень долго строили, но пожить им в этих хоромах пришлось очень мало. Это настоящий большой дом, зовущийся хатой-пястистенкой. Даже сейчас выглядит он довольно хорошо. Сохранился даже "девичий" порог, на котором четырнадцатилетняя Виктория Гамина с подружками сидели ранними вёснами. Только-только начинало пригревать, и от яркого солнышка первым нагревался этот порожек бабки Танешиного дома. От чёрной оттаявшей земли поднимался какой-то тёплый, непонятно-волнующий дух. Конечно, девчонкам было невдомёк, что это в них самих наступало зарождение грядущих чувств, оживание "необыкновенной любви", будущего женского счастья, а может, и разочарования. На этом уютном сером порожке деревенские девки делились своими секретами, а когда по "телеку" показали фильм "Как закалялась сталь", с Владимиром Конкиным в образе Павки Корчакига, они дружно ревели "в голос" о трагической жизни героя, и все до одной влюбились в Конкина. Потом, сидя у Вики на печке (фильм шёл зимой), они сообща писали нежное, трогательное письмо актёру, искренне веря, с чистой детской наивностью, что он им ответит... Сейчас же, никому не нужен этот дом и некому больше сидеть на растрескавшемся сером порожке. Никто не купит его. Мало ли сейчас пустует таких строений

в несчастной русской глубинке. Бегут из погибающей деревни все, кто может и, каждый раз грустные ракиты, в недоумении, раскачивают своими сучковатыми, старыми и узловатыми, как изработавшиеся руки деревенской бабы, сухими серыми ветками. Они, только они, верные союзники мёртвых покинутых хат.

- Это ж, что жа, за диверсант такой? - к Виктории подлетел дядь Саша, по кличке "Бобыль", от фамилии Бобылёвы.

- А я гляжу, что жа ета за дама у шляпе? Думаю, надо узнать!

Он был всё такой же низенький, но какой-то усохший, в своей шапке-ушанке с одним подвёрнутым ухом. Виктория знала его полным, пышущим здоровьем, краснощёким мужиком. Вчера, на погосте она мельком видела его. Он бежал, торопился с полотняной сумочкой в руке к своей Вале, как будто запаздывая, как будто там его очень ждут. В свои последние приезды Виктория почему-то всегда первую встречала тетя Валю. Последние годы она очень мучилась с руками и ходила поднимая их и выставив перед собой. Наверное, ей так было легче. Тетя Валя всегда удивлялась:

"Дочичка, ды ты не где-то далёко живёшь, а как будто рядом, у Брянску. Так часто домой наезжаешь. Молодчина, что не забываешь свою родину".

Но то были другие времена, когда, действительно, Виктория могла позволить себе приехать с далёкого Урала, иногда даже два раза на году. Теперь же "пришли другие времена и песни новые поют-ся".

- Дорогой дядь Саша! Да какой же я диверсант? Да и кому вы, матушки, здесь нужны, затерянные, заброшенные??!

- А почаму ты думаешь, что мы тута все заброшенные? Нет, дамочка, мы пока тоже живые и кому-нибудь сгодимся!

У Виктории от волнения запершило в горле.

- Дядь Саша! Ты что же так и не узнаёшь меня?

Она сняла свою модную шляпу и Бобыль, прищурясь, тут же воскликнул:

- Дык, ето ж ты, наша Вица-чечевица! Наша Виточка!

Почему-то он назвал её так, и Виктория благодарно обняла его, почувствовав родной деревенский запах его шапки-ушанки.

- Ну усё, Виточка, пошли ко мне обедать! Я как раз собирался. Я вить, доча, типеря один остался. Померла моя Валюша, ребята далёко живут. Вот, хотел было жаниться, дык ни одна невеста не хочет за мене итить.

Дядь Саша Бобыль засмеялся, а Виктории стало невыносимо грустно. Вот и оправдалась кличка "Бобыль"; нет на свете этом такой же низенькой, толстенькой тетя Вали, его жены, смешливой и доброй бабы.

- Я, Вика, хотел было Кудриху узять у хозяйки, дак её увозють у город - дядь Саша продолжал улыбаться, а с другого конца деревни к ним уже бежала Веруся.

- Вик! Да ты так и не дойдёшь до нас! У каждой хаты - остановка, - громко, ещё издали кричала Веруся.

"Да много ли этих хат, Верочка, осталось?!" -

Виктория тронулась к ней навстречу, но проходя мимо стоящего в проулке небольшого домика с заколоченными окнами, с развалившимся крылечком, она, вдруг, как будто запнулась о какую-то невидимую преграду-стену. Веруся же тоже остановилась и, поняв всё, чуть запинаясь, тихо проговорила:

"Ты, Вика... это..., ну ладно. Мы подождём тебя".

Конечно, подруга-Веруся всё поняла: разве можно пройти спокойно, равнодушно, мимо родной хаты, с сохранившейся памяткой из детства - когда-то тоненьким саженцем рябины, а теперь - единственным живым деревом в палисаднике, где в былое время, пышные цветущие гроздья сирени тянулись в раскрытые окошки. Давно засохла в саду сирень и яблони, а вот рябинка, посаженная Викой в пятом, где-то, классе, сохранилась и дождалась свою хозяйку. Дерево было выше крыши, мощное, ветвистое; оно приветливо махало почти голыми ветками; лишь кое-где рваными ключьями шелестели жёлтые листочки. Мучительный спазм застрял в горле Виктории. Она так явственно ощутила тот неповторимый запах свежего дерева только что построенного жилья, запах свежевыкрашенного пола, запах глины, которой была обмазана большая русская печка, когда всё их семейство перебралось из маленькой хатки-лачужки с соломенной крышей в новый, крытый шифером, дом. От печки ещё долго пахло глиной и известью, пока она просыхала, а маленькая Вика с двумя сестрёнками дневали и ночевали на её теплой уютной лежанке. В этой новой хате народились ещё три братца, и сёстрам довелось с ними вдоволь понынчиться. Самый младший, Витенька, был и самым спокойным. А вот старшенький Санёк "дал жизни" всем. До годика белки глаз у него были красными: при родах запутался в пуповине, и, наверное, как тяжело он родился - такая же тяжёлая, неудачная жизнь ждала его впереди. Ох, и орал же он! И днём, и ночью. Девки по очереди качали его в люльке и, если крик не унимался, люлька взлетала почти к самому потолку. Однажды, Вика так раскачала её, что неугомный братец чуть не вылетел наружу. Очень тогда напугалась Вика, и даже злость прошла на братика-оруна. Сёстры, Томка и Галька, испугавшись удивленного, тоже стали сдерживать свои эмоции.

Хата была не пятистенка, не хватило средств на большой, добротный дом, но отец Вики сделал переборку, разделив его на две неровные половины. Большая - стала залом, а маленькую половину называли прихожей. Мать повесила шторы с большими яркими жёлтыми цветами по чёрному полю сатина, выделив в зале так называемую "спальню" - две железные кровати с "прыгучей" сеткой и постоянно висевшую посередине самодельную люльку для новорождённых сынов. Поначалу жизнь в семье Гаминых не отличалась

от других сельских семей. Подрастали девки, рождались-росли ребята. Отец с матерью работали в колхозе, по праздникам, в складчину, гуляли-веселились. Когда, в какой момент всё треснуло, нарушилось? Атмосфера в семье стала утягаться и утягаться. Уже не радовались дети, как раньше, когда весёлые родители возвращались с какого-нибудь праздника, из гостей или с "жарёнки", и ещё издали, по улице, были слышны песни и смех матери. Теперь же, качая в люльке очередного маленького братишку, они с замиранием сердца прислушивались к громкому пьяному крику отца. Всё чаще и чаще стали скандалы. Пьяный отец дико кричал на мать, бросаясь на неё, и повисшие на нём дочери, просящие, умоляющие его успокоиться, отлетали от него, как мячики. Он страхивал их с себя, как ненавистную обузу. Что интересно, мать никогда не ругалась на него, наоборот, называя его самыми ласковыми словечками, только уговаривала лечь спать. Но эти ласки-уговоры ещё сильнее бесили его. Младшая сестрёнка, завидев пьяного отца, стала потом убежать к соседям, а подросшая старшая Вика заступалась за мать, не боясь его замариваний и ударов. Она просила мать расстаться с ним, на что Полина горько отвечала:

"Ну, куда же я, доча, пойду с такой оравой?"

Отец невзлюбил Вику, видя в ней подросшую силу-заступницу. Однажды, при очередной драке с матерью, Вика высказала ему, что он замучил мамку, всех, что от настоящий зверь и не любит никого, даже собственных детей, что даже на улице его называют волком. Боже! Что было! Он выкинул босую Вику на зимнюю улицу и она бегала до бабкиной хаты, не чувствуя холода снега, а вслед ей летело:

"Чтоба больше у хатя не показывалась, иначе башка будет срублена!"

Бабка Маша (с маминой стороны), открывая дрожащими от страха и волнения руками дверь в сенцах, охала и ахала, ругая, проклиная непутёвого зятя:

"Ну, зверь, настоящий волк! Это ж надо над своим дитём так издеваться?! Гад ты такой! Чтоб тебе огонь ба жаркай спалил!"

Так вот приговаривала бабка Маша, глядя на краснющие ноги внучки, толкая её на горячую печку.

- Иди же, моя ты деточка. Печка ещё не выстыла, укутывай ноги!

Потом залезала сама, обнимала плачущую Вику, успокаивая:

"Ну не орушь, не орушь! Будя, будя. Живи с нами, пускай ён там бесится".

Ноги у Вики огнём горели; она всё ещё видела себя бегущей по сверкающей под лунной снежной дороге, ночное небо было так прекрасно, всё усыпанное ярчайшими звёздами, полная луна независимо и гордо посматривала на эту грешную землю и на всё происходящее на ней, и бедной девочке становилось ещё тяжелее, слёзы беспрестанно лились из глаз, и вся грудь её, в ситцевом платишке,

была мокрой и солёной. Вика лежала на горячих кирпичях печки, заплаканными глазами глядела на причудливые узоры сучков в гладких, будто отполированных деревянных плахах потолка, вслушивалась в осторожное шуршание черных, больших, с блестящими спинками запечных тараканов в «косах» лука, развешанного на задней бревенчатой стенке, и понемногу успокаивалась. Ночью она еще вздрагивала от горькой, жестокой обиды, и бабка, тут же просыпаясь, гладила ее по голове: «ни орушь, детка, ни орушь».

Это «ни орушь» Вика запомнила на всю жизнь, хотя потом больше нигде и ни от кого она не слышала его. Непонятное слово это тогда не требовало объяснений. Оно говорило за себя ласковым, успокаивающим жестом шершавой бабкиной руки. Утром, кто-нибудь из сестёр приносил «одежу», валенки и портфель, и Вика оставалась жить у бабки. Бабка Маша топила печку, варила картошку для скота, потом будила Вику, ставила перед ней, опять же, чугунок с разварившейся румяной «картохой», как здесь говорят, «в обарочку», доставала из печки небольшую сковородку с жареным, (солёным!) скворчащим салом, и внучка, «куняя» (обмакивая) картошку в жир, слизывая его с пальцев, завтракала и бегом, мчалась в школу.

Каждый год, ни по одному разу, Вика не жила дома. Она стала бояться отца, его страшных угроз, и когда мать приходила за ней к бабке, уговаривая вернуться, заверяя, что «ён уже одумался, зараза эта...» Вика только плакала и просила, чтобы её отдали в детский дом. Бабка Маша ругала отца, а заодно и свою дочь Полину, живущую с «етим зверем», которая сейчас стояла у самых дверей, не решаясь пройти дальше, виновато и покорно опустивши голову, и у Вики сжималось сердце от обиды, боли, жалости за несчастную мать. Вике не хотелось, чтобы о её беде знали сверстники, и, когда они все вместе шли из школы, она, как будто ни в чём не бывало, проходила бабкину хату, а подходя к своей, забегала в рядом стоящий сарай-торфяник, словно по делу. Постояв около коровы Зорьки, поглядев на безобидную возню поросят, подождав, когда все ребята разойдутся по домам, она задыхаясь, не оглядываясь, неслась, затем, к бабке Маше. И всё-таки, разве что утаишь от людей, живущих на одной улице, в одном селе?!

В один из весенних дней (хотя для Вики он был не особо радостным, так как она была в очередном изгнании) её прямо с урока вызвали в учительскую. Директорша Агриппина Павловна стала её расспрашивать, что у них происходит дома и почему она часто живёт у бабушки. Слезы душили Вику, и директорша, успокаивая её, пообещала отца вызвать в школу, на беседу.

«Ой, только его не вызывайте, он вообще, сразу убьёт меня и мамку!» - расплакалась Вика.

Может быть, отец и вызывался в школу, но, конечно, он туда не пошёл, а вот мать, выслушав все нотации и пожелания на собрании от учителей, не видя, наверное, никакого выхода, отчаявшись, стала

тоже частенько выпивать. И когда это произошло, положение вовсе усугубилось. Всё реже и реже случались в семье редкие зимние вечера, когда в хате, после вечерней протопки плиты или грубки (буржуйки) становилось тепло и уютно. Трезвый отец был пасмурен, но тих, а мать, радостная от того, что все вместе, в сборе, в мире и согласии, всё что-то старалась рассказывать, не переставая улыбаться. Уже учась в районе, Вика старалась не каждый раз ездить домой на выходной день. Иногда в отце будто бы что-то пробуждалось, и он становился суетливо-щедрым, старался заговаривать с дочкой, пробовал неумело шутить. В зимний ясный день, в воскресенье, после обеда Вика уезжала на учёбу. Отец сам попросил на конюшне лошадей. Он запряг её в широкие сани, кинул в них большую охапку душистого сена, укрыл дочку старым тяжёлым тулупом. От такого непривычного его участия Вике становилось ещё горше и обиднее. Она мочила слезами пахнувший затхлой овчиной тулуп, пряча в него красное лицо. Но такие минуты были так редки! Потом, ставши уже взрослой девушкой, Вика по-прежнему, отогревала свою душу в бабкиной хате. Бабка Маша стала совсем старенькой, а когда-то её все в деревне называли "ягодкой". За красивое лицо и белоснежную улыбку. Теперь же, лицо её было как печёное коричневое яблоко, а вот зубы у бабки были совершенно целые и здоровые, сохранившие даже свою белоснежность и, когда она улыбалась, было как-то неестественно, даже жутковато: перед тобой стояли молодость и старость. У неё было двенадцать рождённых детей, но осталось только шестеро. Остальные дети умерли в самом раннем младенчестве. Об умерших бабка Маша никогда не вспоминала, кроме "Хролки да Титки". Эти два мальчика, названные по церковным святым, прожили дольше других, тем, наверное, и остались в её памяти. Викин дед, Пётр, бабкин муж, вернулся с войны тяжело больной. По её рассказам, он долго лежал на печке и умер от военных ран. Оставшиеся девки, рожденные ещё в двадцатых годах, были уже взрослые, а с бабкой оставалась только Викина мать, пятнадцатилетняя Полина. Бабка Маша была замечательная работница, никто лучше её не умел класть стога. Вика не раз слышала во время покоса, как часто вспоминали бабку Машу - "ягодку". Деда же своего, по материнской линии, Вика совсем не знала. Как-то, Вика спросила бабку о дедушке, её муже, каким он был, любила ли она его. Она неохотно о нём говорила, а насчёт любви, вовсе усмехнувшись, сказала:

"Какая там любовь, детка?! Замуж выходить - только по большому пузу, да по худую жисть".

"Понесла яму, как-то, в косовицу, обед. Косили тут - недалеко. Подхожу, глядь, а ён с Гашкой Афонькиной под скирдой ляжты! И у Гашки рубаха до пупка задранная..."

- И что же ты, баб, сделала после этого?

- А что делала?! Дальше жила да ребят рожала. Тогда ж ничего

"этого" не знали. Сколькя господь дасть детей - усе наши. Ладно, если ещё кого "приберётъ" к себе, а то, прямо горяшка, с такой оравой. Ну, я, конечно, яго ругала. А что яму? Ён жа бригадиром был до войны, вот к няму бабы и лигли.

В скором времени бабке Маше стало худо, она всё чаще и чаще заговаривалась, да и немудрено, ей уже шёл девяносто первый год. Но ходила она всё ещё на своих ногах и, случилось, убегала по улице, завернувшись в одеяло, искать свою родную хату, где родилась. Как говорят "впадала в детство". Вике было больно и неловко, когда кто-то из соседей кричал ей:

"Вика! Опять ваша бабка побегла к себе домой! Ловите скорее!"

А она вновь и вновь убегала на другой конец села, где когда-то стояла её хата. По бабкиным рассказам, они горели пять раз. Два раза пожар возникал из-за грозы ("ох, и страшныя тоды были грозы!"), а раза три кто-то поджигал их. Скорее всего, не угодил кому-то бригадир, дед Петя, вот и рассчитывались такой страшной местью. В последние месяцы жизни бабки Маши к ней переехала средняя из дочерей, теть Нюра, которая всю жизнь прожила одна, после гибели на фронте мужа. Вика подходила к бабке, она вначале не узнавала её, а затем, признав, спрашивала:

"Детка моя, а иде жа твой мужик?"

- Бабуля, я ведь ещё молодая. Нет у меня никакого мужика, - улыбалась горько Вика.

Затем она начинала жаловаться на тётъ Нюру:

"Она ж, мне совсем не кормить, детка! Хочеть, чтобы я умерла с голоду. Викуша, дай ты мне водочки красной, а то у етой прошу-прошу..."

Вика вопросительно смотрела на тётъ Нюру. Та, обиженно поджимала губы, а затем со слезами в голосе кричала:

"А-ах, мам! Да я толька что тебе кормила! И винца давала. Она, Вика, представляешь, целую кружку красного выпила! Кажной день вина просить, хоть сроду не пила ни глоточка!"

Вика удивлялась, глядя на лежащую под двумя одеялами, мёрзнувшую свою бабку и подавала ей стакан вина. После выпитого целого стакана, она заметно оживлялась, щёки её румятели, глаза начинали поблёскивать, а когда на сморщённом старческом лице обнажалась молодая белозубая улыбка, Вике становилось как-то не по себе.

"Тётъ Нюр! Наверное, её организм требует вина. Надо, видать, попробовать бабке его хоть напоследок..."

Тётъ Нюра так и осталась жить в бабкиной хате, и когда её не стало, к ней перебежал самый младший из Викиных братишек - Витюшка, Виктор. Так же, как и старшая сестра, он скрывался от пьяных гонений отца у приютившей его тетки. Маленького, Вика собирала его, одевала потеплее и катала на санках по всей улице.

Однажды, по зиме, она также хотела погулять с младшим братишкой, уже обувала его в валеночки, как наскочил полупьяный отец:

"Ты что тут делаешь?! А ну-ка, уматывай, чтобы глаза мои тебе не видели..."

У Вики тряслись руки, она никак не могла ножку Витюшки затолкать в валенок:

"Сейчас, сейчас, папа! Дай только обую его".

Отец оттолкнул сестру от братишки, задел ногою табуретку, Витюша свалился на пол, а зарёванная Вика опять бежала к бабке. В ушах стоял отцовский дикий мат, проклятья и угрозы. Что это было? Откуда такая ненависть к собственному дитя?! Скорее всего, он был болен и его надо было лечить. Но сам, добровольно, он не согласился бы на это. Совсем безграмотный, в отличие от матери, он ещё был и заносчив, высокомерен. Ни с кем из мужиков, соседей, особо не водился, не знался. Да и мужики обходили его стороной. Вот в своей "вотчине", с бабой да девками, а затем и сыновьями-малолетками, он был герой и хозяин. С раннего детства и Вика, и все остальные ребята были поражены страхом. Страхом перед ним. Даже, будучи уже взрослой, замужней, в душе Вики панически дрожал зверёк страха, когда она встречала отца.

...Потом, по комсомольской путёвке она уехала строить КАМАЗ, вышла замуж, родила Руслана. Счастливая, с трёхмесячным сыном, ехала в отпуск, надеясь обрадовать внуком родителей. Мать, Полина, была бесконечно рада и не могла наглядеться на внука, возилась с ним, совсем ещё крошечным, "тапескала", чуть подбрасывая вверх: "ох, будить у нас космонавтом!". А в один из поздних вечеров пьяный отец вновь, видать, вспомнил старое. Начался жуткий скандал с оскорблениями, угрозами. Вика схватила сына с неизменной люлькой и побежала, теперь уже, к своей тётушке-спасительнице. Остаток отпуска она и провела у неё. Приходила мать. Плакала. Плакала и Вика, прося её бросить всё и, забрав мальчишек, ехать жить к ней.

"Как же я поеду, доча? Тут, вить, усё хозяйство, корова, да и ребята ещё небольшие".

Свою обиду и горечь у мужа она топила в стопочке-другой. Вика умоляла её прекратить такую жизнь. Полина, сидя за столом, подперев подбородок левой рукой, обречёно говорила:

"Вы толькя, сами, доча, живите в мире и ладу. Чтобы вам усе люди завидовали. А на нас не обращайтесь вниманья. Пускай теперь, что будет - то и будет!"

Она вроде бы и мужа стала меньше бояться, резко отвечая на его нападки, чего Виктория очень опасалась, предчувствуя, чем эта смелость может обернуться. Душа её болела за подрастающих братьев, остающихся в беспокойном родительском доме.

Потом, сёстры сообщали ей в редких письмах, что творится в семье. Мать тоже писала - обнадёживала, что "папка сейчас пьёт мень-

ше, сена накосили, хотя покос им дали самый никудышный и сырой, а картоху вырыли раньше всех, ребята так старались, чтобы быть первыми". Раза два Вика с мужем получали большие тяжёлые посылки. В одной были уложены толстущие куски солёного сала и завёрнута в тряпки и бумагу бутылка самогонки - "для любимого зятя". В другой посылке лежал здоровенный гусь, подсолённый для пересылки и, непременно бутылочка, опять же, "для любимого зятя". Викиного мужа мать просто обожала. Он сразил её не только тем, что был чернобровым, красивым, но ещё удивительной простотой и участием. Уже на следующий день по приезду он пошёл с Полиной, новоявленной тещей, на ферму и стал помогать доить коров. Олег был из бедной деревенской семьи, и в детстве ему приходилось делать что угодно по хозяйству; научился он и доить. Потом теща бегала по деревне и всем восхищённо рассказывала, какой у неё хороший зять. Но и зять поллюбил тещу. Собираясь в очередной отпуск, он желал ехать только к Викиной маме, на Викину родину. Сам он был из других мест, далёких приволжских степей. Да и как было не рваться к гостеприимной Полине, если ранним утром, ещё едва проснувшись, она быстро-быстро затапливала печку, готовила завтрак своим молодым. Но, конечно, больше всего она старалась для Олега. Она звала зятя к столу, где уже красовалась дымящаяся, с невыразимо вкусным ароматом, большая сковорода жареной гусятины. Неизменно на столе появлялся стакан самогона, на что Вика недовольно ворчала, а мать же, полшутя, ей выговаривала:

"Ён у меня в гостях. Дома, что хочешь делай, а тута - я хозяйка. Да и где ён ище такую чистую, вкусную самогонку попробует?"

Зятьёк Олег, видать, распробовал брянскую самогонку и очередного отпуска ждал весь год с нетерпением. Но мало ему пришлось подовольствоваться добротой и любовью своей тещи.

Пришла телеграмма от тётъ Нюры, что мать в тяжёлом состоянии. Вика, как на грех, в это время лежала в больнице с десятимесячным сыном, у которого обнаружили плеврит. Она металась по больнице, не зная, что делать. Главврач заставил её написать расписку, если она решится ехать, так как состояние сынишки очень тяжёлое. Вика была словно сумасшедшая. Пожилая санитарка, намывая полы в палате, говорила ей:

"Детки у тебя ещё будут, молоденькая, а вот мать навеки одна!"

И Вика решила ехать, но отбежав метров двадцать от больницы, кинулась назад, к сыну. Поехал муж, она же отбила телеграмму с просьбой простить её и потом, ночами, просила у бога здоровья мамке, просила чуда. Но чуда не случилось... Случилось самое страшное, чего так боялась Виктория. Она предчувствовала беду ещё в тот, последний раз, видя перед собой свою мать. Никогда не забудет Вика, когда, уже на станции, при объявлении подходящего поезда провожающая Полина спросила у неё, чуть-чуть улыбаясь, с грустинкой:

"Доча, а сердце у тебе волнуется сейчас, правда?"

Конечно, сердце волновалось, прежде всего у неё самой, а от дочери хотелось услышать подтверждение такого же чувства, единого для них двоих. В последний раз счастливая бабушка подбрасывала вверх коричневыми, потрескавшимися руками доярки своего первого внука, и когда поезд тронулся, она ещё долго бежала по почти пустому районному перрончику, пока не превратилась в маленькую ярко-жёлтую точку, из-за совсем недавно, купленной "у Брянску", новой жёлтой кофточки. Выросли и улетели из горького, неуютного, но всё-таки родного уголка Полинины девки-заступницы. Осталась она с подростками-сыночками, с ранних лет запуганных своим папкой. Увидя пьяного отца, они с ужасом в глазах разбегались кто куда. Печка уже не являлась их укрытием, как раньше. Папка вышвыривал их оттуда, как котят. Старший Санька убежал в сарай и, бывало, там и ночевал до утра под успокаивающие вздохи коровы Зорьки да мирное похрюкивание поросят. Средний Мишутка забивался в подпол, куда, по осени, высыпалась картошка, а самый младший Витенька "летел не чуя пяток" к своей защитнице теть Нюре. Полина оставалась одна и вступала в неравную пьяную борьбу.

В один из мартовских вечеров в хате Гаминых, по рассказам соседей, "опять шумели".

Но после этого "шума" Полину три дня никто не видел. Убирался во дворе сам хозяин, за водой ходил тоже он. И всё "молчком ды молчком". И только, когда тётя Нюра забеспокоилась и зашла в хату, ей открылась жуткая картина. Полина лежала на постели, чёрная от побоев, она не говорила, а лишь мычала. Отец сам запряг лошадь, повезли мать вместе с теть Нурой на станцию, до больницы.

И, как потом рассказывала теть Нюра:

"Ох, девочка ты моя! Ён жа кнудом, то по коню ударить, то, как размахнется, да назад, и по Польке, и по Польке. Я яму говорю, што жа ты за зверюга такой, свою жа бабу убил, гад ты такой! А ён ещё сильнее ка-ак кнут размахнеть, да и по мне попал. Я аж уся услужалася, ну, думаю, не довезеть до станции, приехать вместе с сестрою. Ну, слава богу, нам наустречу ехала уже скорая. Тут-то ён и притих. Это жа надо такое-ча наделать? Вот, девочка, какие люди бувають. Ить, скока ей было говорено: уходи от няго, пока не прихлопнул, дык нет, всё тянула. Дотянула".

"Не случилось" у Виктории и других деток, как обещала ей санитарка, а вырос один единственный сын Руслан. Бедный парень, он так и не познал свою родную бабушку. Она умерла на руках любимого зятя.

Когда кризис миновал, и Руслан поправился, Вика поехала к своим братишкам, жившим после смерти матери у спасительницы тетки Нюры. Отцу дали большой срок, а в опустевшей хате Гаминых жил старший брат Санька, учившийся в пятом классе. Когда-то

горластый и красноглазый братишка сейчас писал стихи. Написал он и трогательное стихотвореньице на смерть мамки. Виктория с Русланчиком тоже решила ночевать в родной хате, взяв с брата обещанье, что тот вернётся пораньше с улицы. Она уложив сына, старалась что-то делать, навести порядок, сама же, нехотя, всё прислушивалась к чему-то. Санька, как на грех, загулялся. Уже совсем стемнело, затихли деревенские подворья. Густая тишина повисла над улицей. Вика сидела у кровати сына в ожидании брата и вдруг явственно услышала чёткий топот шагов на чердаке. Сердце у неё замерло, дыхание перехватило. Она резко вскочила и открыв дверь в сенцы крикнула брата. Ответа не было, стояла звенящая в ушах тишина.

"Господи! Может померещилось?"

Вика хотела отвлечь себя, занять делом, что-то помыть-протереть, но руки не слушались, из них всё валилось, а обострённый слух ловил все стуки и шорохи. Вика взглянула на часы. Было уже четверть первого ночи. И вновь её уши уловили шелест сена на чердаке - "повети", а затем и более громкие, чем прежде, тяжёлые шаги. Тут уже не мешкая, она схватила в охапку спящего Руслана и рванула на улицу, не заперев дверей. Лунная тёплая полночь окутала деревню, августовские звёзды крупными яркими шарами рассыпались по всему небосводу и, казалось, висели низко над землёй. Виктория бежала с сыном на руках, будто летела по воздуху, не чувствуя никакой ноши. Не чужая под собой ног, она подлетела к теткиной хате, стала тарабанить в дверь и пока теть Нюра искала, нащупывала в темноте щеколду, спина у Вики стала мокрой от страха... Пришедшего утром завтракать брата Сашку, она крепко отругала и в своей хате больше не ночевала. Сашка же усмехнулся, да ещё добавил страху:

"Ето што?! Я ж, Вика, не у хате ночую. Пока лето - я сделал себе будку у саду. И вот, как-то ночью, проснулся, сам не знаю от чего. Какая-то тревога была. Слышу, хрюкает около будки свинья. Думаю, откуда она и чья? У нас, ведь, нетути, а соседские усе по закуткам закрыты. Сбегла, что ль, какая? А тут ещё раз: хрю-хрю... Прямо чётко так. Вылез я из будки. Никого. Обошёл кругом, прошёлся по саду - тишина".

- А-а, ну ето, Саш, к тебе мать приходила, - спокойно так добавила тетушка.

После таких рассказов Вике даже днём было боязно заходить в родную хату. Потом, многие годы они приезжали в отпуск всей семьёй и жили у тетё Нюры, которая с неизменным гостеприимством и доброй душой встречала их. Мужа Вики, Олега, не знала куда посадить, чем угостить. Потчевала его, как самого желанного гостя, как когда-то его любимая тётца. С самого ранья, она звала его к столу, уставленному закусками. Вика пробовала протестовать против здоровенных стаканов; поставила, как-то, на стол маленькие рюмочки,

ею же привезённые и подаренные теть Нюре, но та не поняла и не приняла такого эстетства, смахнув рюмки фартуком:

"Ето ещё што за обезьяны на тонкой ножке? Какого змея в неё влезеть? Толькя губы смочить..." -

и поставила гранённые стаканы, прозванные сталинскими, обратно на стол. Когда бы Вика к ней не приехала, будь это даже глухая ночь, теть Нюра, всполошённая, начинала бегать из хаты в сенцы, из сеней в хату, собирая угощенье. Через какие-то минуты на сковороде жарилось, скворчалось нарезанное большими кусками, "пальцами" солёное сало, вбивалось несколько яиц и, ни с чем несравнимая деревенская глазунья, была готова. Из подпола доставались маринованные маслята и разрезанный на четыре части, тоже маринованный, кочан капусты. Нигде потом Вика ни едала такой вкусной капусточки, да ещё под крепкую, но "мягкую" самогоночку. Теть Нюра так и говорила:

"У мене самогонка самая мягкая по всей вулицы. Хоть у кого спроси, если не веришь. А вот секрета своего я вам не скажу..."

И это действительно так. Унесла свой секрет теть Нюра с собой, а нынешняя самогонка далеко уже не та; особенно у молодёжи, которая не прилагает особых усилий для её приготовления и выдержки. Теть Нюре пришлось поднимать, воспитывать трёх Викиных братьев. Хотела Виктория забрать к себе среднего Мишутку (престарелой тетке было уже тяжело справляться), но в районной и местной школе Вику отговорили, нельзя, мол, ребят развешивать. Да и ей самой было жаль каждого, каждый был дорог, и за каждого болела душа. Теть Нюра обиженно молчала: Миша был самым добродушным и работающим. Всё тёткино хозяйство лежало на нём, хотя было работнику всего десять лет. Он, конечно, сначала загорелся ехать со старшей сестрой, но, поехав в район для консультации, пока Вика разговаривала в кабинете, не дождавшись её, увидел знакомый сельский молоковоз на улице и уехал на нём в родную деревню. Вика чуть с ума не сошла, потеряв его. Вернувшись в село, задыхаясь от волнения, она у первого встречного спросила о Мишутке, а влетев в хату, с порога, накинулась на недоумевающего братца, спокойно евшего тюрю - раскрошенный в молоке хлеб. Так вот и разрешился этот вопрос с поездкой. Все три брата остались у тётки. Вика и сёстры помогали ей деньгами, высылали посылки с одеждой. Теть Нюра уже не представляла себя без них и, когда оставалась в хате одна, всё плакала и плакала, боясь грядущего расставания и одиночества.

Проводила в армию и дождалась старшего Сашку и среднего Мишку. А за маленького Витеньку, жившего у неё с раннего детства и, по сути, бывшего уже её сыном, больше всего болело сердце:

"Толькя бы мне яго дожждаться... А там и умирать можно!"

Слава богу, дождалась и Витеньку. Те двое улетели в далёкие дали, осваивать жизненные пространства от Урала до Владивосто-

ка, а младший Витенька остался с нею. Был он со своею тетё Нюрой-мамой до самого конца её жизни. Трудно ему в пустоющей деревне, и Виктория уговаривает его, что он их единственный причал, оставшийся на родине, что именно его, последнего, Господь выбрал для проживания на родной земле, с родными могилами рядом. Виктор, грустно улыбнувшись, отвечает:

"Да, вам всем лёгко ето говорить! Вот сами ба тут пожили..."

...Вике показалось, что всего мгновенье она стояла у родной хаты, но вся жизнь пронеслась у неё перед глазами.

Возле хаты Кудриных чувствовался порядок и уход. Но не было старой ракиты с большими глубоким дуплом, куда вмещалось сразу два человека. Будь то "ребята" или "девки", но в дупле постоянно кто-то сидел. Тому уютному дуплу поверивались все тайны и секреты. Сидя в нём, с приподнятыми к подбородку коленками, Вика Гамина и Веруська Кудрина мечтали о своей поездке в город, "что-ба покататься на карусели". А пока они раскачивались на "релях"-качелях, висевшими на толстом суку этой ракитки. Да, в том дупле, как-то, по-особому, думалось и мечталось. Ракита тогда уже была старой, а сейчас на её месте располагался мангал для шашлыков. От крыльца травка была далеко вытоптана, рядом с мангалом стояла беседка, что-то наподобие уголка отдыха. Видать, по выходным, многочисленные кудринцы наезжая в гости и на подмогу к матери, баловали себя, на городской манер, шашлыками. Войдя в сенцы, Виктория услышала шум и гам, неразбериху голосов баб. Постучав, она тут же открыла дверь. Сто лет не была она у Кудриных. Замерев на пороге, Виктория словно вошла в своё детство. В хате стоял неопишуемый, неповторимый, характерный только для этой хаты, особенный дух. Ни запах, ни аромат, а именно, воздух. Дух. В каждой хате этот дух был разным, присущим только для данной хаты, семьи. Вот в хате соседей Гришаниных всегда пахло чистотой, свежими пышками с мёдом. Они держали ульи в саду, и когда дядь Митя качал мёд, у их порога толпилась детвора, не боявшаяся даже в этот момент роя носившихся пчёл. Но подходила минута вознаграждения, вся детвора приглашалась за стол, где стояли неглубокие тарелочки с густым янтарным мёдом. Все брали по белой пышке и "куняли" её в это чудо-мёд. Когда же, случалось, пышек не было, ели мёд с чёрным хлебом, и не было большего счастья на этой земле! С чёрным хлебом вкус становился ещё пикантнее.

Через дорогу, в своей маленькой хатке, крытой почерневшей соломой, жила бабка Праскуня. Внутри было также бедно и убого. Стояла длинная лавка вдоль стены с окнами, в углу - скособоченный стол, на казёнке, досчатом настиле у русской печки, была сделана кровать на деревянных чурках. Вике пришлось раза два ночевать у бабки Праскуни, прячась от отца. И ей навсегда запомнилось зелёное, суконное, колючее одеяло, которое очень "кусалось". Спать под ним было неприятно и Вика уползала из-под него, лезла на

русскую печку, под бок к бабке. В сенцах стоял рундук, пропахший яблоками. Даже зимой яблочный дух сохранялся: в рундуке постоянно лежали яблоки и груши. У бабки оставалось одно богатство - большой плодородный сад. А в хате её пахло оладьями. Она пекла их на постном масле, замешивая на воде, но те оладьи были ни чуть не хуже белых гришанинских пышек. Духом оладий было пропитано всё ветхое жилище бабки Праскуни. В свои приезды Виктория удивлялась долголетию этой убогой халупы. Давно уже не было бабки, а хата всё стояла и стояла. Даже накренившись на один бок, до самой земли, она всё не разваливалась, и только, когда начали растаскивать её по "брёвнушку", на этом месте появилась новая пустошь с большим, запущенным и тоже умирающим садом через дорогу.

В хате бабки Фёклы был тоже "свой дух", резко отличающийся от духа бабки Машиной хаты. Здесь воздух был пропитан зловонным самосадом деда Алёши, но, несмотря на это, в него робко вливался запах земляного пола в сенцах и чистый аромат часто стиранного белья - бабка Фёкла была очень чистоплотной. Бабка же Маша-спасительница, а затем и тетя Нюра, чистоту, видать, не считали особой добродетелью, и потому в их хате всегда стоял небольшой кавардак. Бывало, в чулане скапливались ненужные давно вещи, предметы, забывались какие-нибудь продукты. Но всё это не портило общего духа хаты. За дверью чулана долго висела сетка со сливочным маслом. В деревне то была большая редкость, хотя каждая семья держала корову - масло сами не делали, да и сметанки-то вдоволь не наедались. Были те коровы не той породы, что дают большие надои. Вот Вика с сестрёнками и положили тогда "глаз" на масло. Украдкой, где ложкой, а где и просто рукой потягивали это жёлтое, тающее во рту чудо. И ведь, слава богу, не отравились, хотя неизвестно сколько оно уже висело за дверью - о холодильниках тогда и не мечтали. Когда Вика намывала полы, убирала все закутки и углы, поливала засохшие гераньки, а потом читала только - что принесённые, пахнувшие свежей типографской краской журналы "Крестьянка" и "Работница" - дух уюта, чистоты и тепла обнимал всё вокруг. Но главным источником духа, неотъемлемой стороной жизни каждой хаты, каждой семьи была красавица - белёная русская печка. Она рождала и смешивала самые разные запахи и ароматы. Она выпекала душистый хлеб, парила, жарила, томила в чугушках деревенскую пищу, наполняя всё вокруг здоровым, живым духом. Вечерами, облака пара окутывали кухню: это доставалась и толклась большой деревянной толкушкой картошка и бурак для скота, заваривалось пойло для коровы: в тёплую воду кидали горсть муки, немножко соли, сдабривали картошкой. И в эти вечерние минуты дух во всех хатах был одинаковым.

...Сейчас, стоя на пороге, Виктория вдыхала, втягивала забытый дух кудринской хаты. Даже аромат, запах приготовленных блюд по-

городскому не сумели затмить, забыть этот своеобразный деревенский дух. Это был не только дух жилища, еды, одежды. Казалось, здесь присутствуют все жильцы этой большой семьи, даже те, которые далеко сейчас или которых уже вовсе нет на этом свете. Вдруг, Виктория почувствовала, ощутила дух дяди Леонида, хозяина этой хаты, ушедшего навсегда. Он находился здесь, рядом, со своей семьёй, большой, громкоголосый, с жёлтыми прокуренными пальцами на здоровых мужских руках. Это было как наваждение, и Вика, тряхнув головой, откликнулась на возгласы баб. Они сидели, кто на табурете, кто на лавке, в ожидании приглашения к столу. Конечно, тут Веруся постаралась: одних салатов было больше пяти наименованных; колбаса, сыр, нарезанная отдельными кусочками красная горбуша и, вдобавок, фирменное деревенское блюдо - томлёная в русской печке картошка с мясом. Красовались фигуристые бутылки городской водочки для открытия обеда, а скромные бутылки с самогонкой ждали своей второй очереди в тёмном чулане. В хату залетела раздумывавшаяся Веруся с миской солёных груздей:

"Ох, Вика, мы тебя здесь заждались! Я уж подумала, что ты до нас так и не дойдёшь. У каждой хаты остановка! Ну, теперь, все в сборе, давайте рассаживаться".

Бабы с табуретками потянулись к столу. Теть Катя Смолина, не отрывая глаз от Вики, спросила, покачивая головой:

"Ну, что доча, нагляделась на родную хатку?" - и тут же добавила: да, деточка моя, сейчас ба усе вы приехали в родной дом, к мамке, как усе нормальные люди. Разве бы Полина не порадовалась бы..."

- Ну ты Кать чаго завела ету песню? И ни к чаму! Нечего теперь душу бередить! - теть Шура-Кудриха обняла погрузневшую Викторию, подталкивая её к столу: "Молодец, доча, что пришла. А Веруся говорить, пусть Вица постоит у родного крыльца. Что жа, доча, теперь поделаешь. Жизнь назад не повернешь! А ты, ничего! Хорошая, полная!"

Она покраснелась, глаза оживлённо блестели. Почти согнутая пополам, теть Шура поднимая своё лицо к гостям, и всё просила-говаривала:

"Ешьте, пейте, дорогие. За здоровье всех нас. Беленькой, беленькой подливайте, пейте!"

Выпившие бабы кричали, каждая - своё.

"Ты, Шур, у городя, гляди не скучай! Тама жисть хорошая, гляди-ка, ещё и распрямишься, да и жениха сабе ещё найдешь!" - смеялась теть Маня-Чуриха.

"А что мне, бабы, скучать?! Дети усе со мною. А мужик пускай остается. Пусть теперь ляжить у рякитках. Хватить, набегался!" - Кудриха отчаянно встряхнула головой, и перед Викой вновь возникла молодая теть Шура с пшеничной косой.

Напротив Виктории сидела старшая из дочерей Кудрихи - Таи-

сия. Вика не видела её лет тридцать и помнила высокой, белолицей девушкой, с пышным, "конским" хвостом волос. Теперь это была тихая женщина, с испещрённым морщинами лицом. Показалось, что даже у самой Кудрихи, матери, морщин меньше, чем у дочери. Виктория смотрела на неё и удивлялась быстротечности жизни. Ладно, когда живёшь рядом, старение не так заметно, вместе "стареется", но когда встречаешь человека через большой промежуток времени, вдруг, резко, испытываешь настоящий душевный шок. Было молодое, гладкое лицо с весёлым взглядом, и вот - поникшая измождённая женщина, почти старуха.

"Почему же мы не ценим нашу такую короткую жизнь?! Почему она так мала и ничтожна?! Для чего мы пришли в неё? Счастливы ли мы, волею случая или судьбы оказавшиеся на этом свете? Или мы, несчастные, так и не познавшие его, а быть может, лучше бы и не знавшие этот белый свет".

Вот такая философия вдруг захватила Викторию среди шумливого, быстро захмелевшего застолья.

"А ты, чаго ж, доча, задумалась? Ты лучше Расскажи как живешь?" - тетя Сима Русакова снова переключила внимание всех на Викторию.

- Да, Вика, скажи, как у вас, вообще, люди живут? Лучше нашего ай нет?

- Да ну, бабы, теперя, везде усе одинаково живут! - разговор продолжила Манька-Чуриха.

- Ты лучше нам скажи, есть у тебе мужик, или одна живешь? Крепко твой Олег нам усем нравился. Это ж надо так рано погибнуть!

Теть Маня-Чуриха не дала ответить Вике, вспоминая её мужа:

"А, вить, Полина яго так уж любила, так любила. Она, бывалоча, бегить по деревне и всем хвалится: "ох, у мене зять, у мене зять! И красивой, и работающий!" Ён жа ей коров помогал доить!"

Теть Сима Русакова пыталась перебить Чуриху:

"А ты, Вика, помнишь, как вы с моей Надькой от грозы убежали?"

Как же не помнить. Вся ребятня купалась тогда в Липовском логу, не замечая приближающейся грозы. Когда над ними почернело небо и греметь стало сильнее, все побежали домой. До деревни было километра полтора, и гроза застала бегущих. Вмиг стало темно, посыпавшийся крупный град, величиной с куриное яйцо, больно сёк по телу. Ребята рассыпались кто куда, рядом неслись разрозненные коровы из стада. Вика помнила, что бежала рядом с чёрно-белой коровой, стараясь укрыться, спрятаться под её большим боком. И вдруг, корова исчезла, Вика бежала сквозь темь и град одна. Добежав до первой хаты, она прошлёпала босыми ногами к печке, залезла на лежанку, а там уже хлопала - ревела русаковская Надька. Они прижались друг к дружке и уснули.

Бабка Ксюха потом рассказывала:



Моя мамочка



Брянские бабы...

"Я, бабы, захожу у хату. У самой голова градом побита, пока гусей с болота гнала. Гляжу, чьи-то мокрые ступки (следы) ведут прямо к печке. Я аж испугалася. Залезла, гляжу: лежать две девки в обнимку!"

Да все помнили то лето и ту грозу. Был конец мая, и ещё не выросшие гусята паслись на болоте. Многих гусей тогда, коих не успели загнать хозяева домой, побил диковинный град.

"А я помню, иду мимо Гришаниных. И удруг, хтой-та ка-ак бросить в мене яйцо. Я тогда оглянулася, думаю, нашли чем кидаться! А тут, как полятели эти яйца! Ах, батюшки - святые! Пока до своей хаты бегла, уся голова у шишках стала!" - вспомнила помолодевшая Кудриха, казавшаяся просто счастливой, несмотря на свой скорый отъезд.

В хату, чуть запнувшись о порог, вкатилась кругленькая, полная тетя Оля Федурова. Вольгуша. Так ласково звал её муж, дядь Вася, так её кликала вся деревня. Вольгуша, расстёгивая на ходу модное, когда-то, пальто "джерси", доставшееся от девок, бросилась обнимать Вику:

- Доча ж ты моя, Викушечка! Ой, как же я давно тебя не видала! А чаго ж ты ко мне даже не зашла? Почаму? Мы, вить, с твоею мамкой до самой смерти всё вместе были. Ах, Полька, Полька... - запричитала тетя Оля.

Бабы зашумели на неё:

"Ещё одна нашлась! Табе что тута, похороны что ля? Вика, детка, отпихни ты ие к едрене хвене, пускай за стол садится!"

- А я и ни к вам пришла, вы мне усе надоели, хуже горькой редьки! Я вот к Шурке да к Викуше прибегла.

Чуть успокоившись, Вольгуша втиснулася между баб.

- Вика, я как успомню: бывалоча, ты сидишь на лавке кыла хаты, ногами болтаешь, напевая "ти-ли-ля, ти-ли-ля". Годов пять табе было. Всё, бывало, поёшь - ти-ли-ля. Я подойду, спрошу: а на кого ты, девочка, похожа? А ты и говоришь: на закутку, на поросёнка... Ну, вить, ты же девочка. Ты, наверно, на свою мамку похожа? А гнали мимо стадо на обед. Ты опять: ти-ля-ля, я похожа на корову. Ох, и смеялись же мы! А тебе потом так и прозвали: "ти-ля-ля".

Тетя Оля Федурова, наконец, замолчала, глаза её увлажнились.

Кудриха принесла стакан и тарелку. Виктория глядела на старую подругу своей матери и ей казалось, что она - всё та же. Тот же неувыдающий румянец на щеках, будь то радость или волнение, та же быстрая возбуждённая речь, и только чёрные когда-то, как вороново крыло, волосы, стали совершенно белыми. Да тяжелей и медлительней походка.

Вместе с Полиной они завербовались в Москву. Работали на стройке, жили в общежитии.

"От жанихов не было отбоя!" - смеялась Вольгуша, когда приходила в гости к Гаминим.



.. На этой  
«вулице»  
звенели  
ребячы голоса  
когда-то...

Ракиты помнят  
грусть, веселье  
За бывшей  
бабки Фёклы  
хатой...



...Брянская  
баба по ямам  
и ухабам...

Ей нравилось, что Вика расспрашивала её, что да как было раньше.

- А мамку твою знаешь как все звали? А-а, не знаешь... Пушкин. У ней, знаешь, какая шапка волос на голове была кудрявая?! Вот, то-то. Красавица, вить, была, а вот пожалела твоего батю и вернулась у ету грязь. - Вольгуша посматривала в сторону матери Вики, а Полина незлобиво укоряла её:

"И зачем ты ето всё плетёшь, зачем девке голову задуряешь?"

- Я ни пляту, я правду говорю. - тетя Оля, доверительно, опять склонясь к Вике, продолжала:

"Ён жа, батя твой, по ей с ума сходил. Даже, как-то, удавиться удумал, если мать твоя замуж за яго не пойдёт! А теперя, гляди-ка, как измывается?! Ды, я ба, с ним и дня не жила! Сама, ба, верёвку у руки сунула: иди, даvisь!"

Полина боязливо посматривала по сторонам и просила подругу:

"Вольгуш, ды замолчи ты, ради бога! Как на грех, услышать; ён жа, вот-вот с работы должен подойти!"

- А, пускай итеть, я и яму, прямо у глаза скажу, какой ён есть!

Теть Оле повезло. Ей попался хороший, спокойный мужик. Работал он ветеринаром, и хоть такой работе способствовало частое угощение-подношение, выпивал он очень редко. А когда был выпивши, в хате Федуровых стоял смех и веселье. Дядь Вася пел песни, тетя Оля подтрунивала над ним, а дети, Юлька с Наташкой и Витёк, скакали и прыгали возле него - игрались. В такие минуты, у Вики, находившейся у них, тихо поднывало внутри:

"Ну, почему ихний папка не такой? Вот был бы, как дядь Вася..."

И сейчас, глядя на женское застолье, Виктория отметила, что среди всех этих судеб, судьба тетя Оли Федуровой, Вольгуши, сложилась наиболее счастливо.

Теть Шура, "Кудриха" всё время поглядывала в сторону Вики, как бы спрашивая: "ну как угощенье, какой у меня стол?" И, тут же, сама восхищалась:

"Во, бабы, поднять, ба старых людей, чтобы удивились, как мы сейчас живем, что едим, что пьем. И чаго жа, сейчас только нетути!"

- Да, Шур, усё теперь есть, толька здоровья нету, молодости. - тетя Сима Зайцева говорила Кудрихе, а сама повернулась к Вике:

"А я помню, Вик, как ты чуть не потерялася. Мы, тогда, "конопи брали". Ты, наверно, пошла искать свою мамку. И вот идешь, цветки рвешь, ти-ля-ля, ти-ля-ля напеваешь, уже дошла до "Первого бора", а навстречу итеть дед Терех. Ён удивился: "совсем маленькая девка, годика четыре, топаеть куда-то".

- Ты чья, девочка, будишь?

- Гамина.

- А зовуть как?

- Вика.



(родной дом, хата)

Как заснеженно стило кругом  
И на небе белёсая муть.  
Мой несчастный покинутый дом  
Не вернуть, не вернуть, не вернуть...



Заросла вся улица «шабарой»  
И вокруг пустынно, одиноко.  
Нам в дупле ракиты этой старой  
Грезилось о светлом и высоком.

Дед Терех не понял имечко твоё, подумал:

"У селе Гаминых много. Надо оборачивать девку назад!"

Он узял тебе за ручку и повёл. Идетъ мимо "конопей" (конопля), а я тут, сижу у дороги. Ко мне прибег мой Валерик, сынок. Яму шёл уже "сёмый" (седьмой) годок, а ён, нет и нет, да и полезеть ко мне за пазуху. Сиськю яму надо. Люди усе дивилися етому. Никак не могла яго отучить. Ну, я присела на сноп, Валерик чмокаитъ сиськю, а тут и подходить етот дед Терех.

- Молодка, ни скажешь чей ето ребёнок?

Я и рот не успела открыть, а мой Валерик оторвался от груди и говорить:

"Дед, ето жа Вика Гамина".

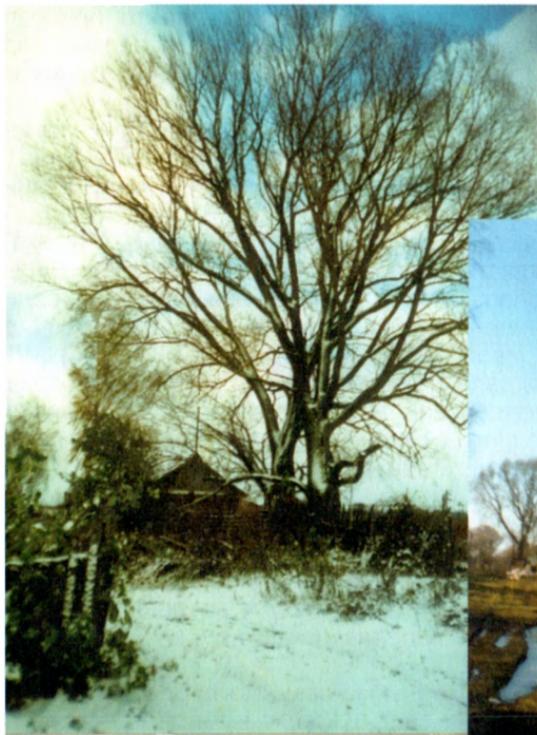
Дед и глаза вылупил. Что за диво?! Ён, жа, редко у нашей диревни бувал и про нас с Валериком ничего не знал. Смеялась тетя Сима, смеялась Вика, а тетя Катя Смолина заметила:

"Оттого у тебе, Сим, одна твоя сиська больше моей головы!"

За столом разразился невообразимый хохот. Захмелели, повеселели бабы, поскидали свои нарядные кофты и полушалки и Виктория не видела перед собой сейчас, по сути, уже старух, как и не представляла себя уже довольно зрелой женщиной, бабой, перешагнувшей сорокалетний рубеж. Рядом с нею сидели, гомонили, балакали её соседки, знакомые с детства, и казались они по-прежнему молодыми, красивыми и здоровыми. Почти все они остались одинокими вдовами. Мужики покинули их, оставив "белый свет", в основном, "ушли" по пьянке - этой горькой русской национальной трагедии. Виктория, вдруг, поймала себя на мысли, что она сама - "родня по несчастью" своим землячкам-бабам; не минула и её "чаша сия": муж погиб по этой же причине.

Дядя Толик, мужик тетя Симы Русаковой утонул в святки в деревенском колодце. Как его туда завернуло - никто не знает. Ходили слухи, что помог ему один из мужиков - "доброжелателей", но расследования никакого не было и не стало доброго, простого балагура Толика-"Краба", который насколько был красив и добр в трезвом виде, настолько страшен и агрессивен будучи пьяным.

Маленькая Вика дружила с его дочкой Лидой, единственной в куче пацанов и когда, ещё где-то в конце улицы раздавался грозный матерный крик пьяного Толика-"Краба", вся ребятня как цыплята, врассыпную, разбегались по своим хатам, оставляя за собой облако дорожной пыли. Долгие годы из того колодца деревенские не брали воду, забив его досками. Даже коней поили из колоды, лежащей у другого колодца, на дальнем краю улицы. Людей охватывал страх, у каждого в душе долго сохранялся тревожный трепет за то, что в ту зимнюю ночь никто не смог помочь своему мужику. У тетя Мани "Чурихи" мужик был самый востребованный в деревне. Ну, во-первых, он работал при "штате", то есть, состоял при колхозной живности, а именно, при лошадях, и все бегали к нему, когда



Ах, девки, девки! Неужель мы бабы?!

необходимо было кому-то съездить в район или просто привезти торф, дрова, сено. Но самое главное, Иван Чурин был первым гармонистом по всей улице, и ни одна складчина, ни один праздник не обходился без него.

Даже у Вики, когда она в детстве, слышала игру дядь Вани, какие-нибудь "страдания", сладостно млела и приятно томилась душа в предчувствии чего-то, совсем близкого, пока неизвестного и таинственного.

За столом, рядом с мужем, всегда восседала гордая "Чуриха". Она и командовала гармошкой, какую пляску играть вперёд: Барыню, Сербиянку или Подгорного. После гулянки, она под руку уводила своего Ивана, и долго ещё слышны были по улице то залихватские, то щемящие до боли, своей грустью, наигрыши гармошки.

Страшная болезнь подкралась к гармонисту. Оплотные врачи сказали про диагноз, и затосковал весёлый Иван Чурин. Затихла его гармошка; одиноко стояла на сундуке, прикрытая какой-то тряпкой от пыли. Мужик не стал дожидаться предназначенного конца и в один из вечеров, когда жена его была на посиделках у соседки, взял свой солдатский ремень, стянул его на шею и повесился на высокой ажурной спинке железной кровати, подаренной молодым, когда-то, на свадьбу. Когда Манька-Чуриха зашла в хату, Иван в неудобной позе сидел у кровати. "Чуриха" сразу и не поняла, как это можно так умудриться, а потом заорала на всю улицу, боясь приблизиться к собственному мужу...

А дядь Серёжа Смолин, спокойный, невысокого росточка мужичок, всегда покорно глядящий на свою Катю, умер прямо во сне. И не пил он много, как считается в деревне, а накануне, перевозил с Курновки в центр, "на село" бабку Семиху; та, конечно, угостила его, благодарная за машину и помощь. Дядь Серёжа пришёл домой, выслушал ругань своей обожаемой жены и забрался на печку. Утром, та стала "кричать", то есть будить мужа-шофёра на работу, попутно убираясь по хозяйству, а мужик всё "ляжить и ляжить".

"Ды, что ты тама? Сдох, что ля?"

Катя Смолина поднялась на казёнку, заглянула на лежанку: лежит как неживой. Она тронула его, мужик перевалился на другой бок и, несмотря, что печка уже топилась вовсю, он был холодный. Смолиха от ужаса скатилась на пол, ушибив руку, в душе ещё не понимая, что случилось непоправимое. Бедного дядь Серёжу ночью вырвало; оказалось, он захлебнулся собственной слюной. На похоронах тетя Катя обмирала, падала на гроб, считая себя виноватой, что сама накаркала смерть, что кричала на "милого, дорогого Серёженьку, так её любившего".

... Прошли годы, привыкли бабы жить одни. И как-то, потихоньку все справляются со своими дворами и огородами. По выходным ко многим приезжают дети, а в особо трудоёмкие времена страды, будь-то сенокос или копка картошки, все стараются объединиться, чтобы



Моя бутерская  
родня...



помочь друг другу. У них прожита большая нелёгкая жизнь. Выращены и "выпущены в белый свет" многочисленные "ребята". Их заскорузлыми руками, с деформированными раздутыми суставами, переделано немыслимое количество работы. Под палящим солнцем, пололи-тяпали сухую чёрную комковатую землю на колхозных полях, утирая с глаз и сглатывая, катившийся по щекам солёный горячий пот, а потом до самой ночи "бились" ещё на своих огородах и дворах, благо, помогали дети, коих у всех имелось предостаточно. В осеннюю хлябь и сырость необходимо было убрать всё выросшее и созревшее, что будет кормить почти целый год. Вот и сидели, укутанными клухами у огромных буртов, обрезая красными от холода руками, как у гуся лапы, свёклу, "моркву", капусту. Виктории всё это пришлось испытать на себе в детстве и ранней юности. А потом бежал "молодняк" из деревни подальше от такой незавидной доли, да и сами родные не желали своему чаду повторения своей судьбы и очень радовались и гордились, если "малай" или девка устроились "у городе".

Вика смотрела на этих состарившихся женщин, "последних могокан" деревни, и сердце её сжималось от светлой печали за них, душа радовалась и удивлялась: как смогли они не расплескать свою доброту и любовь в частых слезах от не всегда счастливой судьбы, как сумели сохранить тепло и свет в своих глазах? Сейчас, они сидели за столом у Кудрихи, провожая свою подругу и прощаясь с нею, наверное, уж навсегда. В какой-то миг, Виктория, почувствовала себя вновь девчонкой, той наивно-возвышенной "Вицей-чечевицей", как будто, и не было утрат, как и у этих её давних соседок, не было прожитой жизни, и всё самое дорогое и близкое сейчас рядом с ней, в этой старой хате, окна которой завтра забудут серыми неровными досками. Крест-накрест.



## Маруськин или Незабываемая улыбка

**М**аруся Рожалова не имела детей. Несмотря на такую фамилию. По всей деревне, да что там деревне, по всему селу, она была единственной бездетной бабой.

Согласитесь, что это довольно обидно, трудно, непривычно жить среди баб и мужиков, окружённых многочисленной, вечно орущей "папку", "мамку", возящейся в пыли у крыльца, детской братией.

Но, Маруся, всё же, привыкла к такой вот, своей незавидной доле и всю свою неизрасходованную ласку и сердечность отдавала вновь принятому к себе, "на постой", мужику. Поначалу он считался просто квартирантом, жильцом, которого из области или района направила какая-нибудь организация, тогда ещё заботившаяся о незатухании сельской культурной и трудовой жизни, но затем, постепенно, если командировка была довольно длительной, постоялец становился неофициальным "мужуком" самой Марульки. "Маруськин". И сколько этих "мужуков" перебивало! Присылали то агронома, то зоотехника, то шофёра какого-нибудь. Но вот именно последний больше всего "подходил" для Марульки и радовал её:

"Вить, сшитай машина у дворе. Чаго хочешь привезеть: и дров, и торх. Ды, бабы, и говорить нечего: крепко хорошо со своими колёсами".

Случались и квартиранточки - молоденькие учительши. Но их Маруся принимала неохотно, с долгими уговорами председателя и директора школы, аргументируя свой отказ, что "хотя это и учительницы, но еще совсем молодые, глумные: будут по ночам бродить, как лунатики".

Как правило, поставленные "на хватеру" учительши, позже выходили замуж за красивых деревенских ребят, вернувшихся из армии, а постояльцы-мужики съезжали, частично выполнив поставленную миссию по поднятию экономики и культуры в селе и отблагодарив сдобольную хозяйку мало-мальской мужской поддержкой. Маруся Рожалова вновь оставалась одна с остатками своей ещё нерастроченной любви.

Присланный новый завклубом был даже и не мужик, если сопоставить его с Маруськиными годами, но, конечно же, уже и не мальчик. Вся деревня замерла в ожидании очередного любовного сюжета: "Неужели и этот малай клюнуть на Маруську?" Сама Маруся гордо ходила по деревенской улице, вроде, даже вызывающе, туго, по-хотлячки, повязав газовую косынку. И когда несла воду, плавно покачивая узковатыми бёдрами, в цветастой, в оборку, юбке, распластав крепкие руки по обе стороны коромысла, ни единая капля не проливалась из её, доверху наполненных вёдер. Впрочем, повнешности она была дале-



... Егорка в детстве



...Нет водицы слаще  
Чем у нас в колодце,  
Что в деревне нашей  
Карновым зовется.  
Той водой студеной  
Горло не застудишь  
А еще ядрёней,  
Красивее будешь...

ко не красавицей и вовсе не выделялась среди баб, как, допустим, Кланька Сорокина, с пышной, толстой, "в руку", косой, венчающей маленькую головку и глазами небесной сини, как водичка в деревенском тихом июльском озерке. Маруська была худощавой, скуластой, слегка рыжеватой бабой, с короткой негустой стрижкой. Оттого, что никогда не рожала (надо же, а фамилия, как на грех, - Рожалова), фигура её была подтянута и стройна; небольшие груди, неистерзаные младенческими ртами, остро, по-молодому, торчали под нарядными кофточками и блузками, коих в Маруськином гардеробе было великое множество.

"Надо ж, ни кожи, ни рожи - а всё туда ж!" - удивлялись бабы-соседки, видя, как Маруська с очередным постояльцем управляется во дворе.

Чем-то соблазняла она "особей мужского полу". Скорее всего, у двух одиноких людей, волею случая оказавшихся вместе, ночью, в одной хате, возникала необъяснимая природная тяга друг к другу. Хотя, почему необъяснимая? Вполне естественная, объяснимая и нормальная, коль между ними пробегала, вспыхивала хоть маленькая искорка взаиможелания и понимания. Пусть ненадолго, не навсегда - а только на миг. "Ничто в природе не длится вечно".

Нового завклубом звали Игорь Вениаминович. Но какой там Вениаминович?!

"Ето отчество и не выговоришь - язык сломаешь! Игорёк - вот и всё! Или «Венилыч!»

Был Игорёк совсем невысокого росточка; на курносом личике выделялись крупные, квадратные очки: он много читал и писал сценарии для проведения вечеров и торжеств в сельском клубе. Но, как преобразался Игорёк, когда улыбался! А так как парень он был простодушный и доверчивый, то улыбался часто и всем, а может это сама молодость делала его счастливым.

Прошёл слух, что Маруська никак не хочет "брать" нового квартиранта. Надоели ей все эти заезды-отъезды: "Однэй усё ж лучши: пришла домой, кубырх на постелю ды и ляжи. А то, ить, надо усё чтой-то варить-готовить. Ладно, мужуки, а ети девки-учителя ещё и гребуют. Я такэй-та капусты натомила, ды затолкла салыцем, а оны дажа не притронулися. Отвернулися: "ну, Марь Иванна, тут жа один жир!" Сами-та, худющие, ажни лопатки торчать! Говорю им, ешьте девки, круглее и красивши будете. Оны смеются и усё. А как-та, такой кулеш сварила! Со шкварками. Девки мои опять носы повернули: не хотим, лучши уж молочка поъем. Мне ажни плохо стало - ну, если такой кулеш не нравится... А вот, с мужуками намного лучши. Вы думаете, почаму я их бяру? Мужуку поднесу стаканчик самогонки, ён за милую душу етот борщ или кулеш уплетайть, ды ещё нахваливайть! Рази ж ён ел такой у городя, у своей бабы раскрасенной?!"

Однако же, когда во второй раз к крыльцу Маруськиной хаты

подошёл председатель с застенчиво-улыбающимся Игорьком, в её сердце что-то кольнуло, дрогнуло, в потайных закоулках памяти на мгновение что-то высветилось, заискрилось и тут же снова потерялось.

"Как ён улыбается! Что это, откуда?" - до полуночи Маруся не могла заснуть, сама не понимая, что с ней происходит.

Нет, любовной истории на этот раз так и не случилось, да и не должно было случиться. С первых дней проживания у неё Игорька Маруся ухаживала за ним, как за собственным ребёнком. Жалела и всячески оберегала. Часто на загородке цветными флагами трепыхались-сушились Игорьковы трусы и футболки. Коротковатый в рукавах, "у серую клетку", его пиджачок она переделала - перешила, и теперь её молодой жилец выглядел солиднее и интереснее.

Игорёк, в свою очередь, тоже порывался хоть как-то помочь хозяйке. Однажды, схватил вёдра и пошёл на колодец. Маруся с коромыслом догнала его посреди улицы, отобрала вёдра, а Игорька отправила "заниматься". Оказывается, он ещё и заочно учился в столичном институте, чем вообще покорила сердце Марусяки. Материнское сердце. Теперь вся деревня видела, понимала это, и становилось неудобно за первоначальные домыслы, кривотолки, за уличное любопытство. Тут и сам Игорёк подтвердил чистоту в отношениях с хозяйкой: зачастую стал забегать на колхозную ферму. Думали: он в красном уголке "окультуривает" молодых и немолодых доярок, чтобы они видели перед собой не только грязные сиски коров, но и знали, что нового, интересного происходит в современном мире.

Стали замечать: его "забеги" слишком уж часты, среди вечно непросыхающего навоза и шлёпающих, чуть не утопающих в нём резиновых сапог доярок в замызганных серых халатах.

Оказалось, всё как мир старо и просто. Не нужны были Игорьку просвещённые бабы-доярки, а наглядный результат "окультуривания" неожиданно проявился на Натахе Ушаковой. Белёсонькая, безбровая, с жиденьким квёлым тельцем, Натаха, как скромный цветок повиликля, терялась среди крепких корней, толстых стеблями, ярких соцветиями многочисленных растений в лице деревенских ядрёных девок.

"Вот тебе и на! Вот вам и Игорёк! Сам такой-жа доходяга вот и выбрал по сабе" - балакали по всей деревне бабы.

Удивительно, но Маруся узнала об этом позже всех. И не поверила.

"Чтоба Игорь Венилыч допустил такоича? Не бряштия-ка вы усе. У няго у города таких Натах и не сосчитать. И усе вумницы. А это ж, что жа? Кыкая-та захудалая доярка, чуть побольа моего сапога".

Как-то, под вечер, округлившаяся, пополневшая и, вроде как расцветшая, Натаха Ушакова появилась на крыльце у Марусяки в сопровождении Игорька. Та как увидела уже заметный животик под

плиссерованной юбкой, надетой по торжественному случаю, то и заметалась, засуетилась. Хватала в руки то веник, начиная заметать несуществующий мусор в сенцах, то брякала-переставляла ведра, а в душе кипело-плескалось негодование, горечь, лицо морщила непонятная обида и глаза пощипывало от слёз.

- Марь Иванна! Я хочу сегодня устроить праздник. Можно? Чтобы без этой глупой болтовни и сплетен, а всё чтоб открыто, ясно. - Игорёк старался заглянуть в лицо Маруськи и виновато улыбался.

"Спасибо, сынок. Устроил праздник. Ну, почаму ета Натаха? Ни один деревенской малай на ие ни глядел, а ты, дурачок, чтой-то нашёл-увидел..." - так она мгновенно подумала, а вслух сказала:

- Ну, для кого праздник, а для кого и будний день.

Пригласила:

"Проходитя у хату. Доставай, Игорёк, картоху томлёную. Она с гусятиной. И празднуйтя".

- А ты, что жа, тетя Марусь, даже не посидишь с нами? Ведь мы уезжаем через неделю. - Натаха жалостливо поглядела на Маруську и что-то, вдруг, в душе той больно стонулось.

Маруська взглянула на Игорька, скромно, выжидаяще сидящего на лавке. Он опять улыбнулся ей. Эта улыбка так резанула её по сердцу, что Маруська тяжело шлёпнулась на лавку рядом с ним.

"Господи ж ты, божечки! Неужели ж, через столька годов память еще держать его улыбку. Ту улыбку. Такую жа, как сейчас у Игорька. Вот откуда усё во мне кипить и клопочить. Ета ж, та самая улыбка. Дура я, дура злая. Кто жа виноват, что у тебе так получилось? А могла ба, как вот ета цубылочка ряшиться и никого не слушать. И можа, был ба такой вот у мене "Игорёк". Ну, дык, чаго ж теперя и думать"...

Маруська, как сейчас, увидела себя вот такой же, как Натаха. Ей было только семнадцать. Перед глазами, в солнечном свете предстал самый первый день её короткого девичьего счастья.

...Село находилось под оккупацией немцев. Молоденькая Маруся была хороша и привлекательна своей юностью, свежестью, румяной налитостью. Днём немцы резвились и хохотали, гоняли на мотоциклах, пугая кур на пыльной улице, а по вечерам выносили из хат табуретки и незнакомо, непривычно пиликали на своих губных гармошках, выглядывая молодых баб и девок. Девки прятались в зарослях, стеной стоящей, зелёной конопли. Но по прошествии какого-то времени свыклось местное население с присутствием непрощеных гостей, которые, впрочем, чувствовали себя хозяевами.

Жили "под немцем" почти два года и уже различали какой фриц добрый, а какой злой. Тем летом в хате Рожаловых тоже жил высокий, тощий "пан". Но жил недолго. Был он высокомерен и необычайно чистоплотен. Садыя на длинную лавку у стены, всегда подстилал салфетку, а к деревенской пище даже не притрагивался. Он презрительно глядел, брезгливо поджав губы, как Матрёна, мать

Маруси, в засаленном фартуке ворочает ухватками огромные чугуны в печке для скотины, а небольшой чугунок, доверху наполненный разварившейся картошкой, с румяной, лопнувшей корочкой, лихо ставит на некрашенный обеденный стол в углу, под иконами. Маруся хватала самого младшего братишку, которого особо невзлюбил немец за то, что тот постоянно бегал по хате голожопым, и зачастую какал, где ему вздумается, по малости лет, кликала двух сестрёнок, и они с жадностью набрасывались на еду, куняя картоху в сковородку с жареным салом. Немец отворачивался или просто уходил из хаты. Сначала Матрёна старательно поддерживала чистоту, заставляла Марусю все лавки и стол протирать сырой тряпкой, но видя неприятие и неуважение немца, она зло плюнула в ведро золы, которую высыпала прямо тут же, возле хаты. Раза два немец ущипнул Марусю, но не по-мужски, с интересом, а как-то яростно, мстительно. Она стала бояться его, реже бывала дома, тогда немец переключился на маленького брата. Всё чаще и чаще из хаты доносился захлёбывающийся от плача его голос. Однажды Матрена сама увидела, как "пан" крутанул за ухо двухлетнего сынишку, а потом, скривившись, поддал ему высоким ботинком под голую попку. Он не заметил стоящую в дверях хозяйку. Матрена прошла мимо немца смело и вызывающе, задев его широкими бёдрами, прошла за занавеску, переделалась и, схватив сынишку на руки, отправилась в управу, к начальству. Как потом она рассказывала, смеясь, довольная сама собой:

"Вот ни бряшу, бабы, даже ни боялась нисколкачка. До того ён надоел, етот рыжай хвин, чтоба ён сгорел, гад етот! Захожу у ихняй штаб и говорю: Так и так, господин - пан хорошай! Обижайть, говорю, ваш военной моего дитёнка. А за что? Что ён понимать у два года? У нас, вить, сами видитя, ничего нету: ни горшков, ни штанов. А етот, ихняй переводчик, значит, усё переводить. Гляжу, бабы, самай главнай охвицер помрачнел, покраснел и давай лопотать по-своему. Переводчик узял мне за руку и с етим охвицером вышли из штаба. Переводчик велел показать мою хату. И вот охвицер пошёл со мною. Идем по вулице, а мой Ванька так осмелел-разыгрался и давай хватать охвицера за всякие хресты-побрякушки. И немец, гляжу, даже не сердится. Подошли бабы к хатя, а наш-то рыжай хвин как увидел начальство, ды как выскочить, головою чуть притолоку мне не сшиб. Вытянулся весь, как столб, руки по швам, а ихний охвицер, ажну побуровел увесь, как свекла, и давай его отчитывать! Потом говорить мне: "бита, матка, извянитя..." Толька ушёл, гляжу и "наш" засобирался. К вечеру и съехал. Слыхала я - у школе живуть. Ну и слава богу, прямо я уся ожила без няго ды и за Марусько боялася. Мало ли чаго у яго немецкой рыжей башке творитца..."

А через дорогу, у Зотики, жили два немца. Один из них совсем молоденький и, по всему видать, небольшого звания, в отличие от другого, пузатого, затянутого в мягкие ремни и увешанного креста-

ми, вовсе не походил на представителя высшей арийской расы. Был он черноглаз, смугл и очень улыбчив. Эта доверчивая улыбка красивого, белозубого немца заставляла любого обернуться назад и взглянуть в него.

В сентябре стояла необычно сильная жара. Только-только начинали копать картошку. В один из дней разрозился проливной дождь. Лил, как из ведра. После ливня через всё небо распласталась радуга. В свежем ожившем воздухе ещё переливались, дрожали цветные капельки, а напротив Марусиной хаты, в травяной низине образовалась большая лужа. Маруся зашла в эту лужу после огорода и, задрав юбку, стала мыть ноги. Вдруг, она почувствовала чей-то взгляд, краешком глаза заметив сияющую, белозубую улыбку. Не решаясь оглянуться, загадала: если это тот молодой красивый сосед-немец, то война скоро кончится. И тут же поймала себя на мысли: ведь, если война закончится - он уедет отсюда навсегда. Где-то, внутри неё что-то внезапно засадило, затосковало в каком-то непонятном предчувствии. Маруся медленно мыла ноги, чуть приспустив края юбки и всё продлевала и продлевала этот неожиданный и грустный, и радостный, но такой светлый, необыкновенно солнечный миг. Радуга неуловимо таяла в небесах, а новое чувство не покидало Марусю. Ей хотелось, чтобы он смотрел и смотрел на неё, и улыбался. Вечером, впервые, с большим волнением и смятением в душе, она пошла за околицу, где вместе с русскими парнями-малолетками сидел и он. Учил ребят играть на своей гармошке. Звали его Герберт, но деревенские окрестили на свой манер - Егором. Маруся скромно сидела на толстых, сваленных в кучу брёвнах; подходили другие девки и все глазели на красавца-немца "Егора". Он играл какую-то непонятную музыку, но, что это? Марусин чуткий слух уловил знакомую мелодию. Маруся знала и любила народные песни, и сейчас она безошибочно услышала чуть сбивающийся наигрыш: "Мы-ы-ла Маару-у-се-е-нька бе-е-лы-е но-оги..." Она заахла в темноте, как маков цвет, благо, никто этого не заметил и не понял. Девки заахали, заудивлялись, угадав знакомый напев. Не боясь Герберта-Егора, они кривлялись перед ним, спрашивали словами, жестами, откуда он знает эту песню. Один лишь разок Маруся подняла несмелые глаза и тут же встретилась с его взглядом. Потом "наши" притащили балалайку, начались танцы.

Ну кто вот скажет, почему этот Герберт-Егор выбрал именно её, Марусю? Он по очереди приглашал и других девок, но неизменно возвращался к ней. С танцев она убежала первой. Чего испугалась? Что он пойдёт за нею? Провожать? Но ведь ей так этого хотелось! Так мечталось! До самой рани утренней её мучила бессонница, лишь только Маруся на мгновение прикрывала глаза, перед нею возникала счастливая улыбка "Егорки". Вот они, рука за руку, бредут в луга, далеко по стёжке уходят от деревни, чтобы, не дай бог, кто увидел, узнал... Он же немец, фашист. Он захватчик. Нет! Ну, какой

из Егорки фашист?! Его взгляд так лучист и нежен, его улыбка бесконечно добра и зазывна...

Это были всё мечтания, почти бред. Сладостно-щемящие грёзы...

И случилась явь! И это было чудо, было счастье! "Так вот какое оно бывает?! Господи, не дай ему кончиться" - просила, умоляла днём и ночью Маруся.

Но ещё было и неподдельное удивление этому жестокому миру. Как же так?! Как могут люди убивать, мучить друг друга, если с ночных лугов лётся такой непередаваемый пряный аромат увядающих трав, если тысячи невидимых цикад стрекочут свою звонкую, жизнеутверждающую песню, а горячие, осмелевшие губы "Егора" так обжигают юное тело.

Встречалась Маруся с ним тайно. Понимали друг друга по взглядам, по жестам, почти без слов. Как прекрасной музыке Баха, Шопена, Чайковского не нужно словесное пояснение, так и их любовному звучанию несказанные слова были не столь важны. Их страстная любовь затмила собой всё. Даже страх. Герберт стал захаживать в хату Рожаловых, низенькую, крытую прелой соломой, не скрывая своего удивления убогости и нищете Марусиной жизни. Две сестрёнки и маленький брат затравленными зверьками выглядывали из своих углов, куда хоронились от вошедшего Герберта. Теперь в каждом немце они видели, "злого, нехорошего дядьку". Матрёна даже не оборачивалась, не смотрела на него, как будто в хате не было чужого человека. Герберт садился на лавку и подзывал ребятишек из их похоронок-углов. Он всегда с собой что-нибудь да приносил. Маруся уже знала о галетах и шоколаде, а вот сёстры и братишка удивлённо глазели на протянутые Гербертом чудные, красивые гостинцы.

- Ды, ни бойтесь, возьмитя! Ето жа так укусна! Так сладка! Называется - шоколадка. - Маруся подводила к Герберту-"Егорке" набывшихся детей и сама вытягивала их робкие, замаранные ладошки:

- А вот ето - печенья. На вид, как наши, а на укус - другия.

Маруся брала галеты, совала ребятишкам и те снова, бегом, мчались в свои закутки. Но, совсем скоро они свыклись с немцем "Егоркой". Обходчивый и улыбчивый, он расположил к себе детей. По его приходу они уже "не ховались" по углам, а дружно, втроём, сидели на лавке, болтая грязными, босыми ногами и ждали гостинцев. Удивительный, ранее невиданный шоколад "Егорки", сразил их наповал.

- Мам, ды съешь хуть "крышечку", хуть маленький кусочек! Знаешь, как укусно, просто что-то! - просила Маруся Матрёну, но та с негодованием смотрела на неё, готовая вот-вот ударить.

Присутствие Герберта сдерживало её. После его ухода мать накидывалась на Марусю:

"Знал ба, отец, что ты тут вытворяешь?! Он тама с ними, жа вою-

ить, а ты - как с ума сошла. Людям у глаза глядеть стыдно. Учера Дунья говорить мне с ехидной улыбочкой: Моть, а Моть, тута я слыхала, что Марусья твоя с немцем связалась. А я им, Моть, не поверила, вить брешуть, правда? А што мне етой Дуньке ответить? Зараза ты бессовестная! Мне что жа, теперя - удавиться, а?"

Крик и ругань матери доносились до соседних хат. Младшие, испугавшись, жались к её ногам и начинали реветь.

Маруся молчала. Укорные слова не касались её сердца. Перед глазами стоял он. Маруся, как могла, глазами, руками, просила его реже заходить в их хату. Герберт всё понимал и лишь грустно улыбался, не сводя с неё своих неотразимых глаз. Старался заходить реже, в основном, когда Матрёны не было дома. Опять же, заходил не с пустыми руками: то банку тушенки поставит на стол, то быстро подбежит к младшим - сунет чего-нибудь сладкого. В одну из встреч у Маруси защемило в душе: она заметила потухший взгляд "Егорки", его сникшие плечи. На её вопрос с тревогой в глазах, он замедленными, неумелыми жестами пояснил, что скоро уезжает, их передвигают дальше, а в это село придут другие. Вот тут-то удушливая тоскливая волна так захлестнула всё Марусино нутро, что она, как ни старалась сдерживаться - зарыдала "во всю матушку". Герберт гладил припавшую к его плечу Марусину голову, а она, чувствуя влажную его щеку, теперь уже совсем не стеснялась, со стоном-рыданием, обхватила "своего Егорку" за шею, повисла на нём. Потом лежала на его руке, ухом прижавшись к тикающим часам. Уходили секунда за секундой, складывались в минуты и вот, ушёл ещё один час, канул в вечность. Неповторимые, невозвратимые мгновенья. Маруся слушала это тиканье часов на горячей руке Герберта, полностью погрузившись, растворившись в нём. Хотелось остановиться, остаться навсегда в этой прохладной уже ночи и греться, наслаждаться горячими токами первой любви и единственного счастья...

Через три дня немцы "снялись" с их села и двинулись дальше. Маруся бежала далеко в стороне от уезжающей колонны мотоциклистов, прячась в кустах и придорожных зарослях, стараясь казаться незамеченной. Никто, конечно, не заметил. Маруся сразу же отстала от немцев, и только один мотоцикл ехал медленно, позади всех. Она не чуяла ног под собою, спотыкалась, падала, царапала и колола ноги, но всё-равно бежала до самого бора, пока её "Егорка" совсем скрылся из виду. Сразу же пришли "другие" немцы. Марусе было всё безразлично: ни страшно, ни интересно. Жизнь опустела без Герберта и, казалось, потеряла всякую значимость. Из разговоров старших она узнала, что "первые" немцы "стоят" в соседнем Карачевском районе. Но где, в какой деревне? Ночами она мочила слезами подушку, в ушах тикали его часы, и Маруся готова была тут же сорваться и бежать, бежать... Лицо её опухло от слёз, мать уже не кричала, а с какой-то вопросительной опаской смотрела на неё и тихонько спрашивала:

"Доча, можа у вас чаго было? Можа ён тибе тронул?"

Маруся молчала, а на приглядывающуюся мать возникли злость и раздражение. Через два месяца она почувствовала себя неладно. Страх и ужас охватил её. Теперь к матери Маруся стала относиться ласково, как маленькая обиженная девочка.

А потом пришлось признаться. Мать запричитала:

"Ох, ты горе-горькое! Ох ты, мамушки мои родненькие! Ох, что жа ты, доченька наделала?" - и немного погодя, громким криком наполнилась хата - "Ну уж нет, я этого не допущу! Чтоба родить от немца?! Ды никогда!"

К старой бабке-повитухе они ушли далеко за полночь. Целую неделю потом металась Маруся в бреду и жару. Находилась между жизнью и смертью. То она неслась с "Егоркой" на мотоцикле, крепко обхватив и целуя его шею, и горячая, удушливая волна захлёстывала её, то "Егорка" падал в какую-то ледяную полынью и тащил её за собою, и Маруся леденела всем телом и сознанием...

И сбилось мамкино: "Ды никогда!" Не родила больше Маруся. После войны вышла замуж за тракториста Захарку Сутеева, но фамилию менять не стала. Крепко Захар хотел ребят от Маруси. Когда сильно напивался, гонял её по деревне, обзывая "немецкой подстилкою". Как ни скрыто было это "Маруськино дело", всё же слухок просочился. Захарка был интересный мужик: всё время признавался в любви своей теще. Надо сказать, Мотя-Матрёна тоже души не чаяла в зяте, и даже когда он гонял её дочь, всячески оправдывала его. Радёхонька, наверное, была, что дочка всё-таки замужем, после всего, что было. Пил Захарка сильно, но после одного случая, который, якобы, с ним приключился, "не пить ему стало невозможно". Напал на его душу такой великий страх, что утопить его он мог только в перваче-самогоне.

Как-то пахал он поле недалеко от кладбища. Пахал ночью, так как "кровь из носу" надо было "добить" этот участок, пока стояла хорошая погода. И, как сам рассказывал: "ближе к полночи весь уморился. Ну, глаза слипаются и всё туг". В этом месте слушатели всегда начинали сомневаться в правдивости его рассказа:

"Не, Захар, ты усё-таки признайся, шту брешешь! Скажи - заснул, вот тебе и привиделась ета свадьба. А, можа, думал: где ба выпить. На какэй-нибудь ба свадьбе, правда?"

Но Захарка стучал по своей тщедушной груди, божился, "что было усё наяву, что даже холодным потом покрывлся, и волосы на башке дыбом встали".

А было вот что. Пахал он, пахал и решил минутку-другую отдохнуть. Только развернул трактор к обочине, тот сразу и заглох. Захарка выскочил из кабины, глянуть - что там за поломка, как вдруг, в ночной тишине услыхал весёлые переборы гармошки.

"Батюшки-святы! Ето ж у кого на ночь глядя?" - подумал он о деревне.

А звуки гармошки всё слышнее и слышнее. Он взглянул на стоящее недалеко село. Оно утопало в страшной темени, ни звука не доносилось оттуда. Уставшие за нелёгкий трудовой день, убравшись-управившись по хозяйству, мужики и бабы "рады были месту" - отдыхали.

Захарка оглянулся назад. Оторвавшись от погоста, уже совсем недалеко, к трактору двигалась весёлая гурьба. Свадьба-не свадьба... Гармошка забивала неясные женские, мужские крики: то ли частушки, то ли страдания-причитания. В основном преобладал белый цвет, ярким пятном выделяясь среди мрака осенней ночи.

У Захарки ноги приросли к пашне. Он мысленно был уже в кабине трактора, а сам оставался стоять на земле. Он убеждал, заставляя себя впрыгнуть в машину, но ноги "не слухались". В какое-то мгновение, уже слыша совсем рядом стонущие-поющие голоса и различая белые платки и платья, он с усилием подтянулся на руках и захлопнул дверцу. На крыше кабины уже топотали - плясали непонятные видения. Захарка уткнулся в руль трактора, боясь взглянуть на лобовое стекло. А в стекло стучали кулаками, царапались пальцами, прислонялись лбами и губами; слышалась шумная возня то с угрозами, то с необычногромким, страшным смехом-хохотом.

Сколько это продолжалось, и сколько он так просидел - Захарка не помнил. Только когда всё затихло, он еле-еле оторвал тяжёлую, будто свинцом налитую голову от руля и взглянул перед собой. Уже занялась заря, просыпалась деревня, слышались голоса хозяек, выпроваживающих во двор скотину. Трактор завёлся сразу и на деревенский большак вылетел быстро и легко, будто это была не тяжёлая гусеничная махина, а гоночный мотоцикл, типа "Явы". Уже утром Захарка напился до полусмерти. И потом уже "не просыхал". Зато теперь гонять Маруську он совсем перестал. Она жалела его, хотя никогда не любила. Далёкий, уже размытый образ Герберта-Егорки призрачно стоял в её глазах и думках ещё долгие годы.

В один из студёных зимних дней, как раз в святой праздник Крещение, повёз Захарка свою старшую сестру Анну, гостившую у них, домой, в соседнее село Брякино, что за пятнадцать километров. Туда доехали нормально. Там он и заночевал, а утром, хорошо опохмелившись, отправился обратно. По пути завернул в небольшой посёлок "Колпачёк", к земляку, старому другу, выпил ещё, и, когда лошадь подвезла его, сонного и пьяного, к родному крыльцу, уже совсем стемнело. Маруська кое-как выкатила его из саней, кликнула на помощь соседского малого. И только в хате, когда она стала разувать мужа, Захарка дико застонал. Ступни ног оказались тёмно-синими, почти чёрными. Отмороженными. Маруська растирала их снегом, самогонкой, обёртывала в горячую толчёную картошку - боль не отступала, мучила Захарку до утра. До утра промучилась и Маруська. Ранёхонько побежала в правление. Дали машину и Захарку увезли в районную больницу.

Сначала ампутировали только ступни ног. Запретили пить и, строго-настрого, курить. Но разве мог отказаться он от этих самых его "благ"?! Соблюсти два необходимо-жизненных условия Захарка так и не смог. И пил, и курил. Затем "отняли" одну ногу до колена. Захар считал себя совсем пропавшим, а борьбу за жизнь - бессмысленной. Маруська за это время извелась с ним: стала худая и черная лицом, вспыльчивая и нервная характером. Больше ехать в больницу Захар не хотел и ждал приговора судьбы в каждодневном подпитии. Так ему было менее страшно и больно. И прокурор - судьба не заставила себя долго ждать. На основании несоблюдённых, важных условий, как следствие, - тяжкий приговор: гангрена. Резать себя больше Захар не дал и в гробу лежал хоть с одной, но сохранённой ногой. На похоронах Мотыка-Матрёна удивила многих: плакала-убивалась по любимому зятю, причитывая и обвиняя свою же дочь Маруську, что не уберегла, не любила Захарика, вечно "воротила морду", и просила у дорогого зятя прощения за то, что свела его с Маруської. Сама же дочь, жена, а теперь - вдова Маруська стояла окаменелая, "как статуя". Она до того вымоталась, до того умиралась, до того натерпелась, ни кому при этом "ни жалась", что сейчас хотела только одного: поскорее остаться одной, закрыв на щеколду сенцы. На поминках грешной Захаркиной души бабы вспомнили то его ночное видение на погосте и теперь уверяли друг друга, что "это яму был знак!"

А Райка Краюхина, по деревенски, Райка-Краюха, пожелав умершему царствия небесного и хватанув почти полный стакан самогонки, громко заявила, что хочет что-то сказать.

- Бабы, мужуки, вот послушайте mine. Я усё молчала, боялась накликать беду. Захар, бедная и так увесь в переживаны, дык и пил поетому. А я тут вижу сон: Подходить ко мне бабка Гуня. Ну, помнитя, её мы похоронили как раз перед етим самым Захаркиным случаем на погосте. Ну вот. Подходить она, уроде, к mine и говорить: ты, Раюха, передай Сутееву Захару, что я яго жду. Я долго стоять на воротах не буду и не хочу. Пускай ён mine побыстрее сменять. Вы поняли бабы? Значить, у них там, на том свете, тожа свои порядки. Хто помирайт, того сразу становять на ворота. Уродя сторожа. До другого покойника. И значить, Марушь, твояго Захарку уже тама ждали... Вот яму и вещевало! Ета свадьба и привиделась.

Райка поглядела на безразлично сидящую Маруську и покачала головой.

Долго "отходила" Маруська после Захара. То её мучила вина перед ним за её нелюбовь, неспособность родить детей, и она, то-ропясь, будто её там ждут не дождутся, неслась на кладбище, захватив с собою прямо из гнезда два-три яйца да нарезанного крупно, нежно-розового солёного сала с хлебом, чем так любил закусывать Захарка. То её томила, давила обида на покойного мужа, когда она видела себя, несчастную и обиженную, хоронящуюся в чужих хатах и

сараях, ждущую утра с проспавшимся, угрюмым Захаром. Однажды Маруське приснилось, что он там страдает, признаётся ей в любви и просит прощения. А ещё он просил, чтоб она, когда приходит на могилку, не крошила печенье, а клала его целиком. А то он не успевает схватить это поминальное угощение, когда их гонят на работу. "Я эти крохи никак не могу собрать, а уже надо бечь!" Маруська очнулась среди ночи, сырая от холодного пота: "Куда их гонють? Господи, неужто и там работают?"

Но на могиле стала оставлять крупные куски хлеба, целое печенье и нераскрошенные варёные яйца.

Прошло время. Выправилась и похорошела Маруська. Замуж она больше не вышла, а стала принимать к себе постояльцев-квартирантов. На деревне так и говорили: "А-а, ды ето ж Маруськин!"

...И вот съезжал ещё один "Маруськин". Игорь Вениаминович перевернул, а точнее, вернул Маруську на много лет назад. В её давнее, короткое, незабываемое счастье. Она сидела на лавке с печальными, влажными глазами, в её памяти быстро перелистнулись страницы прошедшей жизни, а Игорь с Натахой накрывали стол.

- Марь Ванна! Я ведь детдомовец, и вы будете у меня за самую близкую родственницу на свадьбе, согласны? - Игорь обнял её за плечи.

Маруська кивнула и пошла в чулан за бутылкой. Непьющий Игорёк даже выпил на радостях, отчего маленькие глазки Натахи округлились и стали больше. Маруська тоже выпила, налив себе почти полный стакан, даже не почувяв горечи самогонки и, как бы подводя черту под все свои воспоминания. Но свадьбы, как таковой, о которой мечтал Игорёк - не было. Варька Ушакова, мать Натахи, имела целую кучу детей и выпивоху мужа. Она была рада без памяти, что незавидная из всех её девок, неожиданно обрела такую удачу, стала "отрезанный ломтем" от огромной ушаковской краяхи, которую увозят в город. Был сыгран скромный вечерок, куда, конечно, была приглашена и Маруська Рожалова.

Всё не понравилось Маруське. И сам вечер, и угощение на столе, и даже сами молодые её раздражали. Она знала, отчего это. Маруська сделала бы всё иначе, дай ей волю! Но кто она такая? Кто она для этого, собственно, чужого парня - Игорька? Спать Натаха и Игорёк отправились в Маруськину хату: у Ушаковых негде было повернуться. В конце сентября они уезжали. По прозрачной улице ветер гонял, кружил листья, завивая их в пыльные вихри. Маруська провожала до Первого бора и удивилась осуждающе, что Варька даже не пошла провожать свою девку. Только махнула рукой да тут же скрылась в сенцах. Игорёк обещал, клятвенно заверял, что обязательно приедет к ней, вот только всё у них хорошо закончится. То есть, он получит законное образование, а молодая семья пополнится и укрепится желанным прибавлением.

Закончилось всё не так, как мечталось-ожидалось. Случилось непредвиденное: при родах умерла Натаха. Слишком большим получился плод их любви, несмотря на худобу и хрупкость родителей. Натаху хоронили в селе, тут уж настояла Варька, хотя Игорёк не хотел её отпускать от себя, даже мёртвую. Младенец оставался в роддоме. Игорёк, исхудавший до неузнавания, ночевал у Марульки три ночи, и все три ночи толком оба не спали.

- Куда ж ты теперь с ним, маленьким? - плакала Марулька.

- Пока, Марь Иванна, он будет в роддоме, пока подрастёт, а потом я его всё-равно заберу.

Варька Ушакова тоже говорила с ним об этом:

"Куда же мне яго? У самэй три годочка толька младшенькай! Пускай пока государство поняньчит!"

Игорёк уехал, а Марулька ночей не спит. Не даёт никакого сна покоя этот младенец. И какое ей дело до него?! Ведь рядом живёт родная бабка. Варька. А душа мучается и мучается. Прошёл месяц, показавшийся таким длинным, будто целый год. В апрельское утро Марулька встала чуть свет. Ещё крепенько подмораживало, и пока под весенним солнышком не зашумело дневное половодье, она пошла на станцию, в город. Адрес Игорька был известен. Игорёк обрадовано удивился, а когда понял, зачем "Марь Иванна" прикатила, даже испугался.

- Нет-нет, Марь Иванна, это невозможно. Зачем вам всё это? Я никак не могу и не хочу повесить свой груз на шею. У вас что, своих проблем-забот мало? Это - мой крест, и я его понесу один. Даже тёща моя об этом не заикается. А ведь он ей родной внук! Да и что в деревне подумают, а?

Марулька сидела на пружинной общежитской кровати, молчала, а предательские слёзы катились и катились по щекам.

- Ну, хоть как ты яго назвал? - спросила она.

- Пока ещё никак. Думаю, хотя уже давно пора. В больнице его Русланом величают. - чуть улыбнулся Игорёк.

- Что ещё за Руслан? Нету такого у русских имя! - возмутилась Марулька и тут же, жалостливо глядя на Игорька, попросила: "Сыночек, дорогой, а назови ты яго Егором! Егорка! Именчо, вить хорошее, старинное..."

Игорёк не заметил как вспыхнули щёки Марульки, да и откуда ему было знать, отчего засмушалась, засовестилась она. В деревне давно уже забыли красивого немецкого парня Герберта-Егора, а малышей в деревне таким именем никто не называл. И лишь для неё одной имя это много значило.

- Да запросто, Марь Иванна! Егор так Егор! Сейчас модно называть старинными именами. А ласково можно - Гоша. Гошка.

"Какой ещё Гошка? Будет Егоркой!" - уверенно подумала Марулька.

В деревню она притопала вечером. Набрала в сапоги воды, про-

валившись в осевший последний снег, вымокла до пояса и всю ночь отогревалась у растопленной грубки. Никто даже и не знал, куда она ходила, о чём говорила. С маленьким Егоркой Игорёк наезжал часто. И, напрямик - к Маруське. Тёща, Варька Ушакова злилась, обижалась на Маруську, неделями с ней не разговаривала, но детдомовская душа Игорька тянулась именно к Маруське. Какие-то невидимые нити притягивали их друг к другу, роднили. А когда Егорушка стал Маруську звать "моя баба", Варька чуть с ума не сошла от ревности и обиды. Хотя сама же не тянулась к малышу, а если он и гостил у неё, ночевать отправляла к "своей бабке Мусе". Егорушка не выговаривал букву "р" и сократил бабкино имя. Бабка Муса души не чаяла в Егорке, и когда он стал "поболе", подросток, она упростила Игорька оставить его в деревне. У двух бабушек. Вначале Игорь наезжал в деревню часто, затем всё реже и реже, а однажды появился с кудрявой, жгуче-чёрной, большегрудой молодой женщиной, по имени Рита. Маруська, как увидела, так и обомлела:

"Свят, свят, свят! Ды она жа яго у ляшках задавить!"

Рита была полной противоположностью умершей Натахи. Смущаясь, Игорёк представил Риту, как свою жену и просил любить и жаловать. Конечно, к бывшей тёще он на этот раз даже не зашёл, а непонятно от чего счастливая и довольная Маруська не знала, куда посадить и чем угостить дорогих гостей. В первые минуты она не поняла, отчего же ей как-то хорошо, весело как-то, будто она что-то нашла или ей подарили. Ну, конечно, ей привезли подарок - большой отрез на платье, но здесь было совершенно другое. И, наткнувшись взглядом на Егорку, её осенило: "Вот! Егорка останется с нею! Какая из этой Ритки мать? Нет. Малай будить с нею. Егорку она не отдасть!"

И Маруська, вроде как счастливая приезду гостей, всё выставляла и выставляла угощение. Егорка тянулся-ластился к отцу, не обращая никакого внимания на пышнотелую Риту, а Маруська радовалась ещё больше: "Вот и живия одны. А мы тут - с Егором".

За столом Рита пробовала усадить "Гошечку" к себе на колени, но тот выкручивался, глядел на неё исподлобья и прижимался к бабе Мусе.

Маруська каждый день ждала разговора. И боялась страшно. А разговор и не состоялся. Через две недели "молодые" уехали, наказав не слишком баловать Гошку.

"Да ну вас у баню! Какой Гошка? Науродя горшка что ля? Ён у мне - Егор! Егорушка. А на вашего Гошку даже не откликается!" - счастливо улыбалась Маруська, и руки её быстро, проворно, весело делали работу.

Так и остался Егорка у Маруськи. Рос, подрастал. Баловала она его и на все выходки лишь умилялась: "Дык, ён што? Ён жа совсем ещё неразумнай!"

Пышнотелая, здоровая Рита подарила Игорьку близнецов. Рус-

лана и Людмилу. "Всё ж таки появился етот Руслан!" - думала Маруська, вспоминая, что так хотели назвать Егорку. В редкие приезды папы Игоря, Егорка смотрел волчонком на толстеньких, краснощёких малышей и не понимал, почему их нужно звать братиком-сестричкой. В хлопотах-заботах быстро летело время, и вот уже подошла пора идти Егорке в школу. Приехали "молодые" - забирать ребёнка. Егорка, узнав, что его хотят увозить, схоронился "на потолок", то есть, залез на чердак, Маруська - в слёзы. Игорёк уговаривал, Рита молчала.

- Марь Иванна! Что вы для нас сделали, я по гроб жизни не забуду. Но ведь ему надо жить и учиться в городе. Он и так уже разговаривает по-вашему, по-деревенски. Сегодня дал ему конфету, а он откусил и говорит мне: Па, она "кыляная". Я не понял. Оказывается, это значит - твёрдая. Таких слов никто не знает и не поймёт! - убеждал, упрасивал Игорёк.

Маруська кивала головой, слёзы катились градом, она их даже не вытирала, спрятав руки под фартук.

- Мы, Игорёк, усю жизнь так говорим. Кто яго знать, что за язык. А можа, шту Белорусия рядом.

Игорёк полез на потолок, возмущаясь - что и это слово перековеркали: "не потолок, а чердак - правильно". Он нашёл затаившегося Егорку за трубой, стал его выгаскивать. Тот в крик, в слёзы. Игорь слез, немного успокоившись, сказал:

"Ладно. Вы его, пожалуйста, подготовьте. Я приеду через неделю".

Маруська видела как обрадовано заблестели глаза Риты. Но через неделю Игорь Вениаминович не появился, и Маруська поехала в город за школьной формой.

На школьной линейке, Маруський Егорка оказался самым высоким и красивым. Она думала: "В кого же ето ён?" Возвращаясь домой, увидела идущего навстречу Петра Ушакова. Увидела и даже испугалась. В походке, в чертах лица она "признала своего Егорку".

"Ну, а чаго ты трусишься? Ить, ён родной дед Егорке, как ни крути, ни верти. И никуда от етого не деться!" - сама себя успокаивала Маруська.

А ведь в молодости Пётр был хоть куда! И даже заглядывался на Марусю. Но был он из семьи раскулаченных и почему-то девки сторонились его. Как-то быстро, почти не гуляя, женился он на Варьке. Та оказалась крепко плодовой. Дети рождались часто, но, в основном, были не в высокого, красивого отца, а в худенькую, неброскую мать. Пьяный Петька то ли досадовал, то ли хвалился перед мужиками:

"Ды, с моей хоть спать не ложись! Толька к ней прижмешься - а она уже в положении".

Сейчас Маруська глядела на Петра, и червячок ревности, какой-то опаски, кусал её изнутри. Нет, она никогда не запрещала Варьке

и Петру заходить к ней, общаться с Егоркой, даже сама посылала его к ним в хату, убеждая, что это его настоящие дедушка с бабушкой, но мальчик не хотел там долго находиться и, будто на крыльях, летел к бабке Мусе.

Как-то по осени, к Марусе прибежала Фроська Полинкина:

"Марусь, говорят твой малай у mine усю антоновку оборвал. Говорять, Маруськин".

Маруська, рассерженной квочкой налетела на Фроську:

"Ето ж хто табе такое скызал? Ды у нас своих яблук некуды девать!"

- Дык, Марусь, известно, чужие - слаще.- уже спокойнее сказала Фроська и добавила - гляди, Марусь, крепко ты яго балуешь! Усяго издурила!

Маруська захлопнула дверь за Фроськой, в сердцах проворчала:

"Усё вам Маруськин! Если сирота, то и виноват кругом! Идите-ка вы усе к ударовой матери!"

В другой раз заскочила соседка Зинаида:

"Марусь, ты свояму руки усе жа укороти! Разбомбил мою большую сковородку, что у загородки для курей стояла. На мелкие черепушки. И давай по курям пулять! Из рогатки. Чаго ж ён дома етого не делаеть?" - Зинка кричала громко, брызгая слюной, Маруська пообещала наказать Егорку.

И началось. Подросший Егорка скоро понял выгодность своего двоякого положения. Если бабка Муса начинала его ругать, он мчался к бабке Варе, где его оправдывали и жалели. Получал выговор там - бежал за помилованием назад. В Егорке жили и боролись совершенно противоположные, перемешанные гены. Иногда он становился тихим и застенчивым, как отец, а затем с новой силой в нём вспыхивало озорство, бешеная энергия клокотала, как в маленьком вулкане.

"Ето - тожа у Петькю-деда. Карактяр увесь - яго! То тихай-тихай, а то увесь, аж, затруситься, если кто затронет!"

Папа Игорь уже стал забывать в село стёжку-дорожку. Если и приезжал, то без жены. Маруська понимала: сразу двое ребят - дело нешуточное, а в глубине души была рада, что не привозит Риту. Порой злилась на Игорька, ревновала его к тем двум, счастливым "дитям". И ещё крепче жалела Егорку.

Учился Егорка слабовато.

"Тут уж ён пошёл у мамку, а никак ни у вумнога отца" - думала-горевала Маруська.

Многодетный Игорёк всё продолжал учиться: поступил в какой-то общественный философский университет.

Егорку же учителя всячески "подтягивали"; "натягивали" ему хиленькие троечки, не устояв перед столь обаятельной улыбкой, (единственное, что досталось ему от папы Игоря) да ещё симпатичной родинкой на смуглой щеке. Войдя в отроческий возраст, Егорка

вовсе потерял интерес к учёбе. Деревенские девки не давали ему покоя. Они подстерегали его всюду и везде: в школе и на улице, у крыльца хаты и на "площадке", утопанной ребячьими ногами круглый год: тут играли в футбол, в "мячики" - (лапту), тут же и устраивали танцы. Девки ссорились из-за Егорки, возникали какие-то девичьи разрозненные группировки. И успеваемость резко поползла вниз не только у "Маруськина": любовная эпидемия стала угрожать двум старшим классам сельской восьмилетки. Вызвали в школу Маруську, к тому времени постаревшую и довольно часто хворающую. Просили повлиять. Вечером, по Маруськиной просьбе, в хату зашли Петр с Варькой. Все троём начали "влиять" на Егорку, хмуро сидящего в углу, с поникшею головой, под иконами.

"Ну, прямо, Иисус Христос! Ну, вот как яго ругать?!" - Маруське стало смешно, но она придала серьёзность лицу и, как можно строже, сказала:

"Сынок! Ты уж давай-ка глупости из головы выкини! Вот кончишь школу - там в училище. А девок етых на твой век хватить!"

Петр с Варькой подхватили:

"Да-да, унучик, нада учиться! Куды, жа, теперя без ученья? Гляди-ка, твой батя усё ещё учится, а ты? Неужель, такой ты у нас красивой, прямо - артист, и будешь тут с нами у говне ковыряться?!"

Егорка ещё ниже опустил голову, было впечатление, что его очень обидели, и он сейчас заплачет. Сердобольные бабушки с дедом тут же пожалели его.

"Ну ладно, сынок! Ты ведь усё понял, да? Ну, бяги, бяги на вулицу! А вечером уроки сделаешь, правда?"

Неожиданно, сразу после "октябрьской", умер Петр Ушаков. В последнее время он совсем не пил. "Как отрезало!" - объяснял всем с гордостью, что смог пересилить сам себя и теперь ходил бодрой походкой, в приподнятом настроении. Варвара тоже была вне себя от счастья и по деревне летала, будто молодая. И вот, по незамёрзшей ещё грязи, несли гроб с телом дедушки. Через всю деревню несли на рушниках, и Егорка поддерживал гроб в первой паре. В эту тягостную, горестную минуту он, вдруг, с щемящей тоскою в душе, почувствовал невосполнимую утрату, потерю, жившего с ним рядом родного человека, дедушки, ранее так часто незамечаемого им.

И Егорка заплакал. Руки были заняты, он встряхивал головой, ударяясь при этом о край гроба, совсем не чуя боли, как будто даже мёртвый дедушка всё продолжал жалеть его и смягчал удары.

После похорон Егорка ночевал у бабки Вари. Она никак не могла отойти от горя и одиночества. Как-то, повесила на гвоздик, у двери, пыльную кепку мужа и теперь глядела и глядела на неё:

"Кык будта, Петья зашёл у хату!"

Приехавшие из города девки принимались за уборку, и однажды сняли с гвоздя эту кепку. Варька закричала, заплакала:

"Ни тронуть! Она што, мешаить вам?"

Девки стали успокаивать:

"Ды, мам, мы жа толька пыль вытрясем и всё! Мы жа её повесим на место".

"Не нада ничаго вытрясывать! Пусть какая была, такая и висить!"

Дочери повесили кепку на гвоздик, мать успокоилась, и все оставшиеся годы никто не трогал эту кепку.

К Варвариным девкам, считается, своим тёткам, Егор стал относиться как к самым родным. Он всё чаще заходявил в их хату, помогал бабке по хозяйству. Маруська не обижалась. Чего тепер делить? Обе остались под старость одинокими, и только единственное их "украшение", Егорушка, как солнышко светит и пригревает их. Егорка закончил восьмилетку, поступил в училище. На сварщика. Первое время жил у отца, но потом сбежал в "общагу". Отец был какой-то отдалённый, всё поучал и философствовал. Егорка и жалел его, и не понимал. Раскрашенная, толстая Рита его раздражала, а, вот, к почти незнакомым "близняшкам" он испытывал волнующее тяготение, как старшего, "опытного" брата. Неожиданно они оказались ему дороги и близки. Русланчик и Милочка уже учились в школе. Да не в одной! Русланчик ходил в "художку" - художественную школу, а кудрявая Милочка осваивала скрипку в "музыкалке" - соответственно, в музыкальной школе.

В общаге кипела, парила и взлетала к небесам бесшабашная молодая жизнь. Егорку стали кликать Жориком, а лидер курса, гитарист Евгений, называл его величаво - "Георгием-победоносцем". И, когда на выходные он приезжал то с одним, то другим новым товарищем, на деревне удивлялись: "надо, жа, был Егором, а сейчас какой-то Жорик, да ещё "бидоносец"!" Как раз это прозвище Егорка и оправдывал. Какая-нибудь беда да с ним приключится! То в клубе раздерутся, то у кого-нибудь с вечера пропадёт лошадь или в закутке не досчитаются гусёнка - во всём обвиняют "Маруськина", как зачинщика и заводилу.

- Ну, какие люди, какья люди! - возмущалась у колодца сама Маруська.

- Вить, толька один Маруськин во всех грехах виноват! Кругом - Маруськин! Других никого нетути.

Она несла воду, продолжая ворчать, ведра неровно раскачивались, и живительная влага расплёскивалась; это была уже не та Маруська Рожалова, что ходила когда-то гордо и плавно и носила воду, не пролив ни единой капли. Зайдя в свой двор, она совершенно другим, обвинительным голосом, говорила сама себе:

"Дура я, дура! Сама виноватая! Ну всё, боля ён у мене ни грамма не выпросить! Хуть один приедить, хуть с товарищем. Ни огня ни дам!"

Зная, что у бабки Муси всегда имеется самогонка, Егор упрашивал её дать на вечер "бутылочку для аппетита и веселья". Но, зача-

стую, веселая как раз и не было, а, наоборот, случались разные неприятности. И теперь Маруся решила твёрдо - молодёжь больше не баловать! В очередной приезд Егорки-Жорика-Георгия, когда вечером тот стал собираться в клуб и ждал заветную бутылочку, Маруся ему отказала.

- Усё, сынок, хватить! И так уже согрешила с тобой. Хуть совсем это дело прекращай! А как яго прекратишь? Без ей, заразы, без этой самогонки мне тожа никак нельзя. Хто чаго поможить, хто чаго дасть - усем нада платить! А какие мои деньги?! Ты жа знаешь мою пензию. Чтoб на ие так наши правители жили!

Егорка упрашивал, умолял "бабулечку дорогую Мусю". Та - ни в какую. Разобиженный, он ушёл в клуб и всё-равно там подрался. Хоть и трезвый. У Марусяки стало болеть сердце. Она "жалилась" Варваре и, вдвоём, горевали они, "как ба совсем малай не испортился!"

Летом, на каникулы к деду Катку приехала внучка. Вместе с родителями она приезжала в деревню и в прежние годы, но тогда была маленькой и незаметной. А в это лето её было не узнать! Не узнал и Егорка. Ехал на велосипеде, вёз беремья крапивы для поросёнка и чуть в столб не влетел, увидев высокую, тоненькую девушку с распущенными русыми волосами. Красавица. Русалка. Колдунья. Прямо купринская Олеся, о которой Егорка, конечно, не слыхивал, так как побочной литературы, тем более классики, никогда не читал. А девушку и впрямь звали Олесей. Егорка спрыгнул с велосипеда, преградив ей дорогу, уверенный в своей неотразимости, спросил:

"Ты откуда такая, и почему я тебя не знаю?"

Олеся же, напротив, сразу узнала Егорку. Да и как его было не узнать, если она ещё маленькой девочкой по нему сходила с ума. Она засмушалась напористости Егорки, молчала и не решалась пройти дальше. И вдруг её смущение передалось и ему. Егорка резко развернул велосипед и, не оглядываясь, погнал к хате. Узнав от бабки Муси, что эта красавица - та голенастая "Олесья катковская" он просто оторопел: "Надо ж так вырасти и измениться!" И ждал. Не мог дождаться вечера. Он несколько раз проезжал по улице, но Олеся не появлялась. Егорка влюбился. Ещё ни одна девка так не нравилась ему, не трогала его сердце. Да какое там: нравилась - не нравилась! Здесь было совсем другое. Хотелось и хотелось видеть её. Что-то вдруг изменилось в мире; стало иметь другое значение, другие краски. Всё было озарено солнечным светом. Егорка трепетно ждал рождения каждого росного утра, с малиновым диском восходящего солнца, зная, что днём встретит, увидит её. Он расплаивал окна в просыпающийся сад и напевал: "Как прекрасен этот мир, посмотри..." И действительно: мир был прекрасен. Полон будущей, казалось, нескончаемой жизни и свершающихся мечтаний. Егорка изменился: из надменного красавца-задиры неожиданно стал

задумчивым, вежливым и добрым. Он даже забыл про клуб, зная, что Олеся туда не ходит. Маруся и радовалась такому перерождению, и тревожилась, видя, как он страдает. Дед "Каток" после смерти бабки Анисьи корову не держал, и Маруся, вечером, только что подоив Ночку, понесла ему молочка. Ну, конечно же, не ему, а его городской внучке. Самого деда в хате не было, а Олеся тёрла голиком, намывала пол в сенцах. Это Марусяке понравилось. Она поставила бидон на лавку, сказала:

"Молодец, доча, что не гребуешь нашей жизнью, помогаешь деду. Вот, я принесла парного молочка, попей-ка. Крепко укусныя у мене молочко".

Олеся застеснялась, но потом быстро затерев пол и одёрнув платье, вымыла руки, подошла к Марусяке.

- Ты, Олеся, у каком классе учишься? - поинтересовалась Марусяка.

- В девятый перешла, бабушка - ответила та.

- А, вот, мой Егорка, то бишь, Георгий по-городскому, учится на сварщика - Марусяке показалось, что имя Егор не понравится Олеся, и она специально назвала внука Георгием, хотя терпеть не могла это имя.

- Да я знаю, бабушка. Егорка мне говорил. А что он сейчас делает?

Марусяка немного сконфузилась:

"Ды, доча, чтой-та ён приболел. Какой-та усё грустнай ходить".

Марусяка даже сама не поняла: зачем сбрехала про какую-то болезнь. Она только поднялась с лавки, а Олеся была уже на улице. Марусяка пошла следом, ругая себя, не зная, чем теперь всё это обернётся. Сразу в хату она заходить не стала. Поковырялась в сарае, почистила закутки у коровы и поросёнка, вынесла охапку травы из огорода, стараясь как можно больше протянуть времени, чтобы в хате как-то определились. Когда, наконец, притопала в сенцы, намеренно брякая вёдрами, как бы предупреждая, уже совсем стемнело. Хата была пуста.

"Определились! - тихонько сама себе улыбнулась Марусяка, а вслух сказала: Ну, и пускай! Так-та, оно дажа лучши! Чем усе яго драки ды пьянки".

Целое лето Егорка с Олесей были неразлучны, и когда пришла пора уезжать в город, на учёбу, они не горевали, зная, что будут видеться и там. Через год Егору надлежало идти в армию. И, как раз в тот злополучный год, невидимый страшный "враг" вырвался на волю. Весенние ветра разнесли последствия атомной аварии недалёкого Чернобыля по всей округе. Люди не видели и даже не ощущали каких-то изменений в себе и окружающей обстановке. Но это было только начало. Из рискованной зоны они не выселялись, как, например, жители западных районов, расположенных ближе к смертельному очагу. Были лишь извещены невозможностью пользоваться

лесными, полевыми, огородными дарами-сборами. Маруська Рожалова, как и другие бабы, недоверчиво посмеивалась:

"Нам-та, што? Нам усё равно скоро у ямку! Ета для молодых, можить и опасна".

Но душа её наполнилась тревогой:

"Как же они будут дальше жить?"

Егор уже год служил в Германии. Олеся теперь приезжала в гости не только к деду "Катку", но и к бабке Мусе. Приезжала уже не одна, а с трёхмесячным Артуриком. Все вместе ждали Егорку. Маруська сначала укоряла Олеся, что не успели расписаться "что-ба усё было как у людей, по-законному", но потом про всё забыла, увидев маленького Артура - точную копию Егорки. Вот только именем опять была недовольна:

"Ну, скажитя вы мне, что ета за мода тыкая пошла? Што ета за имена такие? Усё какие-та нерусские. Ну вот, иде ты, Олеся, откопала етого Артура? Малай же и сам рад не будить, потому шта букву "р" ён не выговорит! Назвала ба или Юриком, или Валериком, а то какой-та "турок"!"

- Ну вот ещё, баб Муся! - отмахивалась Олеся - Валерик мне вообще не нравится!

Юрик: «А буква «Р» там тоже есть».

Маруська не обижалась. С годами она стала спокойнее и умиротворёнее. Даже грозный атом не страшил её. На следующую осень в лесахросло неимоверное количество грибов, и бабки, забыв про опасения и запугивания, таскали домой целые плетухи скользких маслят, крепконогих подосиновиков, ядрёных груздей. А по весне сады опять цвели, как никогда, обещаая неслыханный урожай. И, впрямь, в августе деревья ломились от огромного количества плодов. Яблоки были необыкновенно-крупные, что радовало и удивляло мужиков и баб. Сроду такого не было! Егор писал часто, сулился домой, в письмах просил беречь здоровье, зная, какая беда приключилась на родине. Но разве от неё схоронишься-убережешься?!

Маруська отписывала, "што они берегутся, как могут. Мужуки и бабы, кто покрепче, спасаются самогонкой. Говорять, она от етой "рации" (радиации) - самое первое дело. А хто уже у зямлю глядеть - тэм уже усё равно. Земля косточки примить!"

Ждали Егорку в отпуск, но он не приехал. Зато, однажды, пришло от него Маруське интересное письмо. Егор писал, что их водили на какую-то встречу, и он познакомился там с немецким парнем, по имени Иоганн. "По-русски, его можно называть Иваном", - пояснял в письме Егор. Когда Егор рассказывал из какой местности он в России, этот Иоганн так удивился и почему-то обрадовался. Через переводчика он сказал Егору, что у него есть друг, дедушка которого во время войны был именно в этой области. Егор писал, что это сообщение его мало тронуло и взволновало, а этот "немец-пацан" Иоанн через какое-то время пришёл в их часть с тем самым дру-

гом. Егорка просил Маруся вспомнить и подробно написать ему: когда и сколько стояли немцы летом сорок первого в их селе? Ещё Егор просил её вспомнить про того доброго, молодого немца, о котором она рассказывала ему в детстве, имя которого должна помнить. Маруся всю ночь не могла уснуть. Лежала на спине - беспокоила поясница, ложилась на бок, поджав-скрестив руки - слышала удары бухающего сердца, как отчёт уходящего времени, что её ещё больше пугало и тревожило.

"Господи! Тебе, конечно, оно не взволновало, это сообщение, - ворочалась с боку на бок Маруся, мысленно разговаривая с Егоркой, - а мне ты зачем тревожишь! Какой ещё немец! Мало ли их прошло по нашим местам, стояло у наших хатах..."

Она отгоняла ночные мысли, но уже знала, что утром будет писать Егорке письмо и назовёт ему имя Того немца. Ещё только засиреневели мартовским утром окошки, Маруся уселась писать ответ. Отписала про всё и всех, никак не решаясь подойти к главному вопросу. А когда, наконец, собралась с духом, вдруг опешила, поняла, что не помнит, забыла напрочь имя своей "немецкой любви". Она даже сначала усмехнулась:

"Нада, жа, как я давно тебе не вспоминала. Да что там говорить?! Целая жизнь прошла-пролетела!"

Маруся была уверена, что, конечно же, она вспомнит, обязательно вспомнит его имя, вот только чуть-чуть поднапряжёт свою затухающую память. Она глядела в светящееся окно и перебирала: Ганс, Генрих... Фриц...

"Батюшки мои! Неужель забыла совсем! Ну, никак же ни Фриц! Вот тебе и "на"! Дожила Маруся!"

Она не могла поверить, что забыла это имя, но и вспомнить никак не могла. Опять и опять вызывала в памяти многие немецкие имена, но всплывали только короткие: Ганс, Курт... Где-то, в глубинах мозга ещё жило, вертелось, пробивалось наружу какое-то другое имя. Длинное и трудное: "Фридрих, Ричард. Нет! То имя было похоже на звучание "Егорки". Ведь не зря же моего красавца-немца все называли Егором. А вот как же по-немецкому?"

Долго сидела Маруся за столом. До того доспоминалась, что разболелась голова,



а имя всё не прояснялось. И она решила написать "што все кликали "того" немца Егором, по-нашенски, по-деревенски, как и тебе, мой дорогой унук!" На некоторое время Егорка замолчал, а Маруся всё не успокаивалась, сходила с ума от навязчивого вопроса: как Его звали, её самую первую и дорогую любовь; как могла она, старая дура, забыть дорогое ей имя?! Это было уму непостижимо! Делала ли она что-нибудь по дому, копалась ли в огороде, сидела ли у соседей - неотступная мысль тонким буравчиком сверлила ей мозги: имя..., как же то имя, как же звали забываемую "белозубую улыбку..." Ну, не спросишь же у людей! Вот будет смеха и стыда под старую задницу! Да и разве кто из бабок теперь вспомнит, кому теперь это надо?!

Однажды, Маруську озарило: в памяти всплыло ещё несколько имён: Герман, Генрих, Густав...

"Господи, чтой-та, уроде, похожее, как на букву "г", но, усё-ж-таки ни Герман, нет! Ох, бог ты мой, совсем оглумела я под старость!"

Наконец, от Егорки пришло письмо, в котором он толком ничего не объяснил, но предупредил, чтобы не волновалась, если вдруг в её жизни что-то произойдёт и изменится.

Маруся как сидела на лавке, читая письмо, так и осталась, буд-тобы пристыла к ней.

"Мамаынки мои родныя... Что жа я, дура глумная, наделала? Усё, вить, в етом письме рассказала-написала! Письмо етот шёл через усю страну, ды еще и неметчину! Хтой-та прочитал и теперя минусе! Успомянуть про войну, про мою любов... О-ох, пропала я, баушки!"

Сколько так она просидела, даже не помнила. Только, когда зашла Варвара, Маруся сунула письмо под фартук. Варька спросила, что пишет "увнучик Егорка"? Маруся невнятно ответила, не глядя на Варвару:

"Усё у порядку".

- Маруся, ды ты белая, как мел! Можя заболела? - Варвара хотела присесть рядом с Марусякой, но та вскочила резко, сказав, что ей некогда рассиживаться: ещё поросёнка не кормила, и гуси где-то болтаются. Обидевшись, Варвара ушла.

Из Марусякиных рук всё валилось, в спину "штой-та уступила", голова трещала. Почти весь следующий день она провалялась на печке. Одолела какая-то немощь, слабость, и всё тут. Ни рукой, ни ногой шевелить не хотелось. Но сколько ни лежи, а скот кормить надо. Последний год Маруся корову уже не держала. Не оставалось силы на покос, и она свела свою Ночку в заготскот. В то утро несчастная коровушка, как чувствовала недоброе своим "животным" сердцем, не хотела выходить из сарая, упираясь мощным телом, и Маруся почти выволокла её. Ночка утробно мычала, а из лилового глаза катилась настоящая, как человеческая, слеза. Заревела и Маруся. Вела, согнувшись, свою пёструю кормилицу и голосила

на всю улицу. Сейчас у неё хрюкал поросёнок, да бегали по двору куры и гуси.

Маруська кое-как скатилась с печки и охая, начала расхаживаться. Днём она старалась чем-нибудь себя занять, "чтоба дурные думки не лезли у башку", а по вечерам уходила на посиделки. Письма от Егорки стали приходить реже, близилась к концу его армейская служба, да и, признаться, Маруська стала побаиваться его посланий. Любая казённая бумага наводила на неё содрогание и ужас. Но дни шли за днями, никто её ничем не тревожил, и она потихонечку начала успокаиваться. Вновь задули весенние ветра. Они несли бушующее половодьем, пахнущее тальми снегами, новое продолжение жизни. Майский тёплый воздух был насыщенно-густым от смешанного аромата цветущих яблонь и вишен - в садах, сирени, черемухи - в палисадниках. Опять вся деревня утопала в кипенно-белом одеянии, в предвкушении изобилия плодов и ягод. Поползли слухи, что всё это неспроста, что почти килограммовые яблоки-мутанты, что, всё-таки, Чернобыль даёт о себе знать. Но люди жили своей жизнью и не заикливались на этом катаклизме, хотя многие болели, и за одно только лето похоронили сразу трёх человек. Маруська целыми днями пропадала в огороде: полела, окучивала картошку. Дело продвигалось медленно, уже не хватало здоровья и сноровки, но "урезать" свою картофельную пайку, в сорок соток, она не хотела. Вечная боязнь "нехваток и непробыток", остаться голодной и холодной не позволяли ей сделать это.

В слякотный осенний ветерок хата Маруськи Рожаловой зазывно засветилась, загорелась всеми окошками. Из армии прибыл Егорка. Окрепший и возмужавший, он, прежде всего, заехал к "своей бабке Мусе", хотя в городе ждала, не могла дожидаться ненаглядная Олеся с маленьким сыном. Вся в счастливых слезах, Маруська сменяла по соседям, приглашая на вечер-встречу.

"А чаго, жа, откладывать на завтра такую-та радость? А можа я кутру сдохну!"

Она суетилась, выставляя всё, что имелось на стол, не сводя глаз с долгожданного Егора.

Давно не было такого уюта, такого веселья в Маруськиной хате. Собрались оставшиеся соседи, оглядывали повзрослевшего, мужественного, ставшего ещё красивее Егорку, находя в нём ушаковскую породу, сравнивали с дедом Петькой. Бабка Варвара плакала-заливалась и от счастья, и от горя. Хотя она и свыклась, что родной внук живёт с Маруської, глубоко-глубоко в сердце кровоточила её незаживающая рана, саднило уязвлённое бабушкино самолюбие и обида, которые, вдруг, чётко-ощущаемо, ярко-выпукло выныривали на божую волю при вспомогательном горячительном действии выпитого стаканчика самогонки.

Варвара иной раз так сильно ненавидела Маруську, так она её раздражала, что завидя ту, идущую ей навстречу, резко сворачивала

куда-нибудь за угол. Когда ещё девки жили с ней, Варваре было не до Маруськи и даже, не до Егорки.

Но, вот сейчас, глядя на него, вылитого деда Петю в молодости, жгучая любовь и жалость захлестнули всё её нутро. И эта всезахватывающая любовь и жалость к Егорке, к Петру, к самой себе и даже к Маруське Рожаловой не оставила больше места ненависти и раздражению в её уме и сердце. Разгорячённый, возбуждённый встречей Егорка поочередно, обнимал Варвару и Маруську, сидел-наговаривал с ними, затем, подхватившись, подсаживался к другим гостям и всех благодарил - одаривал своей неотразимой улыбкой.

После ухода гостей, почти "до свету" сидели Маруська с Егоркой, говорили, не могли наговориться. Егорка достал увесистый армейский альбом в бархатистой обложке, стал показывать фотографии. У Маруськи уже слипались глаза, когда на одной из фотографий она вдруг увидела какое-то "уроде ба" знакомое лицо.

- Сынок! Унучик! Ну-ка, постой-ка. А кто жа это вон у том углу стоять? Кто это за мальчик? - Маруська ткнула пальцем в общую фотографию.

- Ой, баб, тут такая вышла история... Помнишь, я одно время тебе не писал. А знаешь, почаму? Честно признаюсь: просто забоялся. Страшно стало. Вот, ету фотку, слава богу, на границе пропустили. А у мене ещё была одна, где етот немец-пацан стоять со своей невестой. Ну, когда при въезде в Союз нас стали шмонать - служака на границе отобрал её у мене. Сказал, чтоба я не смел в свою страну проституток ввозить. Представляешь, гад какой! ГДР - это жа страна соцлагеря! А етот гнида, какой мене обыскивал, до того, выдать настрополён разными правилами, что не знать куда их приткнуть. Я ему, давай, объяснять, что это девушка моего друга, а ён упёрся, как бык, и нивкакую! Проститутка, говорить, и всё! По морде, говорить, вижу, што это немецкая фрайлина. Ну, и отобрал карточку. А там Герберт так хорошо виден был.

У Маруськи ёкнуло сердце.

- Как-как унучик ты сказал?

- Дык, парня етого немецкого зовут Герберт. Имя такое. Ты, баб, дальше слухай. Не перебивай.

Да как же теперь спокойно "слухать"?! Герберт! Вот то самое имечко. Ах, будь ты неладно! Конечно-же, это Герберт. Это-он!

- Ну-ка, сынок, рассказывай даля. -

У Маруськи сон как рукой сняло. Она не стала перелистывать альбом, а смотрела, не могла оторвать глаза от этой небольшой фотографии. Стёкла очков её запотели, протерев их, она вновь всматривалась в незнакомое чем-то и столь знакомое, с узнаваемыми чертами юношеское лицо.

- Ды, баб, ты успокойся. Всё нормально. Рассказываю дальше. Захмелевший Егор удивлённо глядел на Маруську.

- Я ж тебе писал раньше, что, возможно, будут изменения. А всё

дело в том, что дед этого Герберта, кстати деда тоже так зовут, всю свою жизнь помнил и любил одну русскую девушку. А звали ту девушку Маруся. Я тогда ещё подумал: мало ли в Советском Союзе всяких, там, Марий, Машек, Манек, Марусек. Представляешь? До мене сначала не доходило, что ты же у нас бабка Муся, хотя, на самом деле, если я - Маруськин, ты, ведь, баб, тоже Маруся. Верно?

Чуть опьянённая выпитой рюмкой и счастливой встречей, Маруська почувствовала, что начинает трезветь. На какую-то минуту в голове её прояснилось, глаза перестали слезиться и она, вдруг, во всех подробностях, как-будто, это было только вчѐра, вспомнила-представила ту, самую первую, их с Гербертом встречу. Егор затормозил её:

"Баб, ты уже спать хочешь, иди-ложись!"

- Нет-нет, Егорка, слухую тебе. Давай типерича до самого конца говори!

- Так вот, баб, - продолжал Егорка, - тот старый немец, Герберт, узнав от внука о нашем знакомстве вдруг загорелся отыскать свою красавицу Марусю, которых в России не сощитать и каких хоть пруд-пруди! Ну, я представляю, какая сейчас та красавица! Можа уже и в живых нетути, а если и жива, то, наверное, из неё весь песок повысыпался.

Маруська вдруг засмеялась. Да так громко, заливисто, будто молодая, что Егор даже испугался:

"Баб, ды ты што? Што с тобою? Што тебе смешным показалось? Про песок, да?"

Это смех, искренний и звонкий, вместил в себя и счастье освобождённой от гнёта, ждущей всё время чего-то страшного её мятущейся души, и счастье сознания того, что он, её единственная первая любовь, жив и, мало того, он также всю свою жизнь держал её в своём сердце. Пусть были они так далеко друг от друга, жили в разных странах, как на далёких планетах, но дышали они одним воздухом, радовались каждому светлому утру, подставляя свои лица единому для всех ласковому солнышку.

- Не бойся, унучик, я не сошла с ума. И песок из mine ещё не высыпался. - она перестала смеяться, грустно улыбнулась.

Егор схватив Маруську за плечи:

"Баб, ды ты што такое говоришь? Ты што, та самая Маруся и есть?! Нет, такого не может быть, такое бываить только в кине!"

- Какое ж там кино, унучик! Не дай бог такого кина! Вот што война наделала: усех людей пораскинула-поразвела. Но, я, ты дажа не знаишь, как я рада, что ён живой! Этот Герберт! Вот доля - так доля! Под самую старость какую весточку для mine припасла-сохранила. И как усё сошлося! Ты вот толька подумай: я усю жисть помнила яго улыбку, а вот как зовуть забыла напрочь! А ето на карточке и есть яго унучок, как ты у mine... -

Маруська не смахивала слѐз со своего морщинистого лица, ус-

тавившись в чуть светлеющее новой зарёю окошко; с приходом этого дня закончилась её жизненная старая сказка, слава богу, с хорошим концом. Егор же всё никак не мог отойти от случившегося. Он опять обхватил Маруську:

"Баб, ды ты понимаешь, што ето самай подходящий случай! Ведь вы же сможете, наконец, встретиться! Теперь жа намного легче и проще, чем раньше: железный занавес рухнул, как говорят, и все дороги открыты! У мене жа есть адрес етого города, иде стояла наша часть. Я толька напишу и всё!"

- Не надо, сынок! Ничаго не вытвливай (не выдумывай)! Ни к чаму теперя ето усё. Зачем? - Она тихонько засмеялась. - Ды и сам подумай: ладна, устретимся мы, два старых дурука. Ён можа ище и ничаго, а я на кого похожа?! Без зубов, гнусь уже к зямли, горбатая стала, почти настоящая ведьма! Нет, сохрани господь, штоба ён мене теперя такой увидел. Ды ён мене ни за што сичас не узнать! Жисть уся прожитая, чаго теперя глядеть-устречаться? Молодыми полюбились - вот и уся песня!

Маруська захлопнула фотоальбом, дальше рассматривать снимки ей уже не хотелось. Егорка же никак не унимался, его до глубины души тронула романтическая история любви близкой, самой дорогой бабки на свете, которую, всё же, он никак не мог представить влюблённой девушкой Марусей. Казалось, она всегда была простой, добрущей, деревенской, сейчас состарившейся бабкой Мусей. Хотя Маруська и предупредила Егорку, чтобы он не рассказывал никому о приоткрывшейся завесе её жизни и любви, "штоба ни болтал языком кому попало" - остаток ночи она толком не спала. Разные думки бередили душу. Утром, ещё не совсем проспавшись, Егорка засобирался в город. Маруська, опустив тяжёлую от переживаний голову, подошла к нему, проговорила:

"Ты, ето унчик... Ты не думай, што ета правда. Сбрехала я табе про етого немца. Сама не знаю, што у голову зашло. Наверно, я глумная совсем стала под старую задницу..."

Егор обнял её, обхватил сверху здоровыми ручищами, такую маленькую, действительно сгорбившуюся, и проникновенно, чуть не со слезой в голосе ответил:

"Ды я всё понимаю, бабуш! Ты даже из головы выкини и о глом больше никогда не думай! Договорились? Ты ж мне веришь? Я ведь твой, "Маруськин"!"

Свадьбу всё же сыграли. Под Новый год. В городе. Две деревенские бабки сидели рядком на самом почётном месте. Рядом с молодожёнами. Разряженные и раздумавшиеся - они сейчас были довольны и счастливы. На свадьбе, конечно, присутствовали и Игорь Вениаминович со своим семейством. Он стал солидным, дородным, откуда что и взялось, но свою высокую, величественную жену Риту догнать всё-таки не смог. "Пушкинские герои", их детки, Руслан и Людмила крутились тут же, но ни бабуку Варю, ни бабуку Мусю в упор

не видели. Хотя, поначалу, бабки ластились к ним, лезли с разговорами-расспросами, потом, поняв отчуждение выросших "внучат", Маруся махнула рукой, и отозвав Варвару в сторону, громко сказала, чтобы и другие услышали:

"Пойдем-ка, бабушка на своё место. Задаются наши городские. Не хочуть признавать деревню. Гребуют! Ну и огонь с вами. А мы у своего Егорки гуляем..."

Гости замяли это "случайное недоразумение" и желали молодым только счастья, только любви и здоровья на сто лет. Вновь созданной молодой советской семье желали только праздников. Все надеялись только на лучшее, интересное, благоприятное будущее для нового поколения. Для таких вот Артуриков, беспечно прыгающих сейчас на коленях молодых, здоровых родителей. Но, как говорится, человек предполагает, а "кто-то Великий располагает"!

В скором времени в стране началось что-то непонятное. Опять пришло смутное время, без которого, видимо, горемычная страна жить не может. А может и не желает. Только-только простой деревенский люд начал поднимать головы: (строились хорошие дома-пятистенки вместо развалюшек-хат, с прелюю соломою на крышах, из города многие привозили "обстановку" - современную, "городскую" мебель, да и одеваться стали намного лучше, сменив замусоленные "кухвайки" на добротные пальто, куртки, "жакетки") - и тут "Высшее начальство" и "Высший суд", вдруг, испугались, что народ вылезет из своей "сермяги" и станет жить лучше и богаче, да не дай бог, догонит "их", сравнится с "ними". А уж этой уравниловки допустить никак нельзя! Советская власть и так многих подравняла! И полетело всё в тартарары. В столице самой мирной, самой дружелюбной страны - почти война. С кем? Подскажите добрые люди. Воюем сами против себя. В город введены танки, горят дома, грохочут выстрелы. Боже милостивый, что случилось?! Неужто забыт тот крошечный ад второй мировой войны, повторения которого клятвенно обещали никогда, ни за что не допустить больше на этой Земле! Ведь живы ещё отцы и деды, перенесшие немыслимые тяготы сороковых годов, так искренне верившие и надеявшиеся на новое, умное, честное и мирное поколение - своих детей и внуков. Так неужели это поколение предало своих отцов и дедов?! Или разум помутился, устав от неохватности власти у одних, или адское желание "порулить" загорелось в "покинутых богом" душах других??? Единственная, мощная некогда партия единомышленников, вдруг сломалась, развалилась, как карточный домик. Рухнула! Одни обвиняют других. Чего не поделили? Ведь цель у всех была одна: счастье, здоровье, единство народа. Столько сил, духа, крови было потрачено на создание крепкого, дружелюбного, целостного союза с четкими устремлениями большинством руководителей и политиков; столько энергии и оптимизма было отдано объединённым народом для строительства новой, прекрасной жизни! А теперь этот

народ разбредался по всей стране, убегая от войны, от разрухи и нищеты, ища спасения вдали от своей истинно родимой земли.

Смутные "сестры" некогда монолитного союза, с тоскующими глазами по своему тёплому, кавказскому краю, теперь сидели с закутанными в тряпье детьми на руках, сидели прямо на стылых, заснеженных тротуарах далёкого, чужого Урала и немыслимо-далёкой (когда-то!) Сибири, протягивая руки за подаванием. Здесь, на северных окраинах России, ещё теплилась жизнь, ещё работали (некоторые!) предприятия, и торопящийся на службу люд, будто бы не замечая, а порой, и презрительно "одарив" взглядом незваных и несчастных "гостей", не бросал монеты в замерзающие ладони. Но ведь не от хорошей жизни они "приползли" на незнакому чужбину! Слава богу, сюда не докатилась война, и местному народу, видать, понять и принять всё это было трудно. Понимание приходило тогда, когда подрастающих сыновей отправляли в армию. Война тут подходила вплотную. Только вот, за что воевать и с каким врагом воевать?! Раньше провожали ребят в армию шумно, весело, не думая о плохом и твёрдо зная, что твой сын, брат, друг обязательно вернётся. Теперь армии боялись. По всей стране, в разные концы развалившейся державы, в скорбном молчании, хранившим все истинные мысли и чувства сопровождающих, но при полной важности парада, стал доставляться тяжкий "груз-200". Во имя чего и ради какой цели лежал в гробу девятнадцатилетний пацан?! Против какой страны его послали воевать? Мирные люди той страны против своей воли стали заложниками и между русскими "братьями", и между своими земляками. Что за великая цель обрекла мальчишку на столь ранний уход, недождавшую маму на потухшие выгланские глаза, а молчаливого гордого отца на смертельный инфаркт??? Разве стоит такая цель огромного количества оборвавшихся неповторимых судеб?! Никто не хотел ответить. Совесть молчала, если она ещё и была. Никто толком не мог ничего понять и объяснить. Одни коммунисты, объявившие себя теперь демократами, не выносили на дух и всяко позорили и клеймили других коммунистов, своих коллег по бывшей партии, которые не захотели менять свои убеждения. Но и у считавших себя честными и правильными демократов, народ жил нисколько не лучше. Скорее, наоборот. Большая половина населения, лишённая работы, а значит и средств к жизни, нищала и нищала. Появились и другие, многочисленные, "многопрофильные" партии, которые с пеной у рта орали о верности и преданности народу. Сам же народ повозмущался, покричал, попыттел да и успокоился, поняв, что никакого толку не будет, и что он, "Великий народ", сам по себе ни хрена не значит.

"Плетью обуха не перешибёшь!" Старая русская пословица. Но кто здесь плеть, а кто - обух? Может быть, она изначально была придумана для того, чтобы народ "не рыпался" никогда этот "обух" пересекать? А ведь народная плеть весьма крепка, увесиста и тя-

жела! Однако, запуганный и задавленный рабский инстинкт, (ведь в этом государстве всего лишь полтора века назад отменили крепостное право) народ близко к сердцу принял эту поговорку-отговорку, всё-таки, надеясь на какое-то изменение отношений к нему. Была, была великая надежда у него, наивного и доверчивого, когда все до единого пошли голосовать за себя, свою страну, то бишь, за сохранение единого могущественного Советского Союза. И, когда растоптали эту надежду и веру, презрев высказанное решение народа за сохранение своего государства, тоненькая, непрочная, но всё же, существовавшая ниточка связи "Верхов и низов" - оборвалась.

В разваленной, разрозненной стране царили хаос и беспредел. Дарённая властью некоторым республикам свобода окрасилась кровью. Народом овладело не спокойствие и равнодушие, а какое-то оцепенение.

В городах остановились фабрики и заводы. А те предприятия, которые ещё как-то держались, своим рабочим не выдавали зарплату. Бесплатн работающая сила выходила на улицу, на бесполезные митинги. Никуда не достучаться, ничего не добиться. В деревне происходило тоже что-то невообразимое.

Колхозы предстали сейчас дикими монстрами, которые, как оказалось, все годы существования занимались черт-те чем. Земля стала раздаваться на паи, распродаваться новоявленным хозяевам. Колхозный скот разгонялся во все стороны, разворовывался кем кто хочет. В хиреющую деревню ломанулись, уехавшие было в город отпрыски. В городе не давали денег, а тут, хоть бабки-матери получали пенсию, авось, поделятся куском хлеба!

Маруся Рожалова тоже подкармливала из своего скудного пенсионного пайка молодую Егоркину семью. Олеся работала учительницей в младших классах городской школы. Бесплатно. Подростающий Артурчик требовал нормальных соответствующих условий. По малости лет, ему без разницы было, что происходит в стране а, значит, и в ячейке общества - семье. Живое, разумное существо необходимо было кормить и одевать. Профессия сварщика, ранее доходная и востребованная, содержащая Егорку с любимой женой и сыном, вдруг стала не нужна. Строительство, в коем был задействован Егор, сначала приостановили, а затем вовсе "заморозили". Егор кинулся на завод. В скором времени и завод сочли убыточным, работяг поразогнали. К объявившемуся новому хозяину-частнику, против которого воевали его ушедшие в мир иной деды, идти в услужение Егор принципиально не хотел.

Помыкался-помыкался бедный молодой папаша да и запил. Маруся узнала про эту беду от людей: сама добратся в город уже не могла. Летние теплые вечера она сиживала на крыльчке и, покачивая головой, недоуменно спрашивала, присевших рядом соседок:

"А-ах, мамочки мои родныя... Ето што жа такоича твориться?!"

Это же надо-сахар стоить пять рублей! А говорить, ещё подорожать... Дык как же люди будут жить, если копейку не прибавят".

- Какая нам копейка, баб? Нас с тобою уже ямка ждет, а ты о деньгах разговор ведешь! - говорил Маруське один из многих оставшихся мужиков на улице.

- Дык, я не о сабе думаю, а об молодёжи. Ты, вить, и сам ещё не старик, дай не сбрехать, годов на пять мне моложе будешь. Ды и мне да же интересно, што будить дальше... - Маруська усмехалась удивлённо, а в глазах стояла сумеречная грусть-тоска. Но, особливо тошно ей приходилось зимой. Долгими, тёмными вечерами она ворочалась на своей печке. Прислушивалась к монотонному завыванию ветра и тиканью будильника. Маруська ложилась на левый бок, скрестив под грудью руки, явственно ощущая биение своего сердца. Невольно улавливался единый ритм толчков сердца и тиканья часов. Иногда сердце билось чаще и сильнее, иногда, наоборот, отставало от ритма будильника, и тогда Маруська переворачивалась на другой бок - ей казалось, неумолимое время торопится отсчитать отпущенные ей часы, минуты... Когда-то, давным-давно, в какой-то другой солнечной жизни, она уже слышала тоскливую, уходящую песню секундных стрелок, - невозвратимость прожитого мига...

Сейчас она чувствовала себя такой одинокой, такой несчастной, покинутой всеми и навсегда. Бабам помоложе, что иногда бывали в городе, она наказывала передать Егорке ехать к ней, в деревню. У неё и мешок муки припасён, и крупы всякой найдётся. Авось, проживут! Но Егорка хоть и выпивал, подрабатывая мелкой халтурой, всё же гордость имел большую. Он и в выходные дни стал наезжать реже, зная, что бабка Муся "оторвёт" от себя последний кусок, но сумку внучонка заполнит под завязку. Жена Олеся почти не вылезала из своей педагогики. В отличие от Егорки, она спокойно приняла новое направление в преподавательской деятельности. Олеся стала репетитором "богатеньких деток". На этой почве у них с мужем возникали громкие трения, переходящие в обиду на всех и вся, заставляющие Егора "хватать в охапку пальто и шапку" и бежать в соседнюю комнату, к другу, так как жили они в семейном общежитии.

Егор кричал, что ему не нужны буржуйские деньги, и он бросит всё к едрене фене и уедет пахать землю. Сначала он кричал это просто так, в запальчивости, не придавая значения, но однажды, лёжа у холостого друга на голом матрасе, одинокий и обиженный, Егорка задумался об этом всерьёз. Он мысленно перенёсся на свою родную "вулицу", под огромные подмигивающие звёзды в бездонном небе, которых в городе никак не мог заметить, хотя часто стоял в городском дворе, среди высоких каменных коробок-домов, запрокинув кверху голову. Он так явственно ощутил, обонял и уютное тепло вечерней хаты, протопленной железной грубкой, и утреннюю

морозную свежесть выстиранного белья, внесённого с улицы и брошенного со стуком на лавку, оттаивать. Это бельё стояло "колом" и бабка Муся всякий раз говорила маленькому Егорке, чтобы он "не сломал" его, когда пытался распрямить. А потом Егор увидел себя в позднем июльском вечере, бредущим сквозь плотный, густой, настоящий на травах воздух. Уставший и счастливый, он шёл почти наощупь к ярко светящимся окнам родной хаты, где бабка Муся собирала ужин-угощение для помощников в закончившемся сенокосе.

Однажды, по весне, в бурное половодье, Егорка чуть не погиб. Стояли в больших резиновых сапогах с ребятами в несущемся в поля потоке талой воды. Когда долго смотришь вниз - впечатление такое, что будто бы ты сам мчишься на бешеной скорости. Рядом по грязной земле ехал трактор с прицепленными зимними ещё санями, но без верхнего настила: то есть, вдоль полозьев саней лишь было прикреплено несколько горизонтальных брусков. Ребята кинулись из воды на сани трактора. Прокатиться. Побежал и Егорка. Надо было успеть сесть на один из брусьев, и как так получилось, но он оказался под движущимися санями, а сверху образовалась кричащая, хохочущая куча-мала. Ещё только бы одно движение, один рывок трактора - и Егорку распластало бы по весенней земле, как прелый листок. Но трактор остановился. Весь в грязи, сырой до нитки, но живой и радостный он заявился домой, ничего не сказав бабке. Тогда, лёжа под барахтающимися друзьями, он своей маленькой душой и умишком уже понял всю необратимость случившегося и умолял, умолял "кого-то!", чтобы сани остановились. Навсегда Егор запомнил ту весну и те, ещё неотцепленные с зимы сани. В любую трудную ситуацию он впутывался с надеждой выйти победителем, даже в тех юношеских драках искал и уважал честность и справедливость. Сейчас всё это казалось ему таким наивным, таким благодущным, по сравнению с наступившими временами. Надо было думать о новой жизни по-новому. Грубо, со злостью, по-мужски! Олеся уезжать из города никак не хотела: "В деревне скоро и школа опустеет! Как там будет учиться Артурчик?" Егор стоял на своём:

"А ты кто? Репетитор долбанай! Вот и будешь сама учить своего ребенка". -

Он начинал злиться, но потом, глядя на поникшую Олеся, менял гнев на милость: - Ладно, не обижайся. Там ведь ребяташки ещё рождаются, вот и будешь самой первой их учительшей.

Игриво подмигнул жене пропевал: "Учительница первая моя..." Кое-как пережив зиму, Егор весной уехал в деревню. Совсем занедужившая Марусяка валялась на нетопленной печке, когда он, с наибольшим рюкзачком, заявился в хате. Охая, она спустилась вниз, обняла высокого Егора, уткнувшись ему в живот и заплакала впричёт:

"Мой ты дорогой унучик, услышал свою бабку. А я уже думала,

помру и никто не узнать...Ты, вить, даже не сулился!"

Егор сам чуть не заревел, но Маруся уже улыбалась:

"Егорушка, а ето што жа? Выходить, ты у городя толька вот етот рюкзачок и заработал? Беднай ты мой, беднай. Ну ладно, сынок! Я хуть и глухая стала, но по радиву слыхала про каких-то "бизменов", что ля. Ну ето, уродя как новые хозяева. Потом еще, как их, подожди... Хвермеры какие-то. Вот, унучик, можа станишь етым "бизменом" или "хвермером"??"

Егор засмеялся:

"Бабуш, да это бизнесмены, и мне-то ими никогда не быть, а вот "хвермером" попробую".

На душе его стало так светло, так легко, так сладостно заняло сердце, как-будто он вернулся из далёкой чужбины, а не из соседнего города. Опять впереди ярким маячком засветилась надежда, и в этом свете он видел себя, бабу Мусю, Олесю с сыном в новом, построенном им доме, стоящим в цветущем саду, обещающим богатый урожай. Без радиации.



## Ожугание (посвящаю мамочке)

До позднего часа сквозь слабую метельную мглу светились окна в хате Криушиных. После того, как крёстная Александра уложила младших по постелям, а сама залезла на горячую печку к старшей из ребят Любаше, в доме ещё долго слышались вздохи, ощущалась гнетущая встревоженность и так хотелось, чтобы быстрее пришел рассвет.

Прошло уже три дня, как Верка Криушина со своим мужиком Митькой уехали в город. Продавать сало. Назад же вернулась одна заиндевшая от мороза лошадь, впряженная в пустые сани. В них валялся стылый Митькин валенок, подшитый им же. Митька по всей округе славился как мастер по подшиву валенок в зимнюю пору, по отбивке кос-литовок в сенокосную страду, а также умел он красиво плести плетухи, корзины и всякие туеса из ивовых гибких прутьев.

Верка же Криушина была мастерицей по другой части. Более духовной и утончённой. Где бы не проходило какое-то гулянье: будь-то именины-крестины, чья-то свадьба или просто бабья складчина в божий праздник, звали Верку, как первую запевалу и заводилу. В шумных праздничных играх, связанных с переодеванием в каких-нибудь необычных персонажей, она наряжалась "чудным мужиком". Надевала старые Митькины штаны, из ширинки которых выглядывала подвешенная, красная, большая морковка, через голову натягивала вывернутую наизнанку, здоровущую рубаху, не заправляя её в брюки и все начинали окликать её Борисом. Взбодрённые обильной выпивкой, раскрасневшиеся бабы кричали:

"Борис, а Борис!

Ну-ка, морковкой похвались!"

Старшая дочка Любаша стыдилась этого зрелища до слёз, в то время как младшие братишка с сестрой ничего ещё не понимали. Любаша убежала в сарай-торфяник, забиравшись в тёмный угол и плакала от обиды. Ей казалось, что все смеются не только над мамкой-артисткой, но и над ней. Бывало, она ещё долго злилась на мать. Теперь же, лёжа на неостывшей русской печке, рядом со своей крёстной Александрой, пышной краснолицей бабой, Любаша душила в себе горячие слёзы, нет и нет, катившиеся по щекам. Она незаметно вытирала их грубой, домотканой постелкой и думала, думала о матери, уже жалея её и вина себя. Сейчас ей мать виделась самой доброй, самой весёлой, какой-то другой, чем все деревенские бабы.

"Ну и что, что она наряжалась этим Борисом?!! Зато ведь ни одна баба так не умеет играть! И петь так красиво никто не может! - думала заплаканная Любаша. - А какая мамка добрая!"

Любаша так мечтала о новом тёмно-синем школьном платье-костюме, как у Зинки Тереховой. Тогда в хате не было ни копейки,

но мать, наверное, полдеревни оббежав, нашла-таки необходимую сумму, и наутро, "обыдённою", то есть с вечерним возвратом, тут же ушла на станцию, в город.

И сколько же радости было потом! Любаша не могла наглядеться на обновку, надышаться незнакомым, приятным запахом свежей ткани. Но как она не тряслась над своим нарядом, на одном из уроков в школе опрокинула пузырёк с чернилами. Прямо на подол своего тёмно-синего убранства. Страх и жуть охватили её: что же будет дома? Как она не замывала подол платья-костюма - пятно всё равно осталось. Любаша долго прятала от матери - отца этот свой "непробыток", беду. Выдала её маленькая Леночка:

"Мам, а у Любки платье испортилось!"

К удивлению Любаши, мамка спокойно отнеслась к известию, лишь тихо обронила:

"Какая-то ты, доча, у мене несуразная".

Любаша всё-таки, обиделась за эту фразу и почему-то, долго помнила её.

Но мать и дальше покупала обновы первой и старшей дочери. Когда в моду вошли первые плащи-"болонья", Любаша спала и видела себя в мягком, блестящем, нежно-голубом одеянии.

Зинка Терехова её вновь опередила. Заявилась первой красавицей, в синем плащике под поясок. Любашка пришла домой пельменная.

Уже через неделю она гордо вышагивала под ярким весенним солнышком, и сама светилась от счастья. Ей так хотелось, чтобы все видели, какая она сегодня красивая, почти взрослая, в чисто-голубом плаще-"болонье", туго затянутая в талии поясточком.

И опять у Любаши щемило сердце: какая же хорошая у них мамка. Даже не ругается, когда она допоздна читает книжки, иногда поставив прямо перед собой, во время еды. Только, засмеявшись, скажет:

"И кто ж тебя вумную такую замуж возьмёт? Вот будет беденький! Надо за ним ухаживать, а ты всё будешь почитать!"

Этим летом ровесники - девчонки стали бегать в клуб. Любаша же, забравшись куда-нибудь в укромный уголок, читала. Мать, однажды, сказала:

"Доча! Усе девки у клуб побегли! Кино там сегодня или танцы? Ты наплой-ка виски да тоже сходи. А то голова заболить от етого чтения!"

Одним вечером Любаша пожертвовала. После кино долго гуляли с девчонками по улице, наблюдали за звёздным небом, а потом решили дождаться восхода солнца. Сидели за околицей, укрывшись фуфайками, ночью было прохладно. Некоторым такое ожидание показалось тяжеловатым, и девчонки отправились по хатам, досыпать. Любаша досидела до самого прекрасного мига: зарождения нового дня.

Когда она подошла к своему крыльцу, мать встала доить корову.

Любаша поняла, что она заметила её, но почему-то, ничего не сказала и прошла, звякая подойником.

Уже поздним утром, Любаша, сквозь проходивший сон услышала, как мамка говорила зашедшей к ним бабке Мархуте:

"Моя-то, баб, совсем скоро невестой станет! Сегодня под утречко пришла! Уж не знаю, где и с кем гуляла, ну, а сейчас пусть поспит!"

И в голосе мамки звучала какая-то гордость. Гордость за взрослеющую дочку.

...Рядом уже давно похрапывала крёстная Александра, просторно разметав своё большое тело по русской печке.

Любаша сдвинулась на самый краешек, повернулась на бок, поджав к животу ноги и теперь, уже по-настоящему, почти вслух заревела:

"Господи! Неужели и вправду случилось что-то страшное и она больше никогда не увидит своих мамку и папку??"

Пусть они иногда и ругаются, и кричат друг на друга, потому что такие разные! Но пусть они будут живы, господи! Пусть вернуться домой!"

И опять Любаше вспомнилось, как в позднюю осень, мать растолкала её ото сна и, как будто сроду не видела первого снега, восхищённо, взволнованно закричала:

"Ой, доча, на вулице такая красота! Как бело-то, как хорошо! Всю грязюку запорошило. Да проснись же ты, доча!"

Отец укоризненно пробурчал, растапливая печку:

"Лучше бы блинов напекла, так охота кисленьких. Нет, чтобы учёра тесто поставила - она только, ба, на красоту глазела!"

"Да я, Мить, пресненьких сейчас же "затворю". С молочком будет самое - то!"

Отец замолкал и недовольно гремел ухватами. ...Тихонько постанывал во сне младший братишка Виташка.

Он ворочался, вздыхал и, наверное, тоже страдал своей маленькой душой.

А рассвет всё не приходил. Ночь казалась бесконечной. Любаша прислушивалась ко всему и ей чудилось, будто запискипывал снежок возле хаты, кто-то затопал на крыльце и ей так хотелось, чтобы дверь вдруг распахнулась, и мамка, как всегда, восторженно-возбуждённо, громко сказала:

"Ну, девки, что я у городе видела! А народу-то, народу... Аж голова кругом!"

Суетясь, развязывая сумки с гостинцами, она продолжала бы разговаривать:

"Ох, батюшки-святы! Сама голодная, как волк. Ни маковой росинки целый день у роте не было".

И сразу в хате стало бы шумно, весело, радостно.

То ли забылась Любаша, то ли сон её, всё-таки, сморил, но очну-

лась она от громкого хлопанья входной двери и сразу же на печку потянуло январским холодом. У неё замерло сердце: неужто бог услышал её просьбу, и мамка с отцом вернулись!

Она выглянула с печки: крёстная Александра разговаривала с Симкой Темновой. Слезая с печки, Любаша услышала лишь конец разговора. Симка ахала и охала, ей никак не верилось, что Криушины не вернулись с базара до сих пор.

"Я ить, Шур, как узнала, что Верка с Митькой пропали, то аж затрусилась уся. И где же оны, что с ними приключилося? Не дай бог, денги выкрали у их? А можа и сами потеряли".

"Ды, Сим, огонь с ними, с етими деньгами, лишь ба сами заявилися", - прервала вздыхания крёстная Александра.

Любаша сердито взглянула на Симку:

"И что ты мелешь, тетя Сима? Сама не знаешь".

"Дык, я Любочка, ничаго такого и не говорю. Никто же ничаго ни знать..." - начала оправдываться Симка Темнова, а затем, горестно, жалеючи, поглядев на Любашу, поджала губы.

В белом облаке морозного тумана в хату ввалился мужик крёстной Александры Иван.

- Ну, что, бабы, замолкли? Надо давно было ехать искать, а то, можа валяются где-нибудь на дороге, как чурки замёрзшие. Глядите, как мороз ударил, а ещё вчера было потеплее".

Бабы закричали на него в один голос, чтобы не накликал беды.

- Дык, что же теперя? Что будить, то и будить. Один валенок и отстался, - снова ляпнул Иван.

И продолжил:

"Что вот с дитями будем делать? Куда их девать? Ладно, Любашка почти большая..."

Он посмотрел на сидящую в сторонке Любашу, склонившую голову к коленям и замолчал.

- А ты чаго прилетел спозаранку? Што, под боком свою Шурку не нашёл? - постаралась шуткой увести разговор от тревожной темы Симка Темнова.

Заплакал во сне Виташка, тут же проснулась и средняя Леночка.

Снова хлопнула дверь, и в хату стремительно вошла бабка Фёкла, родная бабушка по отцу. Она сразу стала ругать, причитывая, невестку с сыном:

"Скоко же им было говорено: едять у дорогу, ни грамма ни пейте! Поберегите свои глотки на "потом". А ето, что ж, наверное напился да и свалился у канаву где-нибудь. Бедная скотинушка сама дорожку нашла!"

Бабка Фёкла заплакала.

- Ты, баб, раньше Лазаря не пой! И ребят не пугай! Вот сейчас увиднеет, и я с Петьюшкой-Шнуром поедем на поиски. До станции прямо. Можа оны у Лизухи Грибовой загуляли. А что? Удачно продали сальце и чего ж не выпить на радостях, - Иван рассмеялся.

Как-то смущённо, но уже с какой-то надеждой заулыбались и остальные. Даже бабка Фёкла, утирая кончиком платка глаза, шутливо толкнула Ивана рукой "хватить брехать!", а в сердце Любаши кольнуло радостной искринкой. Когда к хате подъехали сани с Петькой-Шнуром и Васёной-конюхом, зыбкая надежда в душе Любаши взметнулась большой, невмещающейся птицей.

Мужики шумно ввалились в хату и с порога заторопили баб.

- Дайте-ка чего-нибудь согревающего на дорожку, а то помёрзнем как лошадиные котяхи.

- А иде я вам возьму? Ета ж чужая хата. Я откуда знаю, есть у них чаго или нету! - обиженно ответила крёстная Александра.

Любаша, проскочив между кучкующихся мужиков, проворно нырнула в чулан.

Она притащила припрятанную, видать, от отца поллитровку самогонки.

- Вот, молодчина девка! Вот так Любаха! Конечно жа, в хате что-то должно быть: не всё же попили на жарёнке.

Мужики с одобрением закивали, глядя на Любашу, довольно закрытали, стаскивая с рук тёплые рукавицы-голицы.

Выпив по стаканчику, они друг за другом вышли на улицу. Крёстная Александра хотела остановить своего Ивана, но тот не отставал от мужиков и вскоре с улицы донеслось доброе понукивание на лошадь.

За ними стали расходиться и бабы. Бабка Фёкла, задержавшись, спросила:

"Можа, унуча, табе чего подмогнуть? Печку растопить?"

- Я что, сама не умею! - отозвалась Любаша, радуясь наступившему утру и появившейся, воспрянувшей с новой силой, надежде, что "всё будет у порядке", как любит говорить её мамка, Верка Криушина. Любаша затопила печку, принесённым ещё с вечера торфом, и теперь заворожено глядела на багряные язычки пламени, мягким светом и теплом обволакивающие её юную, но уже мучающуюся детскую душу. Сестра Леночка под села к ней, склонив голову со спутанными волосами, сладко пахнувшими чем-то нежным, родным, до земления в груди.

"Ничего, Ленуся, скоро приедут наши. Небось, сидят сейчас у этой Грибихи, песни кричат, частушки орут" - успокаивала себя и сестрёнку Любаша, глядя по волосам Леночку.

Лизка Грибова давно уехала из деревни и теперь жила на станции, с которой деревенские ездили в город, на базар. Всякий раз, они останавливались у этой Лизухи, покормить-напоить лошадь, оставленную здесь на целый день и ждущую их до вечера, а заодно и самим отметить поездку-вылазку в город. Земляки всё же! Случилось однажды, как раз перед "октябрьской", так коротко, по-своему, называли в селе праздник Октябрьской революции, Верка Криушина с бабами собралась на базар. Взяла с собою и Любашу. В село

стали очень редко завозить хлеб, вот и пришлось поехать в город.

Как обычно заехали к Грибихе, оставили у неё лошадь до вечера и бегом - на электричку. В чистый полотняный мешок накидали буханки хлеба под самую завязку. Помимо хлеба, "понакупляли" ещё всякой всячины, чего, конечно, в сельмаге никогда не водилось. Любаша была крепкой девкой, и Верка Кринушина нагрузила её по полной программе. Увешанная котомками, сетками, сумками Любаша гляделась смешной и несуразной, но самой ей было не смешно, а обидно. До слёз. Но что поделаешь? Мамка сама тащила большущий мешок с хлебом. Периодически отдыхая, дошли до электрички. Когда подъехали к своей станции и стали выгружаться, уже совсем смерклось.

Бабы решили заночевать у Лизки. Погода стояла мерзко-пакостная, шёл снег с дождём, под ногами скользкая наледь. Кое-как дотащились до домика Грибихи, благо он стоял недалеко от станции. Подойдя ближе, бабы обнаружили, что в доме нет света, затем увидели на дверях большой амбарный замок.

"Вот так да! А иде ж Лизуха?"

Главное, в загородке Грибовой не было и лошади, на которой бабы должны везти своё "богатство". Они заволновались, запаниковали, а Любашке и Саньке, её ровеснику, сыну соседки тётъ Симы Темновой, стало почему-то смешно и даже весело. Потом же они долго помнили то "ночное веселье-приключение".

Бабы отправились в соседний дом, всё разузнать. Вернулись поникшие, печальные, в руках неся пару детских санок. Оказалось, Лизка не привязала, как следует, лошадь, и та, выйдя из ограды, отправилась неизвестно куда. Сама же, Грибиха ушла в соседнее село на какие-то скоропостижные похороны, ничего не наказав соседке о своих землячках.

Ух, и поорали же эти бабы-землячки! Ух, и поматерили же Грибиху - "гребни её мать! И в хвост, и в гриву".

Соседка предложила бабам ночлег, но они, погрузив на санки мешки с хлебом, остальные сумки связав, перекинули на плечи и назло "етой заразы Грибихи", а скорее, самим себе, тронулись в путь. А путь-то неблизкий, целых двенадцать километров!

Любаша с Санькой тащили гружёные санки по неровной наледи, то и дело отступаясь. Встречная снежная крупа с дождём секла по лицам и рукам. Мешки, привязанные к санкам, всё время норовили сползти. Впряженная в санки Любаша поворачивалась спиной и некоторое время шагала задом, но это было неудобно. Мать пробовала её заменить, волоча санки где по льду, где по не замершей ещё грязи, а Любаша плелась, увешанная сумками сзади, ещё пытаясь подталкивать скрежещущие полозья. Сколько времени они так "шли-ехали" было непонятно, но когда впереди засветилась огнями родная деревня, у необычного обоза будто открылось второе дыхание. Вот тут-то и дали расслабление своим нервам. Бабы хо-

хотали, вспоминая, как ползли друг за другом в тёмной снежной круговерти, как падали мешки, и спотыкались они сами и их дети-помощники, Любаша с Санькой. Откуда только взялась тогда эта новая сила?! Скорее всего, от тревожного, волнующего ожидания всех родных, сидящих сейчас у окошек, не ложившихся спать в теплые постели или на горячие печки до их возвращения.

Уже перед самой деревней, преодолевая невысокий холмик, Любаша с Санькой, счастливые при виде первых хат, вскочили на санки, прямо на мешки с хлебом, и с гиканьем понеслись вниз. И не беда, что некоторые буханки потеряли форму от таких седоков, и матери чуть-чуть поворчали в их адрес, главное, наконец-таки, кончилась эта дорога и теперь они отогреются в уютных хатах, где ещё сохранилось тепло от вечерней протопки железных буржеек, по-местному, грубок.

Долго потом бабы обижались на Лизуху и приезжая в город, на базар, обходили её домик стороной, их бывшее пристанище и отдых.

Но время расплывчато, а людское племя - забывчиво. Снова стали останавливаться у Грибихи, простив ей за угощением и доброй песней тот случай и радуясь, что лошадка-то сама тогда домой пришла.

...Вот и теперь, лошадка-то пришла, а хозяев всё нет и нет.

Любаша подкидывала брикеты торфа в разгорающуюся печку и думала, что надо кормить скотину. В двухведёрном чугуне она большой деревянной толкушкой растолкла оставленную ещё с вечера, сваренную в кожуре картошку, добавила туда миску комбикорма и последнюю банку "обрата" - молочка самой низкой жирности, который мамка до отъезда привезла во фляге с фермы, где работала дояркой. Любаша разделила корм. Одно ведро она приготовила для оставленного, ещё небольшого поросёночка, а другое, наполовину разбавив тёплой водой - для любимой коровушки Зорьки. Гусей решила выпустить на улицу.

"Пусть котяхи лошадиные поклюют - тама много овса, которым кормится уся конюшня".

В это время и заскочил в хату Лешка-Кряж. Его послала мать, будто бы за решетом: в мешке с мукой завелись какие-то букашки. Взяв решето, Лёшка мялся у дверей, не уходил. Ему было интересно, как ведёт себя Любаша, глечет или нет, психует или добрая. Любаша на миг позавидовала Лёшке, что у него все дома. То есть, вся семья его в сборе. В ней шевельнулась какая-то ненависть к "Кряжу", а может, и зависть. Но все эти чувства подавила возникшая вдруг страшная обида позапрошлого лета.

"Ну, чаго топчешься? Получил решето и давай... Нечего тут выматривать!"

Любаша подошла, толкнула Лешку в плечо. Она была с ним одного роста, хотя Лешка учился в восьмом классе, а Любаша в шестом. Он не обиделся, а улыбнулся, открывая дверь:

"А ты молодец! Нюни не распускаешь! Вот увидишь, нынче их мужики привяжут!"

Но несмотря на ободрение Лешки, Любаша вновь содрогнулась от обиды, вспомнив, как её он чуть не утопил.

В то лето жара стояла несусветная. Мужики страдавали на дальнем покосе, а бабы маялись на огромных колхозных полях. Вместе с ними "жарились и пеклись" под палящим июльским солнцем и девки-подростки. Наверно, Верка Криушина больше всех жалела своих дочек, которые также помогали ей на прополке свёклы. Видя, что её девки устали от жары и пыли, и уже кое-как елозят на задницах по бесконечным грядкам, она кричала им:

"Девки! А ну её, к удару, ету свёклу и ету работу! Бягите-ка, скупнитесь у речки. А то тут конца и края не видно".

И девки тут же вскакивали с опостылевших гряд и неслись к своей спасительнице-речке. Только ветер свистел за спиной, и пузырьём надувались девичьи сарафаны. И откуда вдруг он брался в такую жароизбу? Бежали, летели, мечтая только об одном: скорее броситься в прохладное водное чудо! Это была даже не речка. Неширокий, глубокий лишь в нескольких местах - обыкновенный лог, с глинистым дном, отчего вода в нём была не совсем светлая. Но этот лог, называемый Липовским, был единственной усладой и спасением от летнего пекла всей деревенской ребятни. По берегам его росли невысокие ивы, а вот лип, что сообразно его названию, было не видно. Отчего лог прозывался Липовским, никто не знал.

Вот тогда-то, прямо у берега Лёшка-Кряж и схватил Любашу. Хоть и место-то было неглубокое, он опрокинул её в воду и придавил ногой голову. Любаша лежала на дне, вырывалась, Лешка же, уже руками держа под водой её голову, весело орал:

"Глядитя! Я Любку учу нырять!"

А "Любка" уже задыхалась. Лишь на какой-то последней минуте её мучитель разжал и отпустил свои руки. Видать, господь-бог не дал до срока загигнуть юной душе. Лешка гоготал во всю глотку, даже не думая о чуть было случившемся несчастье. Остальные с испугом глядели на посиневшее лицо Любаши.

Она ушла и легла под развесистый куст молодой ивы. Спряталась ото всех. Через узкие узорчатые листочки светило солнышко, как бы приветствуя её и призывая к дальнейшей жизни. Любаша лежала и думала, что же будет с ней когда-то, во взрослой жизни? Кем она станет, счастлива ли будет? И всегда ли солнышко будет беречь и ласкать её?

С тех пор, к удивлению, Любаша полюбила воду, научилась плавать и даже ныряла в самые глубокие "вирки" Липовского лога.

...Четвёртый день со дня отъезда Криушиных выдался ясно-морозным и Любаша, выбежавшая на крыльцо и увидевшая огромное красное солнце на голубом небосклоне, вмиг повеселела.

Накинув фуфайку на плечи, она стрелой летала из сеней во двор,

накормила поросёнка, гусей-курей; натаскала из сарая торфа и только собралась нести поило корове Зорьке, в хату, задом-наперед, вошла соседка бабка Марфута.

- Доча, Любочка, удяли ты мне одну хоть минуточку. - бабка села на табуретку, быстро развязала толстую клетчатую шаль, кинула её на лавку напротив. Любаше стало смешно. Бабка Марфута сидела со взлохмаченной, кудлатой головой и просительно смотрела на неё.

- Ты мне, доча, выстриги етот клубок, которай скатался. Я с им ничего поделать не могу. Ни расчесать башку, ни помыть...

- Баб, ты знаешь на кого сейчас похожа? На своего Дуная.

Бабка Марфута запрокинув голову, закатилась от смеха:

"Ох, точно, Любушка. Виски (волосы) у мне сейчас, как шерсть сосульками у моей собаки. У Дуная. У няго усе бока у етих колтунах. Надо бы узять "бараны" ножницы да обстричь яго, бедного".

Любаша поставила ведро с пойлом, закрыла растворённую бабкой дверь и стала искать расчёску. Она пыталась расчесать бабку, но свалывшиеся в нескольких местах в сплошной комок, давно нечёсаные волосы не давали расчёске никакого продвижения. Бабка ойкала от боли, на глазах её выступили слёзы, и тогда Любаша взяла большие "бараны" ножницы и выстригла неподдающиеся клубки волос. Затем подровняла, расчесала, ещё, на удивление, густую бабкину шевелюру.

- Ты хоть иногда мый свои волосы да расчёсывай. Вон, какая у тебя шапка! Любой молодой позавидует. А то ты, баб, наверное со свадьбы башку не мыла...

Бабка Марфута, крутя облегчённой головой и радуясь, засмеялась:

"Ох, доча, теперя до етой степени я свою головушку не доведу. Теперя буду слядить за собою, как моя невестка Ирка. Она хоть и страшная на морду, а как подкрасится - так урودة и ещё ничего, правда?"

Перед глазами Любаши вмиг заиграла-запела прошлогодня свадьба бабкиного сына Андрея. Андрей привёз эту Ирку по весне из армии. Где служил, там и нашёл. Тогда к ним прибежала бабка Марфута и, чуть не плача, стала жаловаться:

"Ох, Вер! Ты ба толька поглядела, кого он привёз. Она мне руку протягивает, ну ето, знакомиться, а я гляжу на ие, а у самой руки аж трусются. Думаю, молодец, сынок. Долго выбирал, ну и выбрал. Порадовал мамку..."

Мать долго ещё успокаивала бабку. Свадьба всё же состоялась. Летом.

Любаша вспомнила, как они с Зинкой Тереховой плясали барыню на этой свадьбе. Страшно смущались, но топали в такт гармошки, засунув руки в большие карманы ситцевых платышек. Любаша даже осмелилась прокричать частушку:

"А ты, тетя Нина, не хфorsi,  
рот корытом не носи.  
Я тебе советую -  
залепить газетою".

Петь частушки Любашу учила крёстная Александра, и Любаша знала их множество. Но выйдя в круг, частушки повывлетали у неё из головы, а крёстная всё кричала, подбадривала:

"Ну, доча, давай кричи! Ну, хоть про "залепить газетою...""

...Сейчас бабка Марфута забежала кстати. И сама посмеялась и Любашу развеселила. Она нарочно ни словом не обмолвилась о пропавших соседях и только когда уходила, уже у дверей, обняла подбежавшую к ней младшую Леночку и весело сказала:

"Вот чуить моё сердце! Будуть к обеду еты заразы дома, как штык!"

Любаша стояла в тёплом сарае, пропахшем навозом, силосом, распаренной картошкой и бураком, гладила по выпуклому боку корову Зорьку, жадно пьющую из ведра.

"Сейчас уберусь в хате, чтобы, когда мамка с отцом приедут, всё было чисто и красиво".

В хате дружно возились Леночка с Виталиком. Любаша загнала их на печку и с настроением взялась за уборку. Ближе к обеду, она взяла вёдра и коромысло, решив принести свежей водицы. Едва выйдя из своего проулка, ещё ничего не видя и толком не слыша, она каким-то чутьём поняла, что на краю деревни, что-то происходит. Любаша бросила коромысло и пустые вёдра, и опрометью, бросилась вдоль улицы. Сердечко её барабанило с такой силой, что отдавалось в ушах.

У крайней хаты крёстной Александры и дядь Ивана стояли две подводы лошадей, одна из которых была чужая, не деревенская. Как раз на ней стояли в обнимку отец Любашы, Митька Криушин, обутый в чужие валенки, с Лизухой Грибовой. Весёлый шум и гвалт царил в толпе мужиков и баб.

Вдруг, в морозном воздухе, без единого дуновения ветерка взвизгнула, залилась гармошка и Любаша услышала красивый, звонкий голос матери:

"На базаре я была, видеела комедию!

Девка быка целовала, называла Хведею".

"Господи! Спасибо тебе. Пусть хоть какие - только живые!" -

Любаша пыталась вслух произнести эти слова, но ком в горле перехватил дыхание.

Чем ближе она подбегала к толпе, чем слышнее и веселее играла гармошка, тем больше и больше ноги её наливались тяжестью, а вслед ей несся испуганный крик и плач выбежавших, почти раздетых Леночки и мальчика-Виташки:

"Люба, Люба, куда ты? Любочка, не оставляй нас!"

## Счастливый половичок или Поездка тётки на Алтай

Зимним январским вечером собиралась моя тетка в гости, в дальнюю дороженьку - неведомый Алтай, а именно, в город Барнаул. Так далеко она никуда не выезжала, разве что до области, на какой-нибудь семинар по сельскому хозяйству. Тетка была бригадиром полеводческой бригады, к тому же активистка и передовичка и, зачастую, её приглашали на поощрительные мероприятия.

При рождении ей дали имя Марфа, которое она не любила и никогда не вспоминала. В "метриках" же была записана Марией, а, на самом деле, вся деревня звала её Мурой. Мы же, многочисленные племяши, звали "наша тетя Мура".

И вот сейчас наша тетя Мура металась из хаты в сенцы, вспомнив, что забыла положить в приготовленный мешок для гостинцев.

Добрую треть этого мешка занимали толстенные шматы сала - своеобразная визитная карточка наших краев; на лавках стояли приготовленные банки с различным вареньем; в ещё один узел были увязаны разноцветные самотканые половики и постелки (последние служили нам вместо простыней на горячей русской печке). Дверь хаты беспрестанно хлопала, впуская в белых клубках морозного воздуха любознательных соседей. Для всех это было событием, и каждый давал какой-нибудь наказ или совет. Зашел дед Митяй - ветеран ещё Первой мировой войны: вместо одной ноги у него - деревяшка-протез. Откашлявшись, прошел к лавке, ближе к столу.

- Ты, Мур, гляди тама повокуратняя. Будь начеку! А то ведь сама знаешь, как за нашим братом лупают, того гляди и без мешка останешься.

С тетя Мурой жила и наша бабушка. Интересно, что и её звали Марией. Наша бабка Маша. Мало того, её среднюю дочь, а нашу вторую тетку, жившую в райцентре, звали Марусей, а значит, тоже Марией. И лишь одна, младшая из сестер, то есть, наша мамка, имела имя Вера. Уж, Бог знает, что тогда напутали в деревне с "метриками" и именами, но вышло много Марий в одном семействе. Так вот, бабка Маша поспешила к деду Митяю, чтобы угостить его стаканчиком самогонки. Тут же открылась дверь и, запыхавшись, почти влетела в хату Нюрка - Дремиха:

- Ох, баб, а я прямо с хвермы! Подоила и скорейча. Думаю, завтря ведь Мурка уедить, а я не сказала ничего в дорогу. А и где она сама?

Теть Мура вернулась со двора с плетухой торфа, чтобы растопить железную печку, по нашему "грубку". Грубка стояла поближе к входным дверям, самодельные "коленца" - трубы входили в большую русскую печку и таким способом, зимой, ближе к вечеру, отап-

ливалась хата. Нюрка - Дремиха, все ещё запальчиво, обратилась к тетке:

- Мур! Я бегла тебе сказать вот что. По за тот год Анисья ездила к Варьке, ну, дочке своей, на Кубань. И в етом самом, как яго, купе - вагоне, оставила гостинец - зарубленного гусака. Ну, она яго, конечно, подсолила, чтобы довести свеженького мясца.

Ну и положила яго куды-то там, униз. Вот. А сама ночью дала храпака. Чёж, сама знаешь, набегалась за день, ды ещё поезд укачал. Утром подхватила, а гусака - то и нетути. Гусак-то обратно, видать, домой улетел. Ведь скока было остановок? Ночью кто-то и не удержался: прихватил такой-то дилятес (деликатес)! Нюрка звонко хохотала, глядя на спящую туда - сюда тетя Муру.

- А ты, Мур, гусенка повезёшь?

Тетке некогда было слушать эти рассказы, и она, между делом, только кивала головой: "ага", "ага". Но тут недоуменно посмотрела на соседку:

- Ды куды ж я яго? Ты погляди, уже сколько наложила, не знаю, как и допру.

- Мур! А ты уж первачка-то прихвати! Уж без етого дела никак нельзя! Ета, вить, самое главное при устрече. Кык раз наша самогонка, да наше сальцо - первый будет подарок для них.

Нюрка замолчала, поглядывая на бабу Машу, толкущуюся у грубки. Та, видать, поняла этот красноречивый взгляд и поднесла стаканчик вновь загомонившей Нюрке. Усевшись поудобнее на лавке, баба домой не торопилась.

За всем этим я наблюдала с высоты русской печки. Почти всю эту зиму я жила у тетки с бабкой. Пьяный отец гнал меня из дома; как самая старшая, я заступалась за мамку в частых семейных скандалах. Все соседи знали об этом, жалели меня. За глаза обзывали его зверем, всячески ругая, но, в основном уже привыкли к таким "делам" нашей сложной семейки и почти ничему не удивлялись.

Дед Митяй, слушавший Нюрку и всё это время помалкивающий, подошел к печке, поднял косматую седую голову, спросил, не дожидаясь ответа.

- Ты опять, девка, у бабки живешь? Ну дык разве его отец? Волк! Ну ничаво, ты шибко-то не горюй, вырастешь скоро.

Я еле сдержала нахлынувшие слёзы.

Не успел дед выйти, как в хату ворвался Петряня, дядь Петя, муж Нюрки-Дремихи и закричал, не снимая шапку.

- Ты погляди на ие! Дома у хатя ничаво не сделано, а она опретью сюды! Мур, гони её в три шеи!

Нюрка давай оправдываться:

- Дык, Петь, я жа только на минутку забегла! Вон, у самой бабки спроси. Рассказала Мурке про Анисью, помнишь? А ты ведь завтря ие повезешь, да?

- Я-то, я. А ты, давай, дуй домой. Я тебе покажу Анисью! У самой ковра не доена, а она тут расслаживается.

Теть Мура засуетилась, стараясь успокоить, усадить на лавку Петряню. Угостить - отблагодарить заранее. Нюрка же, всё ещё стояла у дверей, теребя полы своего серого, застиранного халата доярки, надетого поверх телогрейки, ожидая благорасположения мужа после угощения и надеясь, что ей тоже, может, "перепадет". Но, дядь Петя был серьёзно рассержен, и бедной бабе пришлось уйти восвояси.

Потом ещё и ещё заходили мужики и бабы, интересовались: "ско-ко дён ехать и что повезешь в гостинцы?" Хата не успевала прог-реться, хоть грубка раскалилась докрасна. Бабка Маша уже стала ворчать, на что теть Мура сказала:

- Ладно, потерпим, скоро уже ночь.

Петряня пересидел всех. Но ему и полагалось: завтра на подво-де повезет тетку на станцию. Гуся резать он тоже отсоветовал:

- Не довезешь, Мур. У поезде жарко, а ехать с пересадкой долго. Хватить им и нашего брянского сала, да и самогоночкой запьют!

Он почти точь-в-точь повторил слова своей Нюрки.

Ближе к полуночи всё было распределено и уложено. В хате, наконец, стала тепло и уютно. Я слезла с печки на пол, возле грубки бросила фуфайку, хотела прилечь, но бабка Маша заругалась, что застыну ночью, и я залезла на высокие перины кровати, что стояла за ткацким станом. Этот стан смастерил мой дед, ещё до войны, и он занимал большую часть хаты. На нём наша теть Мура саморучно ткала длинные половики для "земли" или "моста".

Ещё ткала она разноцветные постелки, конечно, грубоватые, в отличие от настоящих простыней, но не в каждой семье ещё были тогда простыни, и мы, "ребята", грели свои бока на горячих русских печках, застеленных этими жестковатыми постелками. Долгими зим-ними вечерами я слушала равномерное постукивание кросен стана, смотрела на ловкие движения рук моей тетушки, на её, как будто кивающую голову, постоянно склоняющуюся к рваным полоскам различной материи, сотканых затем в красивые узорные половики и постелки.

Теть Мура была еще совсем нестарой и так как работала "на людях", то старалась следить за собой. Она бывала частенько в районе и там не забывала сделать "городскую завивку", а идя на "наряд" в колхозное правление, рано утром, всегда подкрашивала губы. Конечно, для деревни в те годы, это было не совсем обычно. Ткала теть Мура с молодости. Как она сама говаривала, что не вы-лезала из "этой хворобы" с детских годов. Зато и мастерица была большая. Приходилось ткать, забывая и про праздники. Но вот в один из летних религиозных праздников разразилась страшная гро-за. Бабка Маша уговаривала её отойти от стана, но молодая теть Мура продолжала своё ткачество. И вдруг, в приоткрытое окошко влетела "молынья" и ударила тетку в руку. Рука "отнялась", то есть

была парализована, но, видно, Бог всё-таки смилостивился, и через три дня рука отошла, стала действовать.

Больше месяца не подходила моя тётюшка к ткацкому стану. Поселился какой-то страх в её душе, да и потом, уже по праздникам, большим и малым, она не ткала. - Не гневи Бога! - так сама себе говорила.

Рано поутру возле хаты послышался скрип полозьев саней. Тетка была уже одета. На ней был нестарый ещё овчинный тулуп, который был немного длинноват. Голова повязана вкруговую новой шерстяной, коричневой, в клеточку, шалью. Шаль эта, я знала, была подарена теть Муре от колхоза.

Вошел Петряня, внося в хату с собой облако морозного пара, и сразу схватил большущий мешок.

- Ого! Ну ты, Мур, и нагрузилась! Как же будешь переволакивать этот сидор?

Бабка Маша пыталась помочь, но сосед оттолкнул её с возгласом:

- Ну, хоть ты, бабка, не лезь под ноги!

Вынес все узлы сам.

У меня, любившей подольше поспать, куда только сон девался. На душе стало одиноко и тоскливо. Наскоро одевшись, я выскочила на улицу. У хаты стояла подвода, по-нашему, - широкие сани, высланные духмяным сеном. Этот летний аромат сена особенно выделялся и ощущался среди утреннего, зимнего морозного воздуха. В сани был запряжен Рыжик, заиндевевший с мороза. На этом самом Рыжике мы с теткой, совсем недавно, ездили на престольный праздник - Николу зимнего - в соседнюю деревню к родственникам. И я вспомнила, как быстро мы неслись обратно. Теть Мура, подвыпившая, очень весёлая, громко понукала коня и при этом "кричала песняка".

Ну и я, пятнадцатилетняя девчонка, заряженная её весельем, этой звездной, чёрной ночью, с мимо пролетающими тихими хатками, тоже запела "во всю ивановскую":

"Я песней, как ветром, наполню страну,

О том, как товарищ, пошел на войну..." - при этом стужа обжигала горло...

Наконец-то погрузились; теть Мура уселась среди мешков - узлов. Обложила себя со всех сторон сеном (до станции не очень близко, целых двенадцать километров), и застоявшийся Рыжик резко потрусил по ещё спящей улице. Редко-редко где, вспыхивали ярким светом, замутненные снежным инеем окна. И в самых первых проснувшихся хатах, от труб, стал подниматься сладкий, теплящий душу дымок.

Я долго смотрела вслед удаляющейся подводе. Вот уже и скрылась из виду наша путешественница и её возница, а я всё смотрела и смотрела. На глазах моих застыли слёзы. Наверное, я бы и ещё стояла, пока бабка Маша не загнала меня в хату.

...Гостила тетя Мура у далекой родни больше двух недель.

Мы с бабушкой Машей уже забеспокоились, ведь от тетки не было ни слуху ни духу. В то время, по нашим деревенским понятиям, отбить телеграмму - только деньги тратить. И моя бабушка, опершись по утрам на ухват у разгорающейся печки, печально вздыхала, роняла вроде укорные, но не злые слова:

"Занёс же змей её куды-то! Отговаривала же я ие, дык уперлась, как чёрт рогатай, поеду - и вся недолга!"

Но, слава Богу, в один из дней, где-то уже после обеда, к нам в хату влетели запыхавшиеся мои подружки с радостной вестью:

"Баб Маша! Ваша тетя Мура приехала на председателевой машине! Сейчас ихний Юрик подкинеть её сюды на лошади".

Я, почти раздетая, выскочила в сени, а тетя Мура, с сумками напелес, уже шла мне навстречу. Повязанная всё той же шалью, она казалась совсем другой, какой-то таинственной и незнакомой. Лицо её было весёлое и помолодевшее, видать эти гостевые дни городской жизни пошли ей на пользу. Навезла она много одежды, пусть и поношенной, но ещё довольно приличной. Как же я была счастлива, когда она достала из объёмистой сумки настоящие кожаные полусапожки:

- Это, Люб, тебе!

Я никогда не носила подобной обуви, кроме валенок по зиме, да литых резиновых сапог в весеннее половодье. С наступлением первого тепла мы уже всю бегали босыми, разутые. И как же я была несчастна (скажу, забегая вперед), когда на другую зиму, опять же переживая у тетки с бабушкой очередные гонения пьяного отца, я оставила на ночь у грубки свои любимые полусапожки просушиться, а встав утром, с ужасом увидела скрюченные от жары, уже никак не пригодные к носке, обулки.

Долго уговаривали меня и родные, и забегавшие соседи, но велико было детское горе.

...И опять двери нашей хаты поминутно хлопали, теперь уже всем хотелось узнать, порасспросить, как съездила, чего увидела моя дорогая тетя Мура.

И опять она, уже в который раз начинала свой пересказ. Этот рассказ, грустный и комичный одновременно, я передаю точно её словами!

"Доехала я, девочка, (это её любимое обращение - присказка, хоть к одному лицу, хоть к целому сборищу) уроде бы нормальна. Толька вот эти пересадки у Брянску, у Москве, огонь ба жаркай их спалил, были крепко неловки. Нет, чтоба сделать сразу поезд до етого Барнавула, дык нет...

Ну вот, ета, значить, пересадка у Москве. Ох, девочка, горе с етим ихним мятром. Я жа с сумками, ды ище мяшок, а иттить нада через узкие такие воротца. Я стояла, стояла у сторонки: кумекала, как жа мне пролезть с моим "приданым".

Ну, думаю, сейчас народ схлынуть - тады пойду. А етот народ, девочка моя, преть и преть, и нету ни конца, ни краю. Тогда ж я усё - таки, додумалась, подхожу к бабе у хворме, которая стояла у края етых ворот и говорю:

- Девочка моя, дык как жа мне пройтить туда, чтоба попасть на другой вокзал. Я ж никак не пережду, а поезд, вить, ждять мне не будить. Уедеть - не дай Бог!

Эта женщина скосила на мне глаза из-под хвуражки:

- Какая я вам девочка? И вообще, вы что, первый раз Москву видите?

Я ей отвечаю:

- Ну, а какой жа? Иде я вашу Москву видала? Толька по радиву и слыхивала!

Она тогда говорить:

- Проходи, бабка, вот здесь с краю, за мной!

Ну, думаю, я б тебе бабку показала! ды ты ещё даже старше мне будешь!

Толька, зараза, уся раскрашенная. Ну, девочка, кое-как добралась до етой лестницы - чудесницы, правда, чуть не повалилась, но люди добрые хоть и посмеялись надо мной, подмогли.

Села я, бабы, у поезд. Рада без памяти. Ну, и полутчики ничаво попалися. Хорошие. Один военной ехал, ну можа, моих годов, с сыном. И ещё две девки молодые, Я их как угостила самогонкой да сальцем, оны такие сразу весёлые и добрые стали.

Всё допытывались: почему мне Муркой зовуть. Смеялись, что имя-то блатное. Вот так весело я и ехала до етого Барнаула. Люди добрые и тут мне помогли, выпихнули из поезда кое-как, со всем моим скарбом.

Ну, думаю, типеря, счас, достану адрест и буду спрашивать, как добираться. Етот адрест лежал у мне в узелке уместе с деньгами. достала я узелок, развязала, слава Богу, усё на месте, а денюжки за долгую дорогу уже так слежались, что я испужалась: порвутся ещё. А приехали мы, уже поихнему, бы четыре часа дня. Я с етой бумажкой - адрестом к милиционеру, ён жа должен усё знать. Ён мне объяснил, что надо ехать почти на другой конец города, в какой-то микроён. Говорить: едь, тетка, вот етим автобусом, потом выйдешь через пять остановок, сядешь на другой; ён мне номер другого автобуса записал на мой адрест. А там будить етот микроён. Называется "Пустохино". Ну, я думаю, теперя доберуся. У нас и хвамия тьякая есть у деревни - Пустохины".

- Бабы, а Тоньки Пустохиной тут нет, - чуть отвлекалась тетя Мура - и тут же продолжала свой рассказ:

"Ну, ето Пустохино я без тебе, милая, запомню. И покатила. Ох, девочка моя, ехала долго. Опять люди добрые помогали мне пересаживаться. И вот вытолкнули мне на етой самой нужной остановки. Поставила я свою ношу на зямлю. Уже смеркаться

стало. Ну, думаю, типеря нада етот дом и вулицу спросить, иде Хроська наша живеть. А стоять высоченные, дажа и не знаю скоко етих етажей, и микроён, видать, очень большой. Да, милая моя девочка, я сов-сов руку у карман, за адресом, а там ничаво нету. Думую, обратно у узялок я яго не завязывала, ды иде жа ён? Я опять давай шарить по карманам, господи, нетути, как провалился! Я достала етот узел свой - денюшки лежать, а етой белой бумажки-адреса - нету! Ну, что жа делать, господи!? Хоть рёвущком реви, стою как толкушка глумная, ничаво уже не соображаю. Вот тебе и доехала, вот тебе и ето Пустохино. Хотела Хроське сюрприз сделать, не сообщила о приезде, вот и сделала. Матушки мои родные! Наверное с этими пересадками и где-то уронила адрес. Стою, не знаю, что делать! Тут ко мне какой-то дядька подходит, видать, по моей морде понял, что у мене горе. Я яму усё рассказала. Он говорить мне: да, найти будет очень сложно. Ну, если, завтра с утра в адресный стол обратиться - тогда вам помогут.

А какое завтра? Иде я буду ночь околачиваться? А мороз стоить страшной. Ладно, я хуть у валенках и полушубку. Дядька посоветовал иттить у гостиницу. Нет, думую, там такие деньги сдяруть. А я попробую-ка спросить у людей, можа, хто и знаить Хроську, вить, хвамилиа у ниё ни алтайская, а наша - брянская. И потопала я, девочка моя, от дому к дому. Спрашиваю у людей - удивляются: разве можно тут найти только по одной хвамилии, это ведь не деревня. Ох, слава Богу, что у мене руки к тяжести привычные, скока пудов усякого добра перенесла, ну и то, чувствую, что уже боле нету мочи эти подарки свои таскать. А на вулице усё темнеить и темнеить. Ох, подойду к высоченному дому опять, оставлю свои мешки покараулить с ребятами какими-нибудь, а сама у подъезды и давай названивать по квартирам.

Ну должен же хоть ктой-то знать Хроськину хвамилию! Нет, ништо, ничаво ни знаить, токо усе удивляются.

А я уже уся сырая, несмотря на мороз. До того упрела уся, до того вымоталася, по етим подъездам, что уже и не знаю как.

Ну, думую, хошь не хошь - а надо искать ету гостиницу ихнюю. Сказали мне, как до неё дойти.

Ох, братцы мои, шла - шла, пристала боле некуда, уморилася. Решила посидеть, отдохнуть на скамейке. Уже совсем стемнелося. Тут подбегаить ко мне какой-то малай (мальчик).

- Что, бабуля, устала?

- Ах ты, милай ты мой, пожалел мне у етом чужом краю. Я, девочка, тут и заревела. Слёзы бягуть и бягуть. Думую, вот, Мурка, заехала у даль ету, что ба тут - то и замёрзнуть. Отдохнула я чуточку, и решила последний раз попытать счастья.

Попросила етого малого постеречь моё добро, а сама поплелась у крайняй подъезд. Думую, поднимуся повыше, а что етот лихт

существует, я вить, не знала. Поднялася пяхком, не знаю дажа на какой итаж хватило силы. Матушки мои роднинькие!

Опять ни то и ни то! Ну, типеря надо у гостиницу скорейча.

Ночь блудить мне стало страшно, и вот спускаюся я униз, гляжу сабе под ноги, совсем уже оглумела, ничаво не соображаю. Иду я, значить, иду, и удруг: что ето такойча? У дверей какой-то квартиры ляжить мой половик! Я, бабы, аж испугалася, думала, что уже блазнить, с головой чтой-то случилось. Остановилася. Гляжу на етот половичок. Батюшки! Дык мой жа! Дык неужель? Нет, точно, мой! Я ж знаю и помню назубок каждой лоскуток, каждую ленточку, каждой шовчик. Я, вить, высылала етот половик Хроське у посылке! Помню, выбирала ещё самые красивые половики, что наткала специально для родни. Тут я нагнулася, узяла у руки свою ету работу, прижала к мокрому от слез щекам. Сердце бьется, аж задыхаюся! На звонок дажа давить не стала, а так, торкнулася прямо у дверь, то ли руками, то ли головой стукнулася - дажа и не помню. Дверь раскрылася: стоишь мужчина. У мене сердца оборвалося. Говорю:

- А, Хрося...

И не успела договорить, как вылетаит наша Хрося - "черви у носе" и как закричить:

- Мурка, неужель ты, откуда!?

Ты, говорить, чиво - одна и без ничего? Тут я чуть-чуть опомнилася, проговорила, что вещи на вулице стоять. Мужик ённый сразу понёсся униз, за моей поклажай. А у мене ноги ватные, чуть не повисла на Хроське.

Ну, тут уже, девочка, я усех богов усомнила, так была им благодарна. Прямо и не верилось, что такое может получиться. Ни зря я ети половики да постелки целыми зимами ткала, вот Бог, наверное, и пожалел мене за мой труд.

Ну, а потом, братцы мои, был уже такой праздник, тыкая радость, что николи не забуду. Две недели они мене угощали: чем только ни кормили, ни поили. Не знали, куды посадить.

Вот так то моя домотканая дорожка, половик привела мене куды надо, к моей родне".

...Чуть устав от своего рассказа, тетя Мура, охнув, вздыхала: "Ду-мала, бабы, вот расскажу - не поверите!".

- Ды, что ты, Мур, у жизни усякое бываитъ, бываитъ и похлеще!

Бабы, тоже переведшие дух, уже радостно улыбались от счастливой развязки соседкиного путешествия и, потихоньку, одна за другой, начинали расходиться по домам.

Но долго еще, каждый вечер, кто-нибудь да и заглядывал в нашу хату, и тетя Мура, отложив свои дела, садилася на лавку с готовностью вновь начать, самой ей нравившийся рассказ, спрашивала: "А что, тебе я ище рассказывала? Ну, тоды, девочка моя, слухай!"

## "Баня" В святку (ИЗПРАЗДНИКОВДЕТСТВА)

**В** этот год я, как-то, быстро повзрослела и "заневестилась". Так сказала моя мамка. Я часто рассматривала себя в зеркало и казалась себе самой какой-то загадочной и необычайно интересной.

"Мимо зеркала ни пройти, чтобы не поглядеться" - улыбалась мамка, покачивая головой, - Ето ещё хорошо, а уремя придить, что у ето зеркало и не заглянешь, потому как, совсем другое обличье станишь у человека.

"Што жа природа вытворять с нами?! - вздыхала она - и ничего тут ни поделаешь!"

Но мне, пятнадцатилетней, была тогда непонятна грусть-печаль мамки. Казалось, она всегда была такой, а я навечно останусь юной и красивой. Ещё год назад, на Святую, как у нас называют Пасху, я вприпрыжку бегала по улице в новом ситцевом платьишке. Из-под босых ног комьями разлеталась не везде просохшая грязь, и я никого из ребят не замечала, да и они смотрели на меня как на совсем "зелёного" несмышлёныша. Главное, у меня было платье с большими карманами, из-за которых так горько ревела моя младшая сестрёнка Тосечка. У неё тоже было новое платье. Мать специально ездила в город за обновками, но откуда же ей было знать и примечать, что у Тосечкиного платьица кармашки оказались намного меньше. А это значило, что на Святую у неё будет меньше яичек, которыми нас угощали, да ещё мы сами "бились" ими, выигрывая друг у друга. Счастье, у кого окажется крепкое, будто железное яйцо, "биток", что побьёт другие "крашенки" и с носика, и с жопки. Я, как могла, успокаивала сестру, даже вложила в её подол несколько яичек, выигранных моим "битком", и Тосечка враз повеселела. У всех девок на этот праздник были обновы. Кое-кто уже щеголял в новых тувельках, или танкетках (босоножках).

У нас с Тосечкой тоже имелась обувь, но мы берегли её, ждали, когда лучше подсохнет земля и пока носились босиком. Разутые и раскрытые, то есть без платков. Хватит, наносились тяжёлых шерстяных шалей за длинную зиму, и теперь ласковое апрельское солнышко грело наши детские головы. На Красную Горку или "Отда-нье Пасхе" мы катали с зелёных холмов - "горок" крашеные яйца. У нас их красят и на этот праздник, спустя неделю после Пасхи. И со мною рядом, постоянно, почему-то оказывался Колька Васнецов. Он был старше меня на два года. То он приставал ко мне, просил биться с его "битком", то вдруг совал в руку тонюсенький, только что выросший пучок дикого чеснока. Мне было и волнуяще-приятно его внимание и, в то же время, какая-то стыдливость враз окатывала с ног до головы. Другие "ребята" подтрунивали над ним, и Коль-

ка начинал злиться. Вечером, играя в классики на вытоптанной площадке, мне приходилось от Кольки терпеть обиды. Когда я прыгала по расчерченным квадратикам, он выбивал из-под моих ног жестяную плоскую баночку из-под ваксы, набитую для тяжести землёй. Я злилась до слёз и не могла понять его переменчивого настроения и поведения. Но где-то, глубоко-глубоко, своим сердечком, я уже чувствовала его неравнодушие ко мне. Первое мальчишеское чувство. Может быть, ещё не осознанное этим же Колькой, даже непонятное ему самому, но такое трепетно-сладкое, такое противоречивое и загадочное, так рвущееся наружу из взрослеющей юношеской души.

На Троицу, на зелёной поляне, в окружении молодых тонких берёзок, устраивались игры. Мальчишек всегда было намного меньше. Оставались самые смелые, чуть нахальные, да те, кто уже имел свой скрытый "антирес" к кому-нибудь из девок. Крутился здесь и Колька Васнецов. "Девкам" было лет по двенадцать-пятнадцать. Мы становились в шеренгу, взявшись за руки. Напротив нас, таким же "макаром" стояли "ребяты".

Игра называлась "Бояре". Одна из тех далёких старинных оставшихся хороводных игр, в которую играли ещё наши бабушки и деды.

И вот мальчишки, они ж "бояре", идут к нам, "девкам", напевая:

"Мы - бояре, мы - бояре, а мы к вам пришли - затем, отходя назад, допевают: "молодыя, богатая, а мы к вам пришли..."

Теперь мы "девки", идём к ним:

"Вы - бояре, вы - бояре, вы зачем пришли? - и также отступая назад... : "Красивые, кудрявые, вы зачем пришли?"

"Ребята" вновь идут к "девкам":

"Мы - бояре, мы - бояре, мы невесту выбирать!"

"Девки" спрашивают, нараспев:

"А, бояре, а, бояре, вам какая мила?"

"Бояре" называют имя. "Девки" ту не отпускают, а "бояре" стараются перетянуть её на свою сторону. Эта борьба - потягаловка продолжалась иногда довольно долго. И так до последнего девичьего имени, если хватало терпения. Но, обычно не доигрывали до конца, надоедало, начинали новую игру "Ручеёк", а затем бегали по поляне, рвали липкие, бордовые "дехтярки", ромашки с крупными лепестками, будто бы, это были не полевые "дикие" цветы, а выросшие в культурных условиях, в саду-огороде; собирали ярко-малиновые "часики" и нежные лазоревые незабудки.

Домой возвращались перед самым вечером, набегавшиеся, чуть усталые, пропахшие ароматом свежих летних трав, прогретые ласковым солнышком, неся в руках благоухающие букеты. Праздничная улица, каждая хата которой была утыкана берёзовыми ветками, оттого, наверно, Троица у нас и называлась ещё Днём берёзки, встречала нас грустной раздольной песней догуливающих свой праздник родителей.

Я глубоко вдыхала настоящий за летний жаркий денёк "берёзовый" воздух и ловила на мысли, что откладываю свои впечатления в дальний уголок памяти, жизненную копилку, чтобы когда-нибудь вновь вспомнить и ощутить неповторимые мгновенья, на миг вернуть себя в своё ушедшее детство. Быть может, именно эти солнечные дни уже стояли в преддверии моей взрослой жизни. Недаром же, вскоре, взрослые девки стали принимать меня в свою компанию, доверяя секреты и сокровенные тайны.

А на Духов день, когда земля-именинница, наши родители бросали всю работу и собирались "у складчину". Несли с собой по пол-литра самогонки, а кто знал, что этого будет маловато - прихватывали и "две пол-литры", заворачивали в газету приличный шмат сала и десяток яиц. Гуляли у кого-нибудь в хате. Мы же, детвора, не отставали от взрослых и также, сбросившись по несколько яичек да надёргав в огороде раннего, зелёного лучка, устраивали свой праздник. Вместо самогонки у нас был квас. У моей мамки он получался отменным и, поэтому, я заранее её подговаривала ставить его побольше. Мать спрашивала:

"Девки, а у кого ж вы собираетесь?"

- Да у Васяниных. У сенцах. Тама у них просторна и прохладна.

Кроме "фирменного" летнего деревенского блюда, то есть, "яиш-ни с квасом", на нашем столе неизменно красовались банки с солянкой из квашеной или свежей капусты, купленные в сельском магазине. Ведь, у каждого в погребе стояли целые кадушки квашеной капусты с яблоками, грушами, а, вот, поди ж ты, "городская солянка", да если ещё и с грибами, нравилась нам больше.

Но и действительно, в томатно-золотистой заливке, она была отменно-вкусной. На праздничной складчине забывались все детские распри. Пообедав горячей яичницей, которая прямо со сковороды опрокидывалась в большие миски с квасом, при этом никто не "гребовал" плавающим сверху жиром, и отведав румяной картошки с солянкой, мы начинали "кумиться". Моей "кумой" всегда была Танька Крашина. Я обменивалась с ней бордовой лентою, которую очень любила и втайне мечтала, что и у неё будет лента такого же цвета. Но у Таньки, черноволосой, с глазами-углями, всегда оказывалась белая капроновая лента. После "кумовления" мы бежали за деревню, в недалёкий перелесок "Три чаша", хоронить "кукушку". "Кукушка" была самодельной деревянной куклой, заматанной в пёстрое тряпье, которого было не жалко. Не жалко и самой кукушки, которую мы закапывали "у ямку" где-нибудь под берёзкой. Что интересно, когда в следующий раз, мы старались отыскать ту, старую "кукушку", нам это никогда не удавалось. Куда она девалась? Неужели кто-то выкапывал её? Мы поглядывали друг на друга в каком-то загадочном непонимании, и нам нравилась эта, почти мистическая, необъяснимость. Нам самим хотелось чуда, удивления, необычности случая.

По осени, отметив в торжественной обстановке серьёзный праздник - день Седьмого ноября - у нас же, коротко называемый "октябской", и получив в подставленные ладошки подарки: горсть конфет и несколько пряников из школьного буфета, непередаваемый, свежий, приятный вкус которых запомнился на всю жизнь - мы все с нетерпением ждали Нового Года.

В нашей хате всегда была высоченная ёлка под потолок, и как только отец умудрялся её дотаскивать?! Ёлочных игрушек до обидного было мало, и мы украшали лесную гостью вырезанными бумажными фигурками: снежинками-фонариками, развешивали на ней "конхветы" - заворачивали в блестящие, золотистые "хвантики" (фантики) от настоящих конфет обыкновенные кусочки хлеба и кубики нарезанной сырой картохи - получалась праздничная нарядная ёлка; Все уголки хаты заполнялись запахом свежей морозной хвои. Хорош был праздник Новый Год, но впереди ждали незабываемые Святки. С рождества по самое Крещение у нас играли в "Баню". У кого я ни интересовалась, откуда взялось такое странное название этой святочной игры, никто толком мне не смог ответить. Одни говорили, что "мога етто от того, что крепко жарко бувайт, когда усе набьются у одну хату играть у ету "Баню"; другие же намекали, что раньше такие игры играли в банях, а не в хатах. И, только став старше, я вычитала, что по старинным преданиям, в Святки, у славянских народов, в поселениях, баня была самым загадочным, самым тайным и жутким местом. В святочное время в ней пряталось всё нечестивое племя: ведьмы, лешие, колдуны, вурдалаки - весь нечистый дух. И вот, люди старались изгнать всю эту нечисть, очистить помещение и устраивали в банях весёлые игры с переодеванием, гулянья со старинными присказками, добрыми песнями, целомудренными поцелуями.

"Цалуй в уста,

Пока ночь густа!"

Ну уж не знаю, какие раньше бани были у моих земляков, на моё же детство "пришлась" всего одна - разьединственная, колхозная, общественная баня, стоявшая на довольно почтительном расстоянии от села. Ходить в баню было настоящим праздником. Так как в летнюю страду никак нельзя было оторваться от нескончаемой работы, и все ополаскивались в небольшой речушке, зимою, целыми семьями отправлялись на сладостное телесное очищение. Баня, как положено, имела два отделения, мужское и женское. В густом пару, едва различались моющиеся и, чтобы влезть на полок, нужно было тщательно всматриваться в молочную белизну. Я бы не вылезала из этой благословенной бани, так мне нравилась "парно-влажная" атмосфера. Нравилось разбавлять кипяток из другого крана, окуная разгорячённое лицо в тазик с прохладной водой и счастливо улыбаться, глядя на голых соседок, весело кричащих друг дружке сквозь плеск воды, звон

алюминиевых шаек-тазов всякие шутки-прибаутки, где-то даже дерзкие, но, всё равно, не обидные.

Шампунь тогда был большой редкостью, и главным атрибутом мытья было хозяйственное и "духовое" (туалетное) мыло да различные мочалки, кое у кого из баб заменённые просто намыленными лифчиками. Матери надраивали головы своим многочисленным "дитям", те в рядок стояли с пенными шапками волос в терпеливом ожидании, когда тёплая вода окатит их с головы до пят. Я, однажды, умудрилась и захватила с собою горсточку стирального порошка "Лотос", благо, эта новинка в то время уже дошла и до нашей деревни. В клубах парного воздуха я незаметно, быстренько высыпала в таз порошок и опустила в него свои длинные волосы, "виски". И вот, когда я сполоснула свои "виски", они у меня с треском разлетелись в разные стороны. Как я не старалась собрать их в пучок, наэлектризованные, они стояли у меня торчком. Зато на ощупь были чистые, невесомые, даже "скрипучие". И не ощущались на моей голове. Как же легко потом шагалось в зимней морозной ночи! Душа пела и счастливой птицей взлетала к ярким далёким звёздам в чёрном небе. Месяц освещал проторенную бульдозером снежную дорогу, искрящуюся под ним.

Придя домой, расслабленные и чуть притомлённые приятной усталостью, взрослые были спокойны и добры, заботливы и нежны, чего в другое время никак не удавалось "выкроить" и дарить друг другу. Но недолго простояла наша банька. Требуемый ремонт был запущен, а затем в неё, стоявшую в отдалении, стала залезать местная ребятня, устраивая всякие игры-войны, атаки и захваты. И от единственной баньки - ублажительницы остались одни стены да погнутые ржавые трубы. И снова мылись-купались мужики и бабы в своих тазах-корытах, лишь поверхностно снимая рабочий пот. Мы с подружкой Танькой, идя из школы, частенько делали приличный крюк и заворачивали к развалинам бани. Грустно глядели на то, что от неё оставалось.

Почему-то, не было заведено у нас иметь собственную баню, хотя жили-то в лесном краю. Да уж, что говорить про баню, если даже, поначалу, не у каждой хаты было приспособленное отхожее место. То бишь, уборная. Лишь кое у кого стояла маленькая дощатая будка в углу сада или же лепилась к какому-нибудь сараю во дворе. А так, везде и повсеместно, бегали деревенские справлять нужду "на двор", правда, в зимние холода "ходили на ведро", стоявшее в сенцах. Не в обиду будет сказано, но, наверное, всё-таки, наши мужики были недостаточно трудолюбивы. Неужели так уж сложно состругать из горбыля необходимую уборную или срубить из сосёнок ближнего леса мало-мальскую баньку?! У бедных баб забот полон рот, да детишек хоровод, да огромный огород, и ревёт домашний скот - все ждут женский уход.

Но эта баня - совсем другая баня. Мы же с Танькой с нетерпением

ем ждали "Баню" в Святки. В прошлом году мы отважились и пошли на игрища, в "Баню", которая в тот раз собиралась у Сычёвых, да так и простояли обиженными, никто на нас не обратил никакого внимания.

"Не доросли ещё" - усмехаясь, бросил в наш адрес Толик Уси-ков.

Засмеялись и остальные. Но за этот год мы "доросли", и я надеялась на что-то волнующе новое, интересное.

Первая "Баня" собиралась у Гальки Озеровой, в хате, так как естественной бани у них также не было, как и у всех остальных.

Как никогда, я страшно волновалась. Когда за мной зашла Танька, я всё ещё крутилась перед зеркалом, то распуская свои "виски", то схватывая их резинкой в "хвостик".

- Ну вот, хотели ж первыми прийти! А ты всё капаешься. Теперь усе места займут и будем стоять, как две дурочки, - с укором сказала подружка.

Тут уж я поторопилась, накинув на голову с высоко-поднятым "конским хвостом" красивый, в алых маках полшальник. Около крыльца Озеровых валялся веник-голик, которым сбивали снег с валенок, и дядь Витя, отец Гальки, заулыбался, встречая нас:

"Ну, вот и молодые подросли. Идите, девки, у хату, а мы с матерью сичас уйдём к Климихе на посиделки".

Мы оказались уже не первыми. В жарко натопленной на ночь хате почти все лавки были заняты. Я встала сбоку у двери, не решаясь пройти через всю комнату - "зал". Танька же, проскочила на свободную табуретку. Девки и ребята всё подходили и подходили. Усаживались, тесня друг дружку. Старшие Озеровы полностью убрались по хозяйству и ушли на посиделки, оставив хату в полное распоряжение играющим. Водилой в "Бане" была Анька Вавилова. Боевая девка, невысокого росточка, она была всего на два года старше нас с Танькой, но вела себя "по-взрослому" уже давно, и многие девки заискивали перед ней. Неизменным атрибутом водилы всегда был широкий солдатский ремень. С блестящей, тяжёлой бляшкой. Не дай бог, попадёт этой железякой по руке, при игре в "Марки", или по колену, когда играют в эти самые "Коленки". Заносчивая, курносая, стриженная под "малого", Анька кричит, что сначала будем играть в "Марки". Гордо расхаживая по "залу", размахивая ремнём, она выбирает трёх ребят, и те встают у самой двери. Мне невольно приходится оттесниться, и я бочком пристраиваюсь к тёплому боку белёной русской печки. Каждый из ребят должен на ушко водиле назвать имя понравившейся девки. Анька звонко выкрикивает три девичьих имени, при этом, если среди играющих есть две Вальки или три Надьки - для различия добавляется ещё и фамилия, а то и прозвище-дразнилка девки. Названные подходят к ребятам, и каждая должна догадаться, кто же её вызвал-выбрал? А, пока, они, растерянные меняются местами, Анька спрашивает у каж-

дого "малого": сколько дать марок той или иной девке. Она с наслаждением лупит по подставленным девичьим ладоням, отсчитывая "марки". Но, как правило, ребята жалеют своих избранниц и не дают Аньке разойтись восточной. Так продолжается до тех пор, пока каждая девка не встанет правильно. Вот тут-то и начинается самое главное и забавное. Угадавшие своих ребят девки теперь должны поцеловать их. Поцеловать столько раз, сколько было "Марок" и сколько ещё пожелает "малай". Девки мнутса, стыдятся, пунцовые от смущения, не глядя, чмокают "кавалера" куда-нибудь в щёчку, но водила с ремнём и тут "блюдёт" порядок. Она кричит:

"чтоба ни мухлевали и цулувались толька у губы!"

А иначе ремень опять защёлкает по рукам, плечам, головам. В хате шуму, смеху - до потолка. Девки уворачиваются, ребята зажимают их, стараясь сами поцеловать. Наконец, возбуждённые, расстрёпанные девки успокаиваются, под платки "убирают свои виски" и остаются стоять у двери. Теперь они шёпотом называют имена ребят. Водила - Анька с ещё большим усердием бьёт по мальчишеским ладоням, пока ребята с воплями, смехом, нарочитыми угрозами толкуются у двери, угадывая свою девку. И снова - самая ожидаемая сцена. Поцелуи. Самые первые, самые запоминающиеся. Ещё детские, но уже с таким близким посулом во взрослую жизнь. Конечно, девки стесняются и больше, чем один-два поцелуя не назначают. Но "ребята" уже сами проявляют инициативу и крутят-вертят девкам головы, "чтоба попасть прямо у губы!" "Марки" продолжались довольно долго. Когда начиналось повторение, то есть, вызывали одних и тех же, среди остальных, невызванных, невоображаемых поднимался недовольный ропоток обиды и разочарования, раздавались крики, что надо играть в новую игру.

Следующая игра называлась "Коленки". Полукругом или кругом, если много играющих, рассаживаются ребята. У каждого из них на коленках сидит девка и лишь у одного - коленки свободные. Анька со своим злосчастным ремнём стоит посерединке и, "стрепляя" озорными глазками, похлопывает легонечко себя им по ладошке. "Обделённый малай" громко выкрикивает имя понравившейся ему девки, и та должна быстрёхонкой примчаться к нему на колени. Благо, если она сидит где-то рядышком, а если же на противоположной стороне, то ей, бедняге, крепко достанется! Пока она будет перебежать к вызвавшему её, водила успеет "достать" своим ремнём, попадая куда угодно. Да если бы это был только один удар! У опытного, жестокосердного водилы игрок получал, ох, какие "причастия"! И уж не позавидуешь симпатяге - девке, если она нравится многим ребятам, и её имя чаще других выкрикивается в "Коленках". Она носится от одного к другому, а водила снова и снова "ласкает" её ремнём. После такой пробежки оставались даже синяки. Хотя, конечно, девичье самолюбие всё-таки польщено и, может быть, эта первая боль уже осознанно приносится в жертву своей особеннос-



ти и выделяемости среди подружек. В заключение все опять целуются.

Мне было до глубины души обидно, что в этот вечер меня никто не вызвал к двери, играя в "Марки", да и на мальчишеских коленках мне в этот раз не хватило места. Даже Танька раза два выбегала на своё имя. Я же, не показывая вида, также залиристо-громко смеялась, будто захваченная общим азартом игры, но моей маленькой оскорблённой душе было тесно и неинтересно в этом шумном, весёлом сборище. Я уже собралась незаметно уйти и подошла к кровати, на которую огромным ворохом были набросаны наши "польты", фуфайки, полушубки. Копаясь в этой куче, отыскивая своё пальтецо, я вдруг страшно заволновалась. Краснощёкий с мороза, в распахнутой тёплой куртке и с шапкой-ушанкой в руках, в хату влетел Колька Васнецов. Он с размаху кинул шапку в общую кучу, сдёрнул с плеч куртку и тут заметил меня, мнущуюся у кровати. В груди моей слабо-слабо защемило, а лицо захлестнула горячая волна краски.

- Ты што, уже уходишь? - быстро спросил он меня.

- "Баня" уже кончается. Остались толька хванты" - ответила я, как-то сдавленно, чувствуя предательские слёзы в горле.

Стало почему-то так стыдно. "Краснею, как дура!" - пронеслось в голове, а проклятая краска уже жгла не только лицо, но и уши, и шею. Колька засмутился, скорее всего за такой мой видок и тут же, Анька откинула в сторону свой "рабочий инструмент" - ремень, схватив Кольку за руку, потащила его в центр зала. Начинили играть в "Фанты". Аньке, по всему, надоело быть водилой, и она решила поиграть сама. Тем более, в этой игре ремень не был нужен. Колька что-то кричал, упирался, но ребята уже поставили его на середину круга, а Анька, бегом, стала собирать "хванты". У девок находились какие-нибудь ленточки-заколочки, платочки, дешёвые колечки и серёжки, а ребята отдавали ножики, спички, варежки или шарфы.

Будто не заметив меня, Анька Вавилова прошмыгнула мимо. Колька повернулся к Аньке спиной, и началась игра.

- А што етому хвантику делать? - спрашивала Анька у Кольки, держа в руках, чью-либо вещицу.

Я уже направилась к двери, когда среди общей неразберихи, гомона и смеха расслышала, как Колька громко крикнул:

"А етому хванту поцулваться с Анькой через ухват!"

Из всех желаний это было самым трудновыполнимым, чуть стыдливым, но зато смешным и пикантным. Только я одна заметила, как Анька держа чей-то перстенёк-колечко за Колькиной спиной, вдруг резко, быстрым, незаметным движением достала из большой дядь Витиной шляпы, заполненной фантами, Колькин клетчатый шарф. Ребята развернули Кольку, чтобы тот убедился, что загадал желание своему фанту, самому себе. Обрадовавшаяся Анька ринулась к печке за ухватом. Она поставила его железными скобами сверху, приподнялась на цыпочки, положив подбородок на основание ухва-

та и застыла в ожидании поцелуя. Мне показалось, что на этот раз разбитной Колька просто опешил; ему меньше всего хотелось целоваться с Анькой. Для Кольки ухват был несколько низковат и ребята с хохотом, наклоняли вниз его голову. Он удивлённо-вопрошающе взглянул в мою сторону. Что-то удерживало меня, мешало уйти. Я чувствовала, что до дрожи во всём теле не хочу, чтобы Колька целовался с Анькой. И когда, общими усилиями их лица сблизили через ухват, я пулей выскочила из хаты. Забежав за стену, я прижалась щекой к холодным, шероховатым брёвнам. Они постепенно забирали жар моих щёк, приятно охлаждая их. В тишине позднего вечера ясно слышались смех и крики из "Бани". Чего я ждала? Чего хотела? Вот, Олька Спицина громко прокричала частушку да ещё с непотребными словами. Вот, сама хозяйка, Галька Озерова, выполняя желание фанты, босиком выскочила на улицу, секунду-две простояла на снегу и с воплем рванула обратно. Среди общего крикливого хаоса выделялся уже ненавистный мне, довольный голос Аньки Вавиловой. Быстрым шагом я удалялась от светящихся весёлых окошек хаты Озеровых. Подруга Танька оставалась там. Я не плакала, но было бесконечно одиноко и не хотелось идти домой. Решила пройтись до бабки Анюты. Уже перед самым крыльцом меня догнал Колька.

Запыхавшийся, в шапке, сдвинутой на затылок, он попросил:

"Постой чуточку. Дай отдышаться. - и немного погода: - Зачем ушла? Девки снова у "Марки" играли!"

- А што мне тама делать? Анька даже хвант у мене ни узьяла... - с досадой ответила я, вспыхнув и застыдившись, что выдаю сейчас самое своё тайное и сокровенное.

- Завтра "Баня" будить у нас. И ты обязательно приходи, ладно?

Колька неожиданно стянул "вязёнку" с моей руки и положил к себе в карман:

"А то ещё не придишь!"

Я мяла в руках оставшуюся варежку, боялась взглянуть на Кольку и в то же время мне так не хотелось, чтобы он уходил.

...А ночью разыгралась страшная вьюга. До самого утра за окнами металось, стонало и выло. По шиферной крыше хаты будто кто-то топотал, огромный и мощный, старался оторвать шиферный лист и сбросить его под свист пурги вниз, а самому проникнуть в печную трубу, добравшись и до самих хозяев. Но, видать, многочисленные печные закоулки-переходники не пускали ночного буйного гостя вовнутрь и он рвал и метал, воюя с неподдающейся высокой кирпичной трубой. Я долго не могла уснуть на высокой мягкой перине и, скомкав, отбросив ногами одеяло, так как в хате было жарко от протопленной вечером грубки, слушала и слушала эту непогоду. Да, давно не бывало такого бурана! Ну, прямо, как в гоголевской Диканьке в ночь под Рождество.

А быть может, это и в самом деле, взбунтовавшаяся и разгневан-

ная нечисть показывала свою ярость и могущество. Давала людям понять, что никакие весёлые игры-гулянья, святочные обряды не смогут её выдворить из своих бань, сараев, дворов, хат.

Но не страшила меня громко-гласная вьюга. Сердце радостно млело в каком-то сладком предчувствии. И в снежном завихрении растворялась печаль-обида, и уже не так одиноко мне было среди ночного завыванья на разные голоса, с подголосками недовольной гостыи.

Неужели всё из-за него? Из-за этого Кольки? Почему же мне так приятно, что он догнал меня? Да ведь я же этого и хотела! Я ведь этого так и ждала! Как же хорошо, что он убежал за мной и не остался с этой Анькой!

Я снова и снова ворочалась с боку на бок в своей жаркой перине.

"Конечно, я пойду завтра к Васнецовым. Даже если Танька не захочет, я всё равно пойду! Ой, что же завтра, и как всё будет?"

Где-то, далеко за полночь я заснула, утонув во влажных, карих глазах Кольки Васнецова.

Медленно оживало зимнее утро. Застопорилось движение из-за подарков снежной ночи. Двери многих хат были замечены так, что сразу и не открыть. Проснувшись, я быстрехонько оделась и рванула на улицу. Но не тут-то было!

- Ты куда это разогналась? Вот тебе мы толька и ждём! Давай, пролезь у ету вот дырку да откинь хоть немного, а я уже - потом. - Отец остановил меня в сенцах, изо всех сил напирая на дверь. Но та поддавалась совсем мало, обозначался лишь маленький просвет.

- Вот буран, так буран! Завалило-то как!

Я пытаюсь влезть в щель, орудуя плечами, но скрипучий снег держит крепко.

- А ты, доча, скинь фуфайку, всё потоньше будешь. - смеясь, советует отец.

Я не даю себе обидеться на отца в предчувствии желанного святочного вечера, сбрасываю с плеч "кухвайкю" и утапывая валенками снег, ссыпавшийся в сенцы, всё же выскальзываю на улицу. Отец пропихивает мне одёжку и выталкивает большую деревянную лопату. У других хат тоже отгребаются. Слышны смех, удивление, восторг:

"Вот это намело, так намело. За целую зиму столько снегу не наваливало!"

Дальше работу продолжает отец, а я с удовольствием хватаю ведро и бегу на колодец. Проходя мимо хаты Семёна Петухова, я услышала какой-то звук. Боже мой! Петуховская хата была занесена по самую крышу. Хорошо хоть, два окна выходившие на улицу, были чуть видны. Семён тёплой ладонью оттаивал маленький кружочек заснеженного окошка и глядя в него испуганным глазом, тарбанил в стекло, знаками прося проходящих соседей хоть немного

отгрести от его дверей. Я стояла, глазела на "беду" Петухова, рядом - пустые вёдра. Семён выжидающе глядел на дорогу - ждал кого повзрослее. Рассказав отцу о заметённом Семёне, я надеялась на его помощь, но отец усмехнувшись, ответил:

"Во-во, пускай посидить, подумай, што нада кажнай день лопа-той махать, а не валяться на печке!"

Но и вправду, Семён Петухов никогда не откидывал снег. Его хата стояла в заветрии. В эту же ночь так кружило и плясало со всех сторон, что каждое строение утопало в высоком пышном одеянии.

Весь день музыка звучала во мне. Я не могла дожждаться вечера, а время тянулось ужасно медленно. Я уже и воды наносила целую кадушку, на что мамка мне сказала:

"Ты сёдня как заведённая! Хватить, доча, воды, а то еще надор-вешься!"

Не знала мамка, что ношусь я с вёдрами в тайной надежде встре-тить Кольку. И он разок оказался в конце улицы, ну, а я, тут же свернула в сарай, боясь, что он побежит мне навстречу.

После обеда ко мне "прилетела" Танька и, как ни в чём не быва-ло, предложила скататься на лыжах к её бабке в другую деревню. Хотя эта деревня и считалась "другой", была она совсем недалеко и относилась к нашему колхозу. Я, не выдавая обиды, стала искать лыжи. И вот мы с Танькой шагаем по верхушкам сугробов. Лыжи не дают нашим ногам утонуть в снегу, а самодельные "палки", выдер-нутые из загородки, глубоко проваливаются в пушистые сугробы. Хаты и сараи стоят внизу, а мы - в искристой снежной вышине. Свежий морозный воздух бодрит, веселит, и стоит такая тишь, будто бы и в заведи не было никакого бурана, а снежные высокие шапки выросли за ночь, как в сказке. Как здорово будет вечером играть на такой высоте в "с города - долой"! Все предыдущие зимы я вместе с малышкой ползала по сугробам, играя в эту игру. Одна кучка иг-рающих стояла наверху и не допускала другую кучку, стоящую вни-зу, влезть и захватить макушку сугроба, "город". Ребята кидались снежками, а тех, кто сумел подобраться-подползти совсем близко - отпихивали руками, отталкивали ногами и неудержавшиеся снова скатывались вниз. Матери звали нас убираться на дворе, но многие, в том числе и я, лишь заскочив домой и, намазав скибку хлеба сви-ным топлёным жиром, да ещё сверху посыпав сахарком, тут же убе-гали на улицу доигрывать. О, боже, как забываемо вкусна та скиб-ка на вечернем морозном воздухе!

Уже поздним вечером, боясь нагоняя от отца с матерью, я пле-лась домой. Замерзшие, заиндеветшие полы моего пальтишка сто-яли коркой и ударяясь при ходьбе в колени, аж звенели. Но, мать обычно не ругалась, а тут же совала мои "красные как у гуся лапы" в ведро с холодной водой, "чтоба отходили, а то совсем не граба-ют!"

У подружкиной бабки, которую тоже звали Татьяной, мы написались вкусной "запущёнки" (по-городскому, это оказывается, "ряженка"), стомленной в русской печке, заев её только что испечённым духмяным ржаным хлебушком. Когда уходили, бабка Таня сунула нам в карманы по несколько мороженных яблок, и мы решили съесть их вечером, в "Бане". Конечно, про Кольку я не обмолвилась, а как хотелось! Так хотелось удивить подружку, что я еле-еле сдерживалась.

И ждала вечер, который, как назло, никак не хотел приходиться. В тот день мы до самого вечера катались на карусели. Ух, уж эта наша деревенская карусель! ...На болоте была никогда не высыхающая огромная лужа, по зимам которая, естественно, замерзала. Ещё с лета, ровно посередине её, был вбит невысокий, но мощный столбик, заострённый кверху. Зимой на него, как на ось, надевалось колесо от подводы. В одном месте к колесу прибавалась длинная слега, к концу которой привязывались санки. Привязывались очень крепко. В отверстие, между ступицами колеса вдевался большой кол для раскручивания всей этой системы - карусели. И вот я сажусь в санки, трое ребят раскручивают колесо и они, стремительно, на бешеной скорости описывают ледяную окружность. Здесь, главное, удержаться, не вывалиться из санок. Санки со свистом несутся по льду, встречная мощная волна воздуха так и норовит вырвать-выхватить меня из них. Но я надёжно привязана к санкам да ещё со всей мочи держусь за слегу.

Перед глазами летят-мельтешат румяные лица ребят и девок, проскакивают строения недалёкой конюшни и загородки наших садов. Слава богу! Не вылетела! Меня развязывают, отвязывают, и я встаю, покачиваясь, а перед глазами всё плывёт, голова кружится и, потихоньку, наконец, мелькание предметов, как в замедленной съёмке останавливается. В санки сажают другого, увязывают и привязывают... На всю жизнь незабываемая зимняя карусель! Но всё в природе совершается по извечному закону, придуманном кем-то и когда-то на этой непостижимо-тайной, вечной, а может быть, и не вечной земле. То не дано знать ни одному живому существу, её родному "поселенцу". И раз было утро, то пришёл и вечер. В вечернем воздухе уютно запахло дымками из топящихся на ночь грубок. Постепенно затихали говор и смех, незлобивое покрикивание на скотину во дворах, приглушённо позвякивали ведрами убиравшиеся хозяева. С наступлением густых синих сумерек улица почти опустела. Танька жила рядом с Васнецовыми, и мы договорились, что я сама забегу за ней. Ещё не было никакой "Бани", а щёки мои горели, как маков цвет. Сердечко учащённо "стучало" при одной только мысли, что с самого начала игрища там будет Колька. Конечно, не знала я тогда никакого аутотренинга и не могла сама себе внушить "спокойствие и только спокойствие", а потому пребывала целиком и полностью во власти эмоций. Я надеялась, что эта, сегодняшняя "Баня" внесёт в мою жизнь что-то новое, интересное, изменив и

украшив её. Я трепетала в осуществлении моей тайны; я берегла, лелеяла этот первый трогательный росточек иного, до конца ещё не понятого чувства, непременно сумеющего вырасти, подняться, перевести мою жизнь в другую ипостась.

Мамка, наблюдая, между вечерними делами, мои сборы, спросила: "А чаго жа ты, доча, виски не наглоила? Я, тот раз, гляжу, Оляка Спицинская такую копну на голове навела! Говорить, что усю ночь промучилась на "бугудях". И ты, доча, купи-ка сабе ети "бугуди"".

Конечно, магазинские бигуди лучше, чем мои несколько свёрнутых в трубочку бумажек, через которую продета завязка, но мне самой нравились просто распущенные волосы. Совсем недавно я носила большие банты в косичках, заплетённые мамкой в "корзиночку": нетолстые мои две косы перебрасывались одна через другую и на затылке образовывали "корзиночку", а банты торчали чуть повыше натуральных висков, которые у нас, опять же, зовутся по-своему, а именно, "писиками". Например, схватятся драться два чыхнибудь "малого" и один орёт другому: "Убью гада! Как дам у писик!" То есть, в висок.

Наконец, я собралась и выскочила из хаты. С другого конца улицы уже шла кучка девок во главе всё с той же Анькой Вавиловой. Даже издали была слышна и видна её боевая настроенность и верховодство. Я бегом ринулась, стараясь опередить их и у Танькиного крыльца чуть не налетела на тетю Паню, Танькину мать. Она выносила на улицу помои, в большую кучу, куда ссыпалась зола из печек, выбрасывалось и выливалось всё ненужное в хозяйстве.

"Господи Иисусе! Людка?! Кто за тобою так гонится? Чуть у вядро не заскочила. Вот, девка, была бы табе сегодня "Баня"!"

Вслед за тетей Паней вышла Танька. Я упростила её немного переждать, пока девки зайдут к Васнецовым.

- Ну опять жа усё позаймут! - подруга с укоризной посмотрела на меня. - И чаго ты, Люд, усё выдумываешь? Чаго усё тямнишь? А?

Хата Васнецовых вовсе и не хата, а большой красивый пятитетный дом с длинной и широкой верандой, вместо маленького крылечка, который был, например, у нас. Но этот добротный дом по старой, родной привычке, всё равно, назывался хатой. У Васнецовых было жарко, а молодой хозяин Колька ещё и ещё подбрасывал куски торфа в раскалённую докрасна грубку. Девки закричали на него, что и так дышать нечем, а тепла хватит до следующего вечера. Мы с Танькой прошли за шторку, отделяющую высокую кровать с железными ажурными спинками, затянутую снизу красивой, вытканной узорами "обтяжкой" (в других местностях называемой "подзором"), сверху украшенной пышной периной с цветастым одеялом и громадными белыми подушками от зала, где посредине ещё стоял круглый стол в окружении мягких стульев. Мы разделись, бросив свои "польты" на эту кровать, в общую кучу. Девки сдвинули массивный стол в угол, стулья расставили в линейку, с кухни и прихо-

жей притащили лавку и табуретки, откуда-то, из сарая, достали промёрзшую доску-тесину и, положив её на две табуретки, стали рассаживаться. "Молодёжь" всё подходила и подходила. Колька, казалось, вовсе меня не замечал, и мои радужные надежды медленно начали тускнеть. Отца с матерью он выпроводил заранее. В отличие от наших многодетных семей, Васнецовы имели лишь Кольку и Нинку. Нинка была ещё маленькая и с интересом поглядывала на нас с высоты крутобокой печки. Жили Васнецовы довольно зажиточно, размеренно-деловито и спокойно. Дядь Володя был на деревне всеми уважаемый плотник, а тетя Рая, мать Кольки, всю жизнь работала в магазине. В наших же семьях, с оравами детей, с вечными нехватками и "непробьтком", как говорила моя мамка, зачастую случались нервные срывы обоих родителей, приносящие в жизнь разлад, неуют и детские слёзы. Колька в этот вечер выглядел великолепно. "Для кого же он так нарядился?" - застревал в моих мыслях вопрос. Ему очень шёл тёмно-коричневый свитер грубой вязки, недавно купленный у цыган. Никто, кроме меня, наверное, не знал, что глаза у Кольки одного цвета со свитером. Мне казалось, что он стал ещё выше и взрослее, а я же, наоборот, была какой-то маленькой, скукоженной от стеснительности, совсем невзрачной. Меркли мои надежды - мерк и мой наряд: новая бордовая кофта, хотя и бумазейная, купленная всё у тех же цыган на вырост, оттого широковатая мне, с подвёрнутыми рукавами, висевшая балахоном, и чёрная в складочку юбка, тоже надетая в первый раз.

Первыми, как всегда, игрались "Марки", но ремень всё ещё валялся на столе, и, по всей видимости, водилой в этот вечер Анька быть не собиралась. Она крутилась возле Кольки, нарядная, в белой лёгкой кофточке и короткой бежевой юбке. Семья у Аньки, тоже была большая. Старшая из восьмерых детей, Ленка, уже жила в городе и оттуда Аньке по наследству, доставались ношенные Ленкины вещи и потому Анька, каждый раз почти, блистала новым нарядом, будь то какая-нибудь кофточка, юбка или модные полусапожки, вызывая неумело прикрытую зависть у всех нас, бегающих в неуклюжих валенках.

Первой встала к двери "наглоенная", с высокой башней на голове, Ольга Спицина. К ней присоединилась Валька Абрашина. Моя подруга Танька тоже было дёрнулась к двери, но Анька тут же раздвинула девок и встала посередине. Ремень, по-прежнему, валялся невостребованным.

- А кто же нынча будить водилой?

Все поглядывали друг на друга, но брать ремень никто не решался. Всем, видать, хотелось играть и целоваться. После долгих препираний решили водить по очереди, меняться, чтобы никому не было обидно. Я, конечно, догадалась, почему Анька уступила своё "орудие". Слишком хорош был сегодня хозяин Колька, редкий гость деревенской "Бани". Вдруг, этот самый Колька схватил ремень и крикнул:

"А что это опять одны и те же девки встають? Пусть-ка нынча поиграють "новички", те девки, что толька начали ходить у "Баню". - и, оглядев всех, предложил:

"Вот давайте-ка, выходитя Танька Луговая и Людка Чукурова" - он на секунду запнулся и продолжил:

"А ты, Ань, ладно, оставайся пока. Твой ремень тебе ждет и никуда не денется".

Танька, не скрывая радости, потащила меня к двери, я же деланно упиралась, хотя внутри тоже всё пело и ликовало. "Надо же, нас заметили!"

Олька с Валькой, задрав головы и презрительно сжав губы, прошли и сели на наши места. В зале, понемногу, стал затихать шум, всем было интересно, кого же вызовут эти "новенькие". По правилам игры, ведущего не должны были затрагивать и я заметила, что стоящая слева от меня Анька затихла и поскуцнела. Я же успокоилась, что нахальной Аньке не удастся поцеловаться с Колькой, хотя и мне это "не светило". Но впереди был длинный святочный вечер. Колька наклонялся к девкам, те шептали ему на ушко, а у меня вновь запрыгало сердце. Наверное, Колька, коснувшись моей пылающей щеки, услышал его стук и, прерывая дыхание, чуть слышно спросил:

"Ну, а ты... ты кого... это... хочешь вызвать?"

Мне хотелось заорать:

"Да тебя! Только тебя!" - но я, в растерянности, молчала.

- Ну чаго ты, Людка, стоишь, как статуя? Выбирай скорейча, нечего время тянуть! - раздавались крики играющих.

Я была равнодушна ко всем другим именам и, оглядев лавки и табуретки, еле слышно прошептала:

"Ванька Кузнецов. Кузнечик".

Ванька был тихий и незаметный, действительно, как кузнечик в траве, хотя внешне удался и ростом, и лицом. Природная застенчивость отличала его от многих ребят. "Кузнечик" уже не первый год ходил в "Баню", но предпочитал больше созерцать и отсиживаться где-нибудь в уголке. Когда же его вызывали, он так же, как и я, весь заливался краской с головы до ног. Я сидела с ним за одной партой, и почему-то мне запомнились его большие кирзовые сапоги. Никто больше в школу не ходил в таких сапогах. Когда его вызывали отвечать урок, он медленно, будто нехотя, вставал и страшно краснел. Стеснялся. Мне казалось, что неудобно ему было, именно, за эти огромные, наверняка, отцовские сапоги.

Я старалась подбадривать его взглядом, упорно уставившись на него и подсказывая, но он всегда знал урок и, не глядя на меня, начинал отвечать, очень тихо, себе под нос.

Колька почему-то усмехнулся, и ещё чуть-чуть задержав свой взгляд на мне, вызвал названных ребят. Первый раунд нашей игры закончился очень быстро. Ванька Кузнецов удивил всех. Он как будто знал и сразу встал ко мне. Вот тебе тихий и застенчивый! Но щёки

его, конечно, румятели, горели огнём. Кавалерам Аньки и Таньки пришлось отвезать ремня, пока те менялись местами. Анька запросила пять марок, а подружка Танька поскромничала на первый раз и заказала всего две марки.

Колька сильно, с оттягом, ударил по ладоням, а, замахнувшись на "Кузнечика", засмеялся:

"Ладно, считай, што на первый раз тебе повезло!"

Конечно, Ваньке повезло, будь он побоевее и понаглее; ведь он имел право на поцелуй, сколько бы захотел, как сразу верно угадавший. Но ведь это Ванька-Кузнечик! Я стояла за его спиной и всей кожей своей чувствовала его смущение и нерешительность, в то время, как Анькин "малай" поцеловал её аж пять раз, а Танюшку чмокнули два разочка. Колька должен был заставлять "Кузнечика" целовать меня, но он, почему-то, заторопил игроков и попросил девок садиться на свои места, предоставив право выбора ребятам. Анька с Танькой упорхнули от двери, а меня загоразживал Ванька, по-прежнему не решающийся на поцелуй, но и не уходящий.

В "Бане" закричали, засмеялись:

"Ну, вот ещё один статуй нашёлся! Коль, лупани-ка яго как следует, ды похлеще, тогда сразу губы Людкины найдеть!"

Тут уж Колька со злостью и каким-то отчаянием полоснул "Кузнечика" по плечу, и тот, повернувшись ко мне, чмокнул куда-то мимо уха. Я чувствовала, что ему очень хочется поцеловать меня по "настоящему", он топтался у двери, но проклятая робость была выше его желания. Колька оттолкнул Ваньку от меня и с усмешкой бросил в мою сторону:

"А ты што как пристыла к порогу? Што, сильно понравилось? Давай, дуй на место!"

Ванька остался, а я, красная как рак, с кипящей внутри досадой на себя, на Кольку, на "Кузнечика", быстро проскользнула к табуретке и спряталась за спины девок.

И вдруг, Колька снова выкрикнул моё имя. Конечно, не трудно догадаться, кто меня выбрал. Бедный Ванька, наверняка, хотел самоутвердиться и исправить положение. Но я встала к другому "малому". Почему? Необъяснимая внутренняя стыдливость упорно отталкивала меня от "Кузнечика". Но, главное, мне хотелось, чтобы Колька понял, зачем я это делаю. А делалось всё только ради его. Наверное, он всё-таки догадывался, потому что, когда стегал по девичьим ладоням, мои - заметно щадил. Это было замечено:

"Ты чаго, ето, Людку жалеешь? Всыпь тожа как следует!"

Колька не обращал внимания на замечания, но предупредил, что сейчас ремень передаст другому. Наконец-то, все стали по-правильному. Теперь я должна была целовать Ваньку, и опять Колька оттолкнул теперь уже меня, едва я прижалась к Ванькиной щеке. Девки и ребята недовольно закричали:

"Пускай цалуить как надо! Не волынить!"

Но ещё у двери мне постоять не пришлось. Колька потребовал замены:

"Нечего етых девок "зелёных" вызывать! Пускай чуть-чуть поболеют. (повзрослеют)"

Такое заявление смутило и обидело меня. Ведь я считала себя уже большой и даже рассчитывала на "отношения" с ним самим.

"А ен, прям-таки опозорил меня!"

На игре в "Коленки" водилой была уже Галька Озерова. Колька, нахмурясь, поглядывал в мою сторону; ему явно не нравилось, что меня "разглядели" и часто вызывали. Но больше всех на коленках я сидела всё же у него. Не успеет кто-нибудь меня вызвать, Колька опять орёт моё имя. Я бегала, металась по кругу, а Галька лупила меня ремнём, куда ни попадя. Прибывав к Кольке, я не могла полностью садиться на его коленки, стеснялась и, полусидя, держала своё тело на весу. Моя обида на него испарялась, я уже знала, что ему небезразлична, и моя душа вновь воспряла и запела. А ребята, как сговорились погонять меня. И всё кричали и кричали моё имя. Даже Гальке - водиле стало меня жалко, и она уже не так сильно стегала ремнём. Когда, в очередной раз, Колька возвратил меня к себе, я со всего маху глюхнулась на его худые коленки, вдруг ощутив, что нисколько не стыжусь этого. Я до того забегалась, устала, что была рада месту, и решила больше ни в какую с него не двигаться. Этим прекрасным "местом" были Колькины колени и обхватившие меня крепко его руки. Он и сам завозмущался, что уже хватит меня гонять и пора заканчивать. Финалом игры были, опять же, поцелуи. Кто у кого на коленках сидел - те и целовались. Галька по очереди подходила к паре и замахивалась ремнём. Тут уж девкам трудно было увернуться от поцелуев: ребята крепко держали их, сидящих на коленках.

У меня бешено колотилось сердце. Вот то, чего я так долго ждала в этот вечер! Колька, обнимавший меня обеими руками, вдруг резко, неожиданно развернул к себе лицом и, не дожидаясь подхода водилы, тыкнулся в мои губы горячими, жесткими губами. Горячая волна смущения обожгла меня. Я ничего не поняла. Ни радости, ни сладости. И это поцелуй?! А Галька уже стояла возле нас. Я обняла Кольку за шею и нежно прикоснулась к его губам. Они уже не казались такими жесткими. Обалдевший Колька молчал, а в "Бане" засмеялись, заудивлялись:

"Вот, Коль, тебе и "зелёная" девка! Молодчина Людка! Бей своих, штоба чужие боялись!"

И снова, по просьбам многих, играли в "Марки", оставив "Фанты" на конец вечера.

Анька Вавилова, потеряв надежду на Кольку, снова взяла в руки наш солдатский "банный ремень". Меня вызывал Колька, я была уверена в этом, но специально вставала к другому, заставляя его недоумевать и нервничать. Мне также хотелось вызвать его, но я



уже боялась смеха ребят, их подковырок, догадки о моей тайне и вновь и вновь называла другое имя. Это было против моей воли, моего желания. Я видела, что Колька злится, но опять какой-то бес толкал меня, и я обходила его. Ванька - "Кузнечик" вдруг оживился и ожидающе-красноречиво глядел на меня. Хотя я его раз и вызвала, но его повышенное внимание уже начинало раздражать меня. Мне был нужен только Колька. А он опять перестал замечать меня. Я уже готова была вызывать только его, но вечер близился к концу. Скоро должны были возвратиться родители Кольки, и мы порешили играть в "Фанты". Вновь надежда озарила меня, вдруг повезёт, и мой "хвант" выберет поцелуй с Колькой. Ожиданию не суждено было сбыться. Моему фанту выпало примитивное желание: встать на табуретку и прокукарекать. Глупее не придумаешь. Под конец этой "Бани", так ожидаемой в моих романтических мечтах, я стояла на табуретке, пытаюсь произнести "ку-ка-ре-ку", а кругом стоял невообразимый хохот и я давилась этими ненавистными слогами. Ещё смешнее и нелепей был, наверное, мой внешний вид. Нескладная и худая, бурая, как свекла, от стыда и смущения, я в этот вечер расплачивалась за первое неожиданное ко мне внимание и интерес окружающих девок, но главное, ребят. Я спрыгнула с табуретки, чуть не подвернув ногу, и попросила исполнить другое, любое желание. В этот момент в хату и вошли дядь Володя и тетя Рая Васнецовы. Оба были навеселе. Отец Кольки, смеясь громко попросил:

"А, ну-ка, молодёжь, дайте-ка мне ремень у руки!"

- Дык, мы уже кончаем играть, дядь Володя. Остались только хванты, а Людка Чекурова не хочет кукарекать!

- А чаго жа ты, Людка, хочешь? - спросил дядь Володя.

- А она с вашим Колькой хочет цулуваться больше усяго! - ядовито выкрикнула Анька Вавилова.

- Ну, дык, что жа, ето дело не плохоя. Но мы, давайтя, дадим им желание потяжелее. - отец Кольки хитро прижмурился и продолжил - Сынок, возьми-ка Людку и притащитя из подпола ведро квашеной капусты. А то мы тоже поиграли-посидели у Климихи хорошо. Завтра голова будить болеть. А мать сварить кислого борща.

В хате воцарилось гробовое молчание. Никто не понимал такого задания-желания. Никто, кроме меня и Кольки, да умного, такого доброго сейчас, его отца.

- А вы, ребята, не расходитесь. Тама есть ещё мочёные яблоки и груши. На усех хватит, - в стоящей тишине произнёс дядь Володя.

Кадушка с квашеной капустой находилась в подполе старой хаты Васнецовых, стоящей через дорогу. Туда же, в подпол ссыпалась и вся вырытая картоха. В особо холодные и зимние дни хатка протапливалась, чтобы не помёрзли все овощи, но в основном, теперь это уже был сарай, куда складировалось и хранилось немалое, нужное и ненужное имущество Васнецовых. Колька кивнул мне головой: мол, пошли. Не знаю, какая сила сорвала меня с места, но я

очутилась уже в подполе. Не чувствовала, как бежала через дорогу, раздетая, не накинув пальто, а только схватив свой красный полушалок. В подполе Колька засветил свечку и, натываясь на кадушки с соленьями, моченьями, стал искать капусту. Я стояла в затемнённом углу, обглядывая подпол. Несмотря на затхлость и плесень по стенам, здесь было так уютно, так тихо, что даже не хотелось выбираться наружу. Колька поставил ведро с набранной капустой, повернувшись, вдруг сбил свечку. В подполе воцарилась полная темнота. Колька не стал искать свечку. Мы молчали. Я замерла в ожидании прикосновения Колькиных рук и, в тот же миг, почувствовала их на моих, огнём горящих щеках. Его ладони были прохладными и чуть влажными, наверное от волнения. Колька гладил, будто прощупывал мои щёки, брови, глаза, а я уже нисколько не стесняюсь, сама подставляла ему лицо. Ах, как хорошо, что бывает такая темнота, полная темень, освобождающая тебя от всей неловкости, скованности и стыдливости! Как необыкновенно хороши, приятны, волнующе-остры эти первые, ласковые и нежные прикосновения!

Теперь уже мои руки обвили Колькину шею, и наши губы слились в первом, горячем, нежном поцелуе. Неумелом, конечно же, с моей стороны, а Колька целовал меня уже по-настоящему: смело и откровенно. Молниеносно у меня пронеслось: где же он так наловчился? Но сладостное ощущение отбросило эту мысль далеко-далеко. Колька целовал и целовал меня. Ноги мои стали ватными, и я еле держалась на них. Колька подхватил меня и посадил на какую-то бочку. Мне стало намного легче и я была готова теперь сидеть так до утра и обнимать, обнимать Кольку, не отрываясь от его губ. Сколько прошло времени - мы не знали, да и не хотели знать. Моим губам было уже больно, когда наверху затопала тетя Рая, Колькина мать. Она пришла с фонарём "Летучая мышь" и неяркие полоски света пробились в подпол. Мы затихли. Я сползла с бочки и только сейчас почувствовала, что сидела на холодном железе. Тетя Рая ходила наверху и приговаривала:

"И куды ж, ен задевался, гад такой? Пряма как проюкнул?"

У меня похолодало внутри. Неужто она так ругает, ищет Кольку? Ещё немного погремев и постучав, тетя Рая, вдруг, громко спросила:

"Коль! А ты не видал мантач? Отцу надо топор поточить!"

Колька крикнул из подпола:

"И што яму, пряма сичас приспичило? Вынь да положь, етот мантач? Ни лето видь, чтоба косу отбивать".

Тетя Рая подхватила:

"Ды и я ж яму ето говорю. Как летом кудай-то засунули - типеря - попробуй найди-ка..."

Она опять походила, пошуршала чем-то, а потом, наклонившись в проём подпола тихонько сказала:

"Ну, и скока ж вы, мои дорогие, тама сидеть будете? Усе уже по

домам разошлись, не дождавши ваших яблок. А батя уже спит, наверно."

- и чуть помолчав, стараясь не обидеть меня, спросила:

"Людка! А тебе дома потеряли, правда? Давайте-ка, вылезайте на свет божий, а я вам хвонарь оставляю."

Она ещё минутку выждала, повздыхав:

"Ох, надо иттить - уремя уже позднее..." и хлопнула дверью.

Колька выпрыгнул первым, я подала ему ведро, затем свою руку, и мы оказались наверху. Теперь, на "божьем свете" нам опять стало неловко и стыдно. Я попросила Кольку принести сюда моё пальто и, боясь взглянуть на него, решила побежать отсюда домой. Мне неудобно было перед его матерью, но счастье распирало меня! На моих губах всё ещё оставался бархатно-мягкий, нежный Кошкин поцелуй. Пальто моё он принёс очень быстро, а меня вдруг охватил сильный озноб. В подполе было намного теплее. Когда вышли на улицу, полная яркая луна освещала всё вокруг. Я взглянула на Кольку и увидела, как сильно у него вспухли губы. Я засмеялась, прикрыв свой рот вязёной-варежкой. "Ты чаго?" - спросил Колька, но я ничего не сказала, боясь обидеть или застыдить его. Подойдя к нашему крыльцу, мы остановились. В хате было темно. Меня не ждали. Я прижалась щекой к шершавым губам Кольки:

"А ты мне ждять будешь?"

"Он улыбнулся:

"Нет, Люда, это тебе придётся ждять. Мне ж на тот год уже у вармию. Будешь ждять, а?"

В окнах резко вспыхнул свет.

- Буду, Коль. Конечно. Даже без разговоров.

- А у "Баню" завтра придишь?

Я кивнула головой: "ага". Колька повернулся и побежал, только снежок захрустел под валенками. Я ещё некоторое время стояла у крыльца, вспоминая, запоминая сегодняшней незабываемый счастливый вечер. И, вдруг, поняла, что не нужна мне эта "Баня", был бы рядом Колька, а другие посторонние ребята вовсе лишние и ничемные. Им нельзя выдавать нашу тайну и придётся всё скрывать, вести себя совсем по-иному, чтобы избежать ядовитых подковырок, злорадных хохотков и сплетен. На следуюющий вечер мы оба пришли в "Баню" и, как назло, будто договорились: сначала зашла я, а за мною, тут же, вбежал Колька. И уже это было замечено девками и ребятами. Посыпались первые поддёвочки-смешочки. Но потом всё заиграло-закрутилось. Мы с Кошкой нарочно отчуждались друг от друга и вызывали совсем не тех, кого хотелось бы. Вскоре нам это всё надоело. Колька сослался на какие-то дела в хате и ушёл. Вечер стал мне совсем не в радость. А Ванька Кузнецов - как обнаглел. Он стал будто неуправляемый: вёл себя шумно, смело, сыгал дерзкими замечаниями в адрес играющих, всякими шуточками и к месту, и не к месту, вставлял разные анекдоты. Но при частых взглядах на меня, я

заметила: глаза у Кузнечика были печальные-печальные. Мне стало ясно, как божий день, что Ванька всё это делает через силу, ломая своё естество и волю, бравитует наигранно и фальшиво. Особенно, "разошёлся" он после ухода Кольки. Первым порывался играть во все игры, орал громче всех, что даже Анька удивлёно засмеялась:

"Кузнечик, какая муха тебе цапнула? Пряма, как бешенаяй какой-та!"

Ванька вызвал меня в "Марки" и, не дожидаясь очереди, больно развернул мою голову к себе, в каком-то отчаянии прижался губами к моему рту. Мне стало стыдно и противно и я метнулась от двери. Вскоре засобиралась домой. Подружка Танька выбежала за мной.

"Ды, Тань, ты играй! Иди у ету "Баню", а я хочу на коликах (кольях) погадать." - сказала я ей.

Танька увязалась следом. Она ничего не спрашивала, и мне это понравилось. Мы стали загадывать: влюбимся или нет в этом году. Обычно, гадают на замужество, но о нём нам было ещё рано думать. Мы с разбегу бросались на загородку и, раскинув руки в стороны, захватывали колики. Если их количество было чётным, значит, да, в этом году жди свою любовь, а если нечётным - надейся на другие радости. У Таньки выпало чётное число кольев и она зарделась, искренне веря в правду гадания. Меня же, наоборот, судьба в этот год ничем не радовала судя по гаданию, и я даже обрадовалась, что ни Танька, ни другие ни о чём не догадываются.

- Люд, а после "Бани" девки пойдуть колядовать. Ты пойдешь?

- Нет, Тань. Ты иди к ним, а я пойду домой, чтой-та живот разболелся.

Потом, поздним вечером, сидя у окна, я слышала весёлый смех и песни-колядки переодетых, наряженных девок и ребят, переходящих от хаты к хате. Но нас они почему-то минули. Мне послышался хрипловатый Колькин смех в ватаге колядующих, и резкая тоска охватила меня. Выйти на улицу я уже не посмела, да и в "Баню" на другой день не пошла. Сердечная заноза глубоко где-то сидела во мне и щемила тоской и обидой. Я вздрагивала при каждом стуке в хату, надеясь, что Танька, а ещё лучше Колька, прибегут за мной. До глубокой полночи я просидела одна, решив завтра, назло себе и всем, пойти на игрища.

На этот раз в "Бане" было полно народа, так как приехали на лошадях девки и ребята из другой деревни. Шумно, весело. Но мне было тоскливо, так как Колька всё никак не появлялся. И тут, краем уха я уловила, что Васнецов уже два дня валяется на печке с простудой. Заболел! Ах, ты, батюшки-святые! Как сказала бы моя бабка Анята. Так ведь надо было горевать, сожалеть, а я вся засветилась от радости. Так значит, он болеет и поэтому не пришёл ко мне ни позавчера, ни вчера. Не виноват Колька, а я чёрт знает, чего напле-ла-надумала. Конечно, какая уж "Баня" мне теперь была!? Через

десять минут я уже стояла на казёнке у Васнецовых и глядела на красного, с влажными, спутанными волосами Кольку, лежащего на горячих кирпичах русской печки. Сейчас мне было не стыдно и не страшно перед тетей Раей и дядей Володей. Колька проболел до самого Крещенья. Мать отпаивала его мёдом, отварами лечебных трав и только просила, "чтоба больше не носился нараспашку." Без Кольки я сходила в "Баню" лишь один раз. Меня пошёл провожать Ванька-Кузнечик. Я гнала его, смеялась над ним. У старой одинокой грушни он отчаянно прижал меня к стьлому стволу, а я упираясь и отталкиваясь, двинула ему в грудь со всей силы. Кузнечик отпрянул, я "убегла". Ещё и оглянулась разок: он всё стоял около грушни повесив голову.

Уже на следующую зиму "Бани" стали затихать. Повзрослевшие девки уезжали в город, уехала и заводила-водила Анька Вавилова; многие ребята ушли в армию.

Оставшийся, подросший "молодняк" играл уже в другие игры. Проводили в армию и Кольку Васнецова, ставшего к тому времени настоящим красавцем, первым парнем на деревне. На проводах мне хотелось быть рядом с ним, но даже и в такой трудный жизненный момент расставания, меня что-то удерживало, что-то мешало.

Через два года Колька вернулся с красивой городской женой, покоровшей его родителей необыкновенными белыми, почти голубыми волосами, как у сказочной Мальвины и огромным аккордеоном на узеньком плечике.

К тому времени я была далеко, но знала, что в деревне играется вечер по случаю прибытия молодоженов. Я сплавлялась по тихой речушке, берега которой тонули в цветущей черёмухе. Воздух до того был насыщен её ароматом, что казалась, никаких других запахов не существует.

Я опустила на воду те несколько писем, что прислал мне Колька в начале службы и со светлой грустью смотрела на уплывающую первую любовь. Болело, ныло внутри, печалью хватывало сердце от несвершившихся надежд, от несбывшегося счастья. Я представила весёлую, гуляющую свадебную улицу, улыбающегося Кольку, счастливую незнакомку, и слёзы потоком полились из глаз.

Мать потом, присылая мне письма, никогда ничего не писала о Васнецовых. Когда же я встретилась с Колькой, он был уже разведён, но ничто не ворохнулось ни в моей памяти, ни в моём сердце. Болью же зашла моя душа, когда я узнала, что скромняга наш Ваня Кузнецов, "Кузнечик" погиб на китайской границе. В родную деревеньку его доставили в цинковом гробу.

А перед моими глазами до сих пор стоит "Кузнечик" под старой грушней, на зимней пустой обочине, в весёлые Святки, и смотрит мне вслед тоскливыми глазами. И этот печальный взгляд из далёкого ушедшего детства сопровождает меня всю жизнь, когда я вспоминаю первые, горячие, юношеские поцелуи и нашу "Баню".

## **Первый поход или Продажа огурцов**

**Д**олго не могла заснуть Верка в эту теплую августовскую ночь. Завтра, рано утром, ей предстояло вместе с мамкой и соседками идти в поселок Тёплое - продавать огурцы. Конечно, продавать будут бабы, Верка сама напросилась, так как ей очень уж хотелось посмотреть это Тёплое. За свою коротенькую двенадцатилетнюю жизнь Верка никуда не выезжала из своей деревни, и поэтому предстоящий поход виделся ей необычайно интересным и романтичным. Поселок был расположен в десяти километрах, дорога лежала через луга, небольшой лесок - дубраву да ещё надо было перейти неширокую, но местами глубокую речушку. На эту речку более смелые сверстники-мальчишки гоняли на велосипедах, чтобы "искупнуться", так как поблизости никаких водоемов не находилось.

Когда-то этот поселок был просто деревней и назывался Лазы, но с ростом торфоразработок, так как хаты здесь повсеместно топятся торфом, стал называться поселком и получил название - Тёплое. Поселок городского типа, что звучало уже гордо. С трехэтажными домами и асфальтированными улицами. Сама же Верка этого ничего не видела, но слышала из рассказов взрослых, зачастую ездивших туда что-нибудь продать-купить. От предстоящих новых ощущений, волнующих воображение мечтательной Верки, сон долго не приходил. Но летняя ночь коротка, и будто не спала Верка, когда мать растолкала её, чтобы собрать свежие, оставленные на ночь, огурчики в огороде. Выбирали, обтирали их тряпочкой ещё влажные от утренней росы, с колючими пупырышками, так остро, духмяно пахнущие. Тут же сделали рюкзак: в обычный мешок на дно, в два уголка положили по большому огурцу, мать затянула эти углы длинной веревкой, так, чтобы она надевалась на плечи, а верхнюю часть, по заполнению, стянула оборочкой. Когда мешок наполнили огурцами, и Верка помогла матери его примерить, подняв на спину, то Антонина осталась довольна.

- Слава Богу, навроде удобно лег!

"Ничего себе - удобно! - подумала Верка. - Как же она его потащит целых десять километров!"

Но мать была ещё молодой и крепкой, с большими натруженными руками крестьянки.

Заметив недоуменный взгляд она сказала:

"Дык, доча, тут усяго два с половиной ведра. Потихонечку дото-

паем". Пока туда, сюда - разгорелось утро. Управившись со скотом, мать кликнула через загородку соседку, тетя Симу. А та уже сама подошла к ихнему крыльцу с таким же "сидором" на спине. Сбросив его на ступеньки, охнула:

- Ну, как же мы это всё допрем?! Придется останавливаться на привал.

Стали поджидать тетя Маню с другого конца улицы. Верка быстро собралась; да и что ей было собираться: платьице чистенькое надела, а ноги босые. Начиная с весны, когда чуть-чуть подсохнет земля, ребятня здесь носилась уже босиком. А иногда летом, в особенно жаркие дни, даже взрослые, зачастую, шлёпали без всякой обуви. Но мать попросила Верку взять с собой сандалии:

- Там же усё-таки город почти, ды и уже под вечер будем возвращаться - ноги застынуть.

Пришла, наконец, тетя Маня.

Бабы оглядели друг дружку, посмеялись сами над собой, и, посидев на дорожку, двинулись в путь. Верка шла босиком, топя по прохладной ещё пыли, держа сандалии за ремешки. Бабы, удивительно, шли быстро, что-то, рассказывая и смеясь. И какое-то сладкое, радостное чувство охватило Веркину душу. При выходе с деревенской улицы к ним ещё присоединились Клавка Утехина и бабка Шура, по прозвищу "Шаха". Верке казалось, что мешки - рюкзаки у них ещё больше. Но, несмотря на то, что бабка Шаха была старше всех - это ещё была высокая мощная баба, шагавшая широко и размашисто.

Вышли за околицу, направились к дубовой рощице, в которой назначили привал. Верка вприпрыжку бежала впереди баб, часто поджидая их, а кудрявая дубовая рощица издали виделась красивой и таинственной. Виделась-то, вроде, близко, а топали да топали до неё, и бабы уже не очень-то шутили-смеялись, да и шагали уже не так споро.

- Ну девки, до первого дуба дойду и тут же дуба дам! - сострила, засмеявшись, бабка Шаха.

Наконец-то, блаженный отдых. Посидев немного, расслабив руки, бабы, помогая друг другу, взвалили на себя свою ношу и продолжили путь.

Солнце уже поднялось высоко, воздух был наполнен свежим ароматом разнотравья, и Верка вдыхала всей грудью так нравившийся ей запах душицы, которую местные зовут "богородской травкой". Со счастливой улыбкой, с желанием запеть, но, стесняясь позади идущих баб, Верка прыгала по розовато-фиолетовым кочкам душицы, там и сям разросшейся по лугу.

- Ох, бабы, теперя у речки отдохнем, а там уж совсем недалеко - сама себя успокаивая сказала теть Сима, на что Веркина мать тоже вздохнула:

- Да скорей ба, спина уже колом стала.

Подойдя к речушке, сразу же нашли мелководье, где обычно переходили её и, перебравшись разутыми на другой берег, облегченно вздохнули: вдали виднелись крыши домов Теплого. Перед самым поселком Верка обула сандалии.

Бабы посовещались: как им сидеть на базаре - кучкой или же поврозь. Решили, что все будут рядом.

- Всё равно жа продадим, назад не потащим!

Базар оказался небольшой площадью перед магазином, скорей всего центральной и, что Верку очень удивило - к одному из столбов была привязана лошадь с повозкой.

Иначе - стояла подвода, как здесь говорят.

"Вот это город! И тут лошади!" - подумала Верка.

Мать дала ей три рубля, и она вместе с тетей Симой пошла посмотреть, что есть в магазине. Все проголодались и потому так вкусны, ароматны оказались булки, что бабы прихлебывая их молочком, опять послали Верку за ними. Через дорогу стояли ещё два магазинчика. В одном из них Верке приглянулся компот в красивой жестяной банке с непонятным названием "Ассорти" и она попросила мамку потом купить его. Но мать, Антонина, была добрящей женщиной, и, купив для пробы, тут же открыла банку: "Вер, дык это просто наши сливы тут, и ещё плаваает один какой-то хрукт. Ну, ладно, ешь, если нравится, потом ещё купим. Вот распродадимся".

Торговля шла бойко. Все здешние горожане были выходцы из соседних окрестностей, но, поселившись в Теплом, не стали заводить надоевшие им сады-огороды, обременять себя хозяйством. Тут же жила и племянница теть Мани, к которой та "зайтить" хотела вместе со своими попутчицами. Огурчики покупались бывшими крестьянами охотно, благо цены были очень доступны - так говорили сами покупатели. Первой распродалась бабка Шаха и теперя своими приговорками приглашала покупать у рядом сидящих баб. Скоро смуглые, обветренные лица их повеселели: мешки у всех опустели.

Бабы были довольны и, так как время ещё позволяло, отправились поглядеть как "живет" родственница тети Мани.

Шумно посоветовавшись, бабы все вместе зашли в магазин, решившись купить "белой". Верка не видела сколько и чего они брали, но заметила на прилавке яркие, желто-золотистые баночки с халвой. В их деревне была халва, но развесная. А здесь вся эта красота стоила всего девяносто одну копейку! У неё оставался

ещё рубль, и Верка решила удивить - угостить своих сестрёнок красивой баночкой.

От магазина, через небольшой скверик, они прошли не длинную сплошь из каменных трехэтажек, улицу. Наконец, поднявшись на третий этаж были громогласно встречены хозяйкой. Бабы, перекусившие на базаре всухомятку, уже проголодавшиеся, скоренько уселись за стол, выставили свои бутылки с "белой". Верка смотрела из окна на верхушки деревьев. Тополя. У них на улице только ракиты, березки, да липы. А тут какие-то тополя. Так их назвала Уля, хозяйка квартиры. Она накормила Верку горячим борщом да ещё дала картошку-толчёнку, которая звалась здесь диковинно - пюре, в которое добавила большущую котлету. Верка всё с аппетитом уплела. Она ещё не беспокоилась о своей внешности и не задумывалась о фигуре.

Ульяна оказалась молодой жизнерадостной бабенкой. Она так радовалась "своим", что никак не хотела их отпускать. Верка, от насыщенного дня, обильной пищи, чувствовала уже усталость, её тянуло в сон. Но ещё больше хотелось домой.

Бабы же, испив с устатку, задумали кричать песни. Уля всё просила и просила Веркину мать:

"Ну, тетя. Тоня, ну спой мою любимую "Чаечку"! Ты ведь лучше всех ее поешь!"

Мать, раскрасневшаяся, гордясь своим высоким, красивым голосом, тоже не торопилась из-за стола. Разгоряченные, хмельные бабы вспоминали какие-то свои интересные случаи, и вовсе, казалось, забыли про время. И только когда бабка Шаха громко крикнула:

- Ша, девки, будя! Уже вечерить, пора шагать домой! - все сразу засобирались. Взгрузив опять те же мешки-сидора на спины, теперь только с мягкими булками и буханками хлеба, да ещё кой-какой снедью, бабы отправились в обратный путь. Уля провожала до скверика, в котором ещё сколько-то посидели, на что Верка вся изнервничалась. И на Ульянины просьбы спеть ещё "Чаечку" она прикрикнула даже: "Хватит, вон, уже стемнело!"

И действительно, когда вышли из поселка, темнота приблизилась вплотную.

- Ну, бабы, домой-то ноги сами понясут!

Мать обернулась на Верку, идущую теперь немного позади.

- Доча, заморилась наверно? Ну, уж, сама просилась. Гляди-ка, бабы, днём бегла спереди усех, а теперя...!

Верка с обидой посмотрела на мать. Днём и солнышко светило, и впереди всё видно было, а сейчас... надвигающаяся ночь.

- Верочка! Глянь-ка, какие звезды высыпали, ну прямо по яблоку! - старались бабы ободрить Верку. Она задрала голову ввысь: да,

красиво! Где же они днём были?! Вечер быстро переходил в ночь. Такие быстрые, южные, чёрные сумерки. Ещё минуту назад Верка видела впереди стоящий куст, а сейчас - сплошное чёрное пятно. Захмелевшие бабы ещё доvspоминывали сегодняшнее: базар, "Улькю", которую сначала оговаривали за ветреность и неумение жить, а затем сами же и защищали, хвалили.

В Веркину душу начал пробираться холодок: почему так долго не выходят к реке? Ведь, идя сюда, так быстро дошли от речки до посёлка. Сейчас же, оглянувшись назад, она увидела далеко влево уходящие огни. У Верки заныло где-то повыше пупка, возможно, там и живет, и мучается душа, и ей так захотелось оказаться в своем чуланчике, на широкой кровати, сделанной из досок, с книжкой в руках, под уютным освещением фонарика.

- Девки, дык, уроде уже давно речка должна быть - первой заволновалась бабка Шаха.

- Я знаю, сейчас вот чуть свернем улево и будет переход - это уже Веркина мать. Но, прошли ещё и ещё, свернули влево, потом вправо, наткнулись на кучи сухого торфа и тут же затихли все. Остановились.

- Я же говорила, надо раньше было выходить нет, расселись, распелись! - чуть ли не ругаясь, завозмущалась соседка тетя Сима. - И надо было тебе, Мань, ету Улькю глядеть, как будто сто лет не видела.

- Ладно, бабы, не ругайтесь. Давайте немножко назад обернемся. Мы речку, наверно, прошли.

Молча, сопя и как-то сразу трезвея, бабы повернули обратно. Тем временем, стало совсем темно. Верка прислушивалась ко всему, творящемуся в ночи, но среди всяких неясных звуков и невидимого движения природы, шума близкой речки, такого желанного и обнадёживающего, слышно не было. Бабы пробовали шутить. Клавка Утехина рассказывала, как они вчѐра разругались с Игнатом, её мужем. Она высочила из хаты и полночи провела в сарае, на куче старого "летошного" сена. Бабка Шаха грубовато удивилась: "И што, Клавдия, ты хочешь сказать, што тебе Игнат из хаты выгнал?!" Теть Маня с Антониной громко засмеялись. Улыбнулась даже и Верка. Она представила тихого, маленького росточком дядь Игната и рядом с ним высокую, статную, круглолицую тетя Клаву. В их хате верховодила только она, и только её звонкий голос был слышен то в огороде, то в закутках сарая, то в громадных сенцах большой пятитенки. А когда, по праздникам, бабы с мужиками собирались "у складчину", то весѐлая, подвыпившая Клавдия Утехина прыгала на острые коленки своего худенького мужа, обнимала его, смущающегося, за шею, чем вызывала большое удивление у Верки, наблюдаю-

щей за разгорающимся весельем. Никто из остальных баб не мог себе позволить такие вольности и нежности, хотя в душе, каждая, наверное, мечтала об этом. Маленькая Верка всегда заглядывалась на эту интересную пару. Она уже понимала и чувствовала глубокую привязанность их друг к другу.

Сейчас, мать Верки, Антонина, смеясь, обратилась к Клавке Утехиной: "Клав, а твой Игнат ко мне прибегал. Мы уже спать лягли, а ён такой увесь красной, такой узволнованай, ажну увесь трусится. Спрашиваить у мене: "Тонь, кудый-та моя Клавдюшка делась? Как проюкнула. Я, вить ей слова плохого не сказал, а она чёй-та обиделась, уроде!"

А я ему ответила: "Иди, Игнашка ды спи спокойно. А твою Клавдюшку хорошо ба веничком отходить, а ты ие усю издурил!"

Бабы опять засмеялись и громче всех сама Клавка. Но потихоньку смех и разговоры стали умолкать, а возникшая за целый насыщенный день усталость заставляла баб идти всё тише и тише.

- Ох, не забресь ба куды-нибудь! Чтой-та, девки, мы не туды идем.

- Мам, давайте вернёмся, пока ещё огни видны! - не выдержав, чуть не заплакала Верка.

- А што, бабы, сил уже нету, Вот, дураки, черт нас попутал! Хуть ба присесть игде, отдохнуть!

Теть Маня предложила вернуться и заночевать опять же у Ульянки.

- Ды, кыкая на хрен Ульякя? Хватить уже, нагостились! - не согласились бабы.

- Не плачь, доча! - уговаривала мать Верку, - чичас пойдём назад, напрямки.

Но легко сказать: напрямки в темноте. То и дело натыкались на торфяные разработки, благо, никто не свалился в огромные глубокие ямины, то и дело приходилось обходить какие-то кучи-насыпи и поэтому опять и опять сбивались с прямого направления. Огни Тёплого уходили то влево, то вправо. У Верки от холодной росы стали мёрзнуть ноги. Мокрые сандалии соскальзывали с незаметных в темноте кочек и идти было очень трудно. Теперь уже все шагали молча. Кончились шутки-прибаутки и разные подковырочки друг другу у протрезвевших, усталых баб. Слышалось только учащённое дыхание, подкашливание да шлёпанье ног по сырой траве. Вдруг, бабка Шаха споткнулась и закричала, то ли от боли, то ли от радости:

- Девки, мать вашу так, ды ето ж "путя"! Тут жа линия, дорога железная! Теперя усё! Теперя будем живы и с етих путей - никуда! Оны нас и доведуть до Тёплого.

Враз повеселели смолкнувшие было бабы и решили топтать прямо к вокзалу. Верка так обрадовалась, что даже ночь показалась ей не такой пугающе-страшной, и звёзды в чёрном небе весело заподмигивали ей. По железной дороге, ободрённые бабы дошли очень быстро. Оказалось, что "пуля" срезает большой угол, а они, ошибочно, ушли далеко вправо.

В зале ожидания маленького вокзальчика никого не было, но работал буфет, в котором был горячий чай и лимонад. Бабы достали из своих мешков булки. Купив стаканчики чаю - стали согреться. Мать укрыла Верку, забравшуюся с ногами на одну из малочисленных здесь скамеек, своею кофтой, успокоила:

"Ладно, доча, ничаво! Ну, подумаешь - поблукали немножко! Завтра утречком будем дома, как штык! А я тебе еще два рубля дам, купляй сабе чаго хочешь. Толька девкам не говори!"

Но Верке не надо было уже ничего. Уютно освещённый зал поселкового вокзала перенёс её к своим сёстрам, в свой родной чуланчик, к недочитанной интересной книжке. И не знала Верка, что на всю дальнейшую жизнь останется с нею эта тревожная звёздная ночь и когда, по зимам, родители будут привозить из "города" Теплое мягкие, сдобные, пахнущие свежим морозцем булки и яркие болгарские баночки с компотом "Ассорти", душа её будет вновь и вновь возвращаться к тому первому походу, первому испытанию.



## Жарёнка ("гастрономический рассказ")

Ох, и устал мой народ деревенский за долгую трудоёмкую весну и короткое, но горячее страдное лето. Наконец-то, с яблочного спаса работы остаётся: всего ничего. Завершить домашний сенокос по хорошей, ещё зелёной траве, так как первым был колхозный, да выкопать свою картошку. А по улице, одна за другой, проезжают подводы с кошёлками яблок из другой деревни, и мы, ребята, наперегонки, мчимся с мисками в руках, наполненными мукой, чтобы произвести обмен. Чужой дядька высыпает муку в мешок, а в миску накладывает душистые яблоки. Штуки три-четыре он ещё сунет в наши карманы. Яблоки из другой деревни казались нам более вкусными, хотя это был тот же рассыпчатый белый налив или приторно-сладкая "луковка", что росли повсеместно и в наших садах.

Но, легко сказать, всего ничего. Ладно, сенокос. Это чистая, даже праздничная работа, не считая врагов рода человеческого: оводов да комарья. Как-то и к ним привыкаешь, увлечённый работой, наслаждаясь ароматом свежескошенных трав. Да и хочется скорее завершить стог, глядя на почерневшее небо в августовский полдень, неизменно завершающийся грозой. Почему то в детстве и лето было жарче, и грозы чаще и страшнее. Мы, дети, боялись грозы, так как в нашем селе почти каждое лето люди страдали от неё: одни были травмированы, другие - даже убиты. Вот так же, в один из знойных летних дней, после сильнейшей грозы, которая уже "отходила", и прогромыживала где-то в стороне, к нашей хате подбежали люди с криками: "Девки, вашего деда убило!" Я, помнится, прибежала последней, когда деда Алёшу, уже закопали в землю, оставив наверху только одну голову. Это, "чтобы ток выходил". Потом медики объяснили, что этого нельзя делать ни в коем случае, так как можно застудить человека. Но, слава богу, дед хоть и застудился, лежал с воспалением лёгких в районной больнице, зато остался жив. Ток из него "ушёл в землю". Так считали в деревне. С наступлением сентября улицу окутывали сладкие запахи дымящейся картофельной ботвы. Начиналась копка картошки. На это, не совсем радостное занятие, нас, ребят, даже освобождали от школы, и целую неделю мы копошились у себя на огородах. В каждой хате было полно детей и поэтому картошки садили соток по пятьдесят. Да ещё во дворах скотина: две коровы, поросята, гуси, куры. Такая "работка" тоже в тягость. Но вот, наконец, завершена и она. Сады к этому времени почти опустели. Улетучился, растворился где-то в вышине непередаваемый, вкусный аромат варенья, готовившегося прямо на улице или в саду, на самодельной железной печке-грубке, в двухведёрном чугуне. Варили из разных ягод:

смородины, крыжовника, малины, сливы. Но больше всех мы любили сливовое варенье, хотя мать и варила сливы прямо с косточками. Оно и поедалось первым, ещё задолго до Нового года. Мы "трастили" им холодную воду, то есть добавляли и размешивали, и поэтому уже на святках приходилось "потчеваться" другим ягодным вареньем.

Осенний слякотный октябрь тянется дольше, чем всё жаркое зелёное лето. Наконец-то, жирная чёрная грязь схватывается стылыми корчами. Мы ждём снега, от которого и воздух будет легче, звонче, и на душе веселее. И вот первые, самые крупные белые хлопья, будто вальсируя, плавно опускаются на мёрзлую похухшую траву. Мы с сёстрами, в каком-то счастливом возбуждении, прыгаем за садом, потом бежим на большак, где не видно людей, и даём волю своим чувствам. Подставляем под снег разгорячённые лица, ловим его руками, ртом и смеёмся, смеёмся.

Пришла зима, и теперь, действительно, жизнь у баб и мужиков будет полегче. Хотя, конечно, многие из них будут работать в "штате": на ферме или гараже, другие же будут ходить "по наряду", то есть, куда пошлют.

К престольному празднику "Ведяню", по-правильному, "Введение во храм пресвятой Богородицы", у нас начинают резать поросят. С соседних сёл съезжаются родственники в гости. Многие уже зарезали по первому поросёнку; варится вкуснящий холодец, готовятся другие кушанья и, конечно же, гонится самогонка. Куда ж в деревне без неё?! Да особенно, в праздник. Гуляли до "самого света" и, если гости уходили на своих ногах, хозяину было обидно, значит, не смог ублажить-напоить.

И начинались "жарёнки". Каждый день кто-то режет поросёнка. Поначалу, паяльников не было и опаливали скотину золотистой соломкой. Специально, припасали для этого дела. От соломы и кожа у туши мягче, нежнее, желтее и вкус совсем другой. Это уж потом, с появлением ламп мужики лениться стали. Мы, дети, тут же крутимся. Мужики вилами подпихивают солому под один-другой бок поросёнка, переворачивают его. Кому-то из нас тут же достанется часть срезанного уха с хрящиком, а кто-то не обрезгует и кончиком палённого хвоста. Когда же готовятся резать поросёнка в нашей хате, я с самого утра убегаю куда подальше. Не могу слышать этого пронзительного визга. Поросёнка режет сам отец. Он - первый мастер по этому делу и его часто зазывают в другие дворы. Одним сильным, точным движением руки он вгоняет специальный нож под лопатку несчастного животного, а затем, вытерев красные ладони о солому со снегом, подставляет литровую кружку под бьющую струю крови. Увидев в первый раз, как отец пьёт парную, ещё "живую" наверное, солоноватую свиную кровь, мне стало плохо. Соседка тетя Сима закрыла лицо рукавом грязной фуфайки и утащила меня в сенцы. Уже потом, я никогда не стояла в толпе на-

блюдоющих. Мне до слёз жалко бедного поросёнка. Я ведь кормила его почти целый год, чистила у него в закутке, разговаривала с ним, почёсывая грязноватый бок. Больно и страшно принимать такую вот житейскую неизбежность. Но что поделаешь? Испокоп веку, в наших деревнях не жили без сала. И потом уже, когда наступает затишье, я возвращаюсь, чтобы помочь в разделке туши. Отдельные куски, предназначенные для засолки, кладут в одну посудину, толстый жирный подчёрёвок бросают в другую кастрюлю, печень, лёгкое, сердце кидаются в большой чегунок. Мне приходится раз пять промывать свиные кишки, которые, вначале тёплые, парные, вызывают неприятие, но затем, выполосканные в нескольких водах, чистые, прозрачные, тонкие, они будут так хороши при приговлении домашней колбаски.

Целый день вся улица пропитана запахом палёного. У колодца собрались две-три бабы: серьёзно обсуждают, что вчера из города привезла Лушиха на жарёнку. Нюрка Котова где-то уже "надыбыла" слухи, что Валька Лущёва, "Лушиха" купила целых три банки селёдки "Иваси". "Ох, и посолониться, бабы, охота, поесть жирной селёдошки" - восклицает в радостном предчувствии Маня Сидоркина, по прозвищу "Белка". В нашем селе, как впрочем, во многих местностях матушки-России, все семьи, без исключения, помимо своей законной фамилии, имеют ещё и клички. Попробуй-ка, на улице спросить кого-то по фамилии - долго будут гадать: "ето ж какие Михайловы? Ах, да! Ды, ето ж Васяня, наверно. Так бы и спрашивали Васяниных!"

По всей улице, по имени главы семейства Васяни, фамилия Михайловых известна как Васянина.

"Так бы сразу и говорили, что надо Васяниных!" - ещё с удивлённым укором скажут вслед спросившему.

... Бабы ещё минут двадцать не расходятся, уже изрядно подмерзая, стоят у обледенелого колодца, продолжают гадать, что же ещё будет на столе у Лушихи. Сама по себе "жарёнка" - мясосвининка, натушенное в двухведёрном чугуне, на которое ушла добрая треть только - что утром заваленного поросёнка, баб не очень интересует. Это дело привычное. В каждой хате, целую зиму, а особенно на святки, случается это деревенское торжество, "жарёнка", на которое приглашается почти вся улица. Кругом ведь родственники, близкие и дальние, кумовья и соседи.

Конечно, люди есть люди, и, допустим, сегодня Валька Лущёва не позовёт к себе Дуньку "с того" конца деревни. Вчера они в пух и прах разругались, посылая страшные проклятья друг другу.

"И чтоба тебе огонь жаркой спалил! И чтоба тебе, змяюгу, завтра прибило".

И так далее, и тому подобное. Насколько сильны наши бабы бывают в своих добрых чувствах - настолько горячи и неосторожны в едких высказываниях во время ссоры, обыкновенной бабьей ру-

гани. Чего только не наговорят в запале друг другу. Конечно, какая ж теперь для Дуньки "жарёнка"?! Но, выплеснув свои обиды друг другу бабы, обычно, врагами бывают недолго. Надо только пережить это временное житейское огорчение.

...В предвечерних синих сумерках, по нарастающему морозцу потянулись к ярко-освещённым окнам Лущёвых дальние и ближние соседи. Идут мужики и бабы в радостном возбуждении, незлобиво перебрасываются шутками в адрес друг друга. Около крыльца, при входе в сенцы, оббивают валенки голиком, а в сенцах ещё и крылышком гусиным обметут. Как-то, уток в селе не принято разводить, так, кое у кого, а вот уж гусей в каждой хате - полный двор. Ни с чем не сравнимое, запечённое, упрелое в русской печке гусиное мясо! Но это уже другая жарёнка, на которую не устраивают таких сборов-праздников, как на свиную.

Мы, детвора, толкёмся тут же. Для нас будет отдельный стол, где-нибудь в уголке. В большой комнате, называемой здесь залом, куда собираются гости, расставлены столы по всей длине, да ещё по бокам приставляется по столу, что напоминает широкую коротконогую букву "п".

На столах стоят тарелки и миски с соленьями: огурцы, помидоры, маринованные грибочки, квашеная капуста с мочёными яблоками. По-городскому нарезана и горкой выложена так ожидаемая бабами селёдка иваси, слегка притрушенная сверху лучком; рядом красуются аппетитные сыр и колбаса. Надо всем этим пиршеством высятся трёхлитровые стеклянные банки с прозрачной, как слеза, с а м о г о н к о й .

Шумные, в добром настроении, рассаживаются гости. Наливают в гранёные стаканы доверху и ждут подачи главного блюда гулянки - горячей жарёнки. Хозяйева разносят в больших мисках дымящееся ароматное жариво. Кто-то выкрикивает, что пока не остыло "надо хватануть!" Выпивают по первому стакану, при этом многие ядрёные бабёнки не уступают своим мужикам. На минуту за столами затишье, лишь позвякивают ложки и вилки. А потом... Обжигаясь горячим мясом, начинают сравнивать: у кого в эту зиму сало было толще. Один оспаривает соседа, что, именно у него шмат сала с "целую ладонь", другие тоже "кипятятся", кричат, что "ихнее сало - самое-самое!" За столами - шум, смех, крик. Наливают ещё самогонки, пока по-порядку, а затем, уже рядом сидящие подливают друг другу. Множество рук тянется за селёдочкой, кто-то с удовольствием смакует городскую колбасу, отмечая при этом, что своя-то, начинённая домашним мяском, намного лучше и вкуснее. В своей-то и чесночком вон как пахнет, да и шкурку обдирать не надо: набитая в промытые свиные кишки, обжаренная в сковороде на загнетке русской печки, колбаска домашняя, вместе с хрустящей корочкой радует и рот, и живот.

На нашем "детском" столе тоже стоит огромная миска с жарён-

кой. Здесь и грудинка, и печёночка, и целые мясные куски, именуемые в городе вырезкой. Всё это варилось, тушилось не менее часа, но называется жарёной, хоть и не жарилось. Нам, ребятам, очень нравятся хрящики. И кому он попадается, тот уж рад без памяти. Вот уж воистину, кому арбуз, а кому свиной хрящик! Так мало нужно деревенскому ребёнку. Но, в первую очередь, нам хочется тоже съесть чего-нибудь "городского" - сырка или колбаски. К селёдке нас, детей, не особо тянет.

Мы наблюдаем за взрослыми, замечаем: кто как нарядился, что говорят-орут за столами. Но разве поймёшь-услышишь?!

За столами разрастается веселье: мужской сдерживаемый хохот, заливистый смех баб. Сейчас начнут "кричать" песни. У нас их не поют, а "кричат" очень слаженно, напевно, красиво. Сначала бабы затянут что-нибудь задушевное, грустное. Всё ту же вечную: "Что стоишь качаясь, тонкая рябина..." или совсем печальную песню "Над озером чаечка вьётся, ей негде, бедняжке, сесть..." Нигде потом и никогда я не слыхала такой чудной песни.

У моей матери сильный, высокий голос. Обычно, её так и просят: "Вер, запевай!" У тётки же Муры голосок несильный, низковатый, но она так старательно ведёт мелодию, поддерживает песню.

Наконец, бабы "раздухаряются", веселеют; одна за другой перебегают через лавки и насаждают на гармониста. Просят сыграть "Барыню", "Сербиянку" или "Подгорного". Мужики, покряхтывая, тоже выходят в сенцы, покурить. Сдвигаются лавки для простора танцующих.

"Ах, подгорна, ты подгорна,  
Широкая улица,  
А тебе никто не любить,  
Ни пятах, ни курица..."

Пляшут, в основном, бабы. Они тащат в круг мужиков, но редкий из них, даже под изрядным хмельком, осмеливается на танец. Да, наверно, мужики и не умеют плясать, а вот молодухи-бабы заставляют "мост" - пол ходить ходуном. Аж трясётся, позванивает посуда на столах и даже на "палице", навесной большой полке, куда составлена вся мелкая кухонная утварь.

К этому времени, многие мои сверстники уже "ушли бегать". Вот такое странное, интересное словосочетание бытует в наших деревнях.

"Мань, иде девка твоя?"

- "А, ды ушла бегать на вулицу!"

Друзьям моим больше неинтересно в хате; насытившимся горячей жарёной, им не страшен вечерний мороз. Я же остаюсь с кем-нибудь из хозяйских. Мы залезаем на печку и уже оттуда наблюдаем за продолжением гулянки.

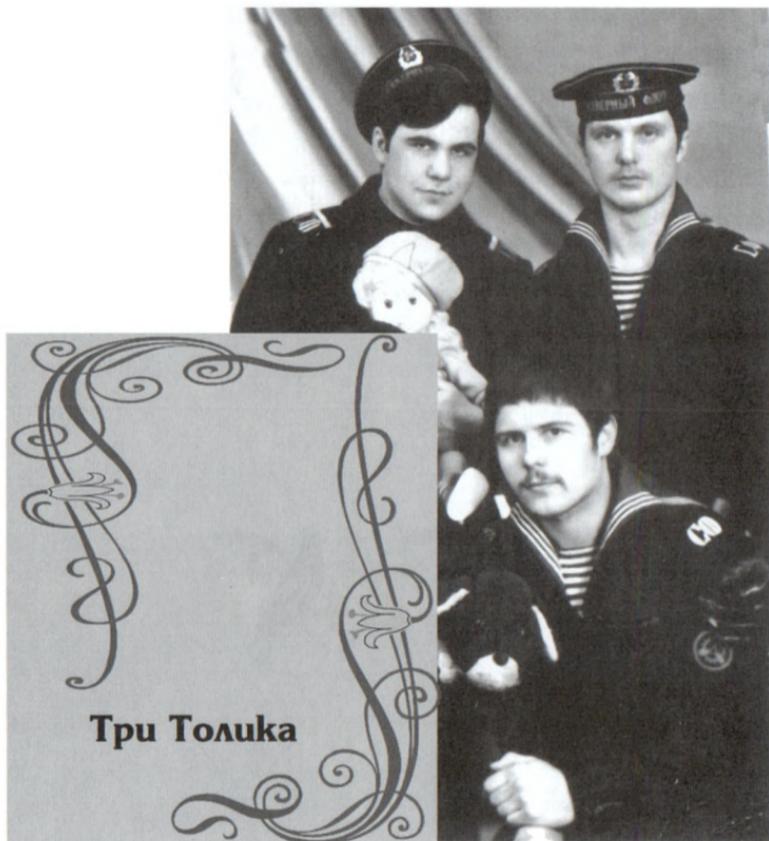
Я жду, когда все снова сядут за столы, по второму, третьему разу, и мой дед Алёша, большой, громоздкий и добрый, встав и возвысив-

шись надо всеми, затынет свою любимую песню, которая почему-то так рано трогает печалью моё сердце:

"Ко-о-ле-е-чко моё,  
позалочё-ё-нное-е,  
Я с ми-и-лы-ым дружк-о-ом,  
Разлучё-ё-нна-ая..."

Дед Алёша мощно начинает запев, а всё застолье многогласно подхватывает дальше, и громкую песню, наверняка, слышно на другом краю деревни. Сегодня всякий знает: гуляют на "жарёнке" у Лущёвых. Завтра уже другая хата огласится весёлыми частушками и грустной песнею, а в свежесть ночного морозного воздуха волнующе-приятно и неопишимо-вкусно вольётся неповторимый аромат деревенской "жарёнки".





### Три Толика

И вновь цвела черемуха.

**М**айский горячий ветер, как пылкий влюбленный, одурманенный долгожданным любовным признанием в весенней ночи, ошалело носился по нарядной, цветущей, одетой в нежно-зеленый глянец деревенской улице. На какой-то миг он затихал, нежно поглаживая молоденькую, точно лакированную листву раkit и березок, а затем порывисто влетал в сады и палисадники и, будто разочарованный в ответных чувствах, начинал крутить, срывать белые душистые соцветья яблонь, груш, черемух. Молодая упругая сила жизни не поддавалась горячему, ветреному любовнику; еще не пришла пора отцветать буйной волнующей красотой, и эта красота упорно держалась своими хрупкими плодоножками за родной ствол родителя-дерева.

Наташка смальства обожала черемуху. Лишь только-только невысокий куст под ее окошком начинал светиться белыми прожил-

ками будущих овально-продолговатых соцветий, она с демонстративным треском распахивала окно в зеленый, просторный сад. Сад был довольно старый, но еще каждую весну к нему приходило детство и он опять и опять цвел и плодоносил. Наташка думала, что растения счастливее людей и животных, так как у двух последних детство не повторяется. Не приходит больше никогда-никогда, в отличие от кустов, травы и цветов, от деревьев.

А в эту весну детство покинуло и Наташку. Покинуло навсегда. Хотя светлая, солнечная улица, насыщенная сладко-густым, неповторимым черемуховым ароматом казалось праздничной, на душе Наташки было пасмурно и дождливо. Плакала ее душа, плакали ее глаза, оставляя светлые дорожки на полных щеках, чуть тронутых первым загаром. Юное сердце ее сжималось от непоправимой боли и щемящей тоски. Наташка не замечала, не видела буйного цветения так любимой ею раньше, благоухающей черемухи...

...Еще прошлой весной она наслаждалась этим майским благоуханием и, идя на последний школьный экзамен, обязательно сворачивала в небольшие черемуховые заросли у заброшенного пруда, чтобы сорвать две-три ветки и окунуть свое разгоряченное лицо в прохладный душистый букет. После этого ее не страшили ни учителя-экзаменаторы, ни недоученные билеты по физике и математике. В ту весну и лето Наташка летала, парила над серыми шиферными крышами хат, над цветущими бело-розовыми коврами садов, и душа ее млела и пела от необъяснимого праздника внутри себя и вокруг себя. Да, тогда был праздник! Каждый день обещал счастье и дарил надежду. Сейчас же Наташка задыхалась. Заполонивший все вокруг, настоящий на теплом воздухе, запах черемухи казался ей приторно-сладким, даже тошнотворным; он раздражал ее, мучил.

...Год назад, когда уже отцветала-облетала черемуха и, подсыхая после первых грозовых ливней улица утопала в белом бархатном снегу опавших лепестков, в деревню, со службы в армии, а точнее, Военно-Морского флота возвратились сразу три парня. Три Толика. Каждый Толик был высок и красив. К тому же, все трое, как на подбор, смуглы, черноглазы и черноволосы. Почему-то, по всей улице было довольно непросто отыскать кого-то русого, светленького. И уже, привыкший к такой "масти" глаз, довольно негативно воспринимал белый или рыжий цвет волос.

Живущая у самого колодца бабка Черногузиха так и говорила:

"Не-е, бабы, какая красота у белоглазого? Куды свой глаз ни пхай, а красы не вижу! Вот у Толика Яцкова чуб дык чуб! Аж смоляной! И глазища чернущие, ну прям, деготь. Ажни мне, старуху, до костей пробирають!"

Бабы, кучкующиеся тут же, у колодца, громко смеялись:

"Гляди, баб, чтоба к табе ета красота не присохла! А чем Толик Малашин хуже? Или жа Толик Сажин?!"

Все три Толика были самыми старшими детьми в многочисленных семьях и, поэтому наверное, вобрав в себя первыми от родителей еще неизрасходованную силу, здоровье и красоту, удались на славу.

Толики в детстве и дружили, и дрались. В школе ревновали-делили девчонок, но вот, придя со службы повзрослевшими и возмужавшими, очень крепко сплотились и почти не расставались. В сельский клуб ходили только вместе, и если один задерживался, неизменно его поджидали. Мужики и бабы любовались ими, когда шагали они, один к одному, разметая уличную пыль широченными, черными, суконными клешами, с самоличновшитыми вставками, и нельзя было даже выбрать, кто же из этих морячков, все же, лучше. В душе же матери-отца каждого Толика была твердая убежденность, что только их сын более красив и статен.

Но, особенно, эти три красавца-кавалера взбудоражили юные, пыльные, жаждущие любви сердца выросших за время их отсутствия деревенских девок. Да и не только выросших! Блестя глазками, раскрыв рот от восхищения, наивные, еще глупые девки-малолетки тоже глазели на бывших морячков; смущаясь комкали свои застиранные платица, натягивали их на избитые колени, когда кто-нибудь из Толиков ласково, по-братски, трепал их за взлохмаченные волосы или шлепал по мягкому месту.

Наташка по возрасту считалась уже немаленькой девочкой, но со своими сверстницами общалась мало: "бегала на улицу" с девками-малолетками. С ними ей было проще, легче, быть может от того, что чувствовала себя среди них по-настоящему взрослой и серьезной. Была она, и впрямь, немаленькая. Выше среднего роста, чуть угловатая из-за неоформившейся еще фигуры, с жиденьким пучком темно-русых волос и с "непонятными" глазами, как говорила ее мать, Евдокия. Глаза у Наташки были желто-каре-зелено-серые. Както, Евдокия взяла ее с собой в город. В электричке, сидящий напротив молодой мужик так долго глядел на Наташку, что мать не вытерпела:

"Ты это чаго вылупился? У девки моей ничего на морде не написано!"

Мужик улыбнулся: "Да нет, мать, извини. Глаза уж сильно у твоей дочки интересные. Красивые глазки, необычные."

Евдокия тут же сменила гнев на милость. Ей, вообще-то очень доброй бабе, стало неудобно за внезапную грубость, и она тоже заулыбалась:

"Ето ты уж мне прости, сынок! А я уж думала, что у ней лицо грязное. Так не должно быть, всеж-таки у город едем. А Наташка моя еще с вечеру собиралась, наряжалась и проспать боялась. Раньше меня соскочила! Вот едем к школе что-нибудь купить, - и уже задумчиво закончила - А глазки, миленькэй, у нее и взаправду кра-

сивые, интересные. Вот только как жисть сложится... Нихто не ве-  
дает..."

Наташка тогда не знала куда девать свои "непонятные" глаза,  
смущалась, краснела.

Она вспомнила, как случайно услышала разговор матери с со-  
седкой тетей Зиной, где они говорили о своих девках. Вот тогда-то  
тетя Зина и сказала Евдокии: "Дунь, а у твоей Ташки блядские гла-  
за! Вот, подожди, вырастить - будить мужиков ими приманивать!"  
Наташку больно резануло это взрослое, матерное выражение и она  
еще долго обижалась-дулась на Зинаиду, а та не понимала, с чего  
это девчонка смотрит на нее волчком. И, все-таки, какое-то тай-  
ное, непонятное чувство сладко щемило внутри, когда она ловила  
на себе мужские, редкие еще взгляды. Девчонки с замиранием сер-  
дца слушали ее рассказы и байки, которые Наташка придумывала  
сама, и ярко, эмоционально, играя в лицах, захватывающе переска-  
зывала их. Они небольшой гурьбой собирались на болоте, сразу  
начинающимся за садами, которое ранними веснами из-за огром-  
ного количества желтых, пушистых "комочков"-гусят, щиплющих мо-  
лодую травку, казалось просторным зеленым покрывалом, расши-  
тым, выстеганным солнечным необычным рисунком в виде всяких  
неправильных фигур, кружков и квадратов.

Девки рассаживались около Наташки, прямо на мягкую болотную траву, благо, здесь, у деревни, болото было сухим, и ждали от нее нового повествованья. Наташка заранее думала, готовилась, чем же на этот раз удивить своих младших подружек. Но, в один из летних вечеров



тема разговора сместилась совсем в неожиданную сторону, и зря Наташка ломала голову, думая об очередном новом рассказе.

Томка Малашина, по-уличному Томка - "Тихоня", показала девчонкам необычную авторучку, которую ей подарил старший брат Толик. Один из трех Толиков. Авторучка была очень красивой: отливала перламутром, с несколькими цветами пасты, украшена-перевита, будто девичьей косой с маленькой золотой заколочкой. Девки восхищенно разглядывали это чудо и, казалось, вовсе забыли про Наташку. А она смотрела на "Тихоню" и думала, что Томка нисколь-

ко не похожа на своего брата-красавца. Будто вовсе и не его сестра. В белом платке в мелкий цветочек, завязанном под подбородком и свисающим большими концами, Томка-"Тихоня" казалась маленькой старушкой. Она стеснительно, но гордясь, поднимала свои небольшие, в пушистых ресницах глазки, на каждую подружку, разглядывающую авторучку и ждала восторга, удивления, наверно, зависти. Наташку задело, обидело такое равнодушие к ней девчонок, она, опять же играя, будто бы испугалась, вспомнив о каком-то неопложном деле, резко вскочила и убежала домой.

Весь вечер она была "сама не своя". "И зачем убегла с болота? Посидела бы, поглядела бы вместе со всеми эту авторучку... И с чего психанула?" Наташка злилась сама на себя.

Дня через два она, как всегда по привычке, не шла, а почти бежала за водой на колодец. Проскакивая около хаты Малашиных, увидела Толика. Он курил, не скрывая, как взрослый мужик, и свесив свою черную курчавую голову в деревянное резное окошко крыльца, сплевывал вниз, в теплую пыль. Наташка, звякнув пустыми ведрами уже пронеслась мимо Малашиных, когда вдруг услышала: "Таха, ты чего не ходишь, а прыгаешь как стрекоза?" Удивительно, но она даже не обиделась на эту "стрекозу", а ее детское имя "Таша", как она называла себя маленькой, считая имя очень длинным и убавив, сократив первый слог, показалось ей неожиданно приятным и ласковым. Она замедлила свою ходьбу, ничего не ответила, смущенно опустив голову направилась к колодцу. Возвращаясь с водой, Наташка, не доходя до хаты Малашиных, поставила ведра на землю, как будто ей очень тяжело и, расслабив руки, стала махать ими, поглядывая на малашинское крыльцо. Толика не было. Она схватила ведра и быстро-быстро пошла по улице. Дух перевела только у своей хаты. И тут же почувствовала горячее дыхание. За ее спиной стоял запыхавшийся Толик Малашин.

- Ничего себе! Ну, ты Ташка и бегаешь! Да еще с ведрами в руках! Подросла молодая сила, да?

Он взял Наташку за плечи, качнул к себе. Свинцовой тяжестью налились ее ноги, а тело, будто, окаменело. "Такой красавец! И он разговаривает с нею, почти обнимает ее!" Из сеней вышла мать Наташки. Увидев застывшую в смущении дочку, она, подняв ведра, сказала Толику:

"Да, сынок, видишь какие невесты подросли, пока вы служили? Небось у городя таких-то нетути? Правда?"

- Правда, тетя Дунь. Хотя маловаты они еще.

А тебе, Таша, на-ка авторучку. Одну у поезде потерял, а две до-вез. Вот, Томке нашей и тебе. Будет от меня вам подарок.

У Наташки дрогнуло внутри. Она взяла этот "подарок", не поднимая глаз на стоявшего перед ней парня.

Вот с этой-то авторучки все и началось. В юную чистую душу Наташки, неизбалованную большим вниманием, нетронутую нежно-

стью и лаской, ничем еще неискушенную, но так ждущую, так зовущую, так трепетно тянувшуюся ко всему этому, было брошено крошечное "маково зернышко" зарождения чего-то нового, необычного и такого необходимого. Благодатная почва Наташкиной души жадно подхватила это зернышко, напоив молодыми любовными соками; укрепила его, и теперь нежно лелеяла с каждым мигом разрастающийся тонкий росточек желанной любви и счастья. И не было ни единого мига, чтобы Наташка и днем и ночью не думала о Толике Малашине. Она гладила подаренную авторучку, представляя, как держали ее его руки. О, как мечталось ей, чтобы эти руки гладили ее по плечам, голове, как совсем маленькую девочку! Она по нескольку раз проносилась мимо крыльца Малашиных, но Толика не было видно. Как-то раз ей посчастливилось встретиться с ним. Он убийственно-равнодушно спросил Наташку: "Как жизнь молодая, стрекоза?" и, не дождавшись ответа, тут же пошел своей дорогой.

Теперь Наташке хотелось быть одной. Ничего не понимающие девки уговаривали ее посидеть с ними, ждали новых рассказов и, злясь и ругаясь, отходили от нее. Она сама себя не понимала; душа ее металась в поисках ответа, ей хотелось плакать от этой непонятности и неопределенности. По вечерам, на болоте девки по-прежнему жгли костер, поджаривали тонкие пластики соленого сала, нанизав их на ракиевые прутья, распространяя далеко вокруг невообразимо вкусный аромат. Наташку, же, не возбуждал даже так любимый ею запах: она вовсе потеряла аппетит. Отец добродушно усмехался: "Я знаю, Ташка, чего усе ето у тебе..." Наташка менялась в лице, пугаясь отцовской догадки, а он продолжал: "Хочешь ты, доча, талию такую-то иметь, тонкую-звонкую, как у этих твоих любимиц из "Кабачка "Тринадцать стульев""". Вот и голодуешь, так ведь?" Наташка облегченно вздыхала, радуясь, что никто не догадывается о ее тайне. Сейчас ей было не до телевизора, не до "Кабачка"; ее стали раздражать наивные, кокетливые шутки - песенки артистов. По зеленому неширокому большаку за огородами она убежала к мутноватой речке. Под ее крепкими босыми ногами с хрустом ломалась высокая трава, обрызгивая и освежая их прохладным соком. Наташка садилась у самого дальнего вирка и до самых сумерек глядела и глядела на маленькие вихрастые волны. Однажды, в самый разгар лета, она, накидав в простыню всякой одежды и завязав ее в огромный узел, пошла на речку стираться. В редкие летние дни, чуть свободные от нескончаемой работы, деревенские бабы так и делали. С завязанными за спиной узлами, держа в руках деревянные пральники, отправлялись стирать белье на торфяные ямки, заполненные чистой водой или "саженки", оставшиеся после вымачивания конопли. Речка была далековато, и не каждая баба отважится топтать туда.

Наташке как раз и нужно было уединение. Под необъятным го-

лубым небосводом, под теплым ласковым ветерком, колышущим две высокие стены золотой пшеницы с васильково-ромашковыми вкраплениями, поднимающимся по обе стороны небольшой тропинки, Наташка расслаблялась, распускаясь телом и душой. Она на это время забывала про все и видела-слышала лишь себя, легкую, босоногую, бодро шагающую по наезженной, твердой, как асфальт, желтой глинистой дороге. На речке никого не было и обрадованная Наташка приступила к делу. На деревянной кладке она намыливала белье и колотила пральником как заправская прачка. Это экзотическое деревянное орудие стирки сейчас уходило в забвение. В каждой хате теперь имелись стиральные машины и лишь в случае поломки хозяйки пользовались деревянным квадратом с небольшой ручкой, называемым, по-деревенски, "пральником".

Наташка звонко шлепала по мокрому тряпью, так и этак переворачивая его, как будто бы выгоняла, выколачивала из себя всю эту сумятицу, дурь, непонимание.

Вскоре выполосканное, отжатое белье ярко, разноцветно устлало весь берег, повисло на прибрежных кустах ив и издала казалось, что здесь раскинулся огромный цыганский табор. Наташка, совершенно голая, нежилась в прохладной воде, сгоняя усталость и растворяя в ней всю душевную смуту, когда, вдруг, услышала резкий крик и свист деревенских ребят. Выскакивать на берег было поздно. Мальчишки уже на бегу снимали рубахи и с разбегу плюхались в речку. "Только этого мне не хватало!" - сгорая от стыда, подумала Наташка. Она заплыла за куст и сидела там, по горло в воде, не зная, что делать. Совсем неподалеку трепыхался большой цветной полшалок, под солнечным ветерком надуваясь парусом, готовым взлететь. Ребятяна хохотала, норовя подплыть к Наташке, ладонями рассекала воду, брызги веером летели ей в лицо. Она пригибалась над водой, стараясь дотянуться до платка, но ветер, как на грех, отшвыривал его в другую сторону. Наташка ждала нового порыва ветра, чтобы подгадав, ухватиться за спасительный кончик полшалка. На мгновение осмелев, она резко выпрыгнула из воды и боком упала на уже высохший платок; завернулась в него, и, уже не боясь, не обращая внимания на орущих ребят, пошла переодеваться за ближние кустики. Одиночество было нарушено. Хотелось поскорее уйти, но некоторые плотные вещи еще не совсем просохли. Она хотела убежать в соседнюю рощицу, нарвать свежего щавеля, суп из которого очень любила, но побоялась оставить настиранное белье: от раздухарившихся мальчишек можно было ждать чего угодно. И тут Наташка увидела! Прямо к речке шагали три Толика. Она заметалась, засуетилась, стала собирать сухую одежду, но представила, как нелепо, некрасиво будет выглядеть с этим узлом за спиной в глазах больших парней, трех Толиков, а особенно в глазах одного из них. Наташка села чуть в сторонке на мягкую травяную кочку, вытянув загорелые ноги. Толики подошли к речке, по-

смотрели на плескающуюся ребятню - мелкотню и недовольно бросили:

"Тут же воробью по колено! Вот, блин, даже негде скупнуться"

- Толики! А вы идите на третий вилок. Там, ух, какая глыба! - заорали мальчишки застывшим в нерешительности бывшим морячкам.

Конечно, после виденных ими морей эта родная речушка была для них мелкой лужицей.

Наташке стало почему-то стыдно. За такую речку, за себя, за несмышленых ребят, весело и довольно плескавшихся в мутной воде. Толики прошли дальше, мимо нее, а вслед им, вразнобой, осмелевшие мальчишки кричали озорную дерзкую частушку-дразнилку:

"Толик - Толик сел на столик

И поехал на войну.

Дрался - дрался и укр...ся

И убил свою жану!"

Толик Малашин остановился, погрозил ребятам и, будто бы, только - только увидел сидевшую на кочке Наташку. Он вернулся к ней, присвистнул:

"Таха! Да ты с ума сошла! Столько настирала! Ты что, с раннего утра тут плюхаешься?"

И приподнял ее за плечи. Наташка чуть не обмерла и несколько мгновений не помнила себя. Уже не было рядом Толика, а она все стояла как вкопанная, чувствуя и ощущая легкую тяжесть и ласковость его прикосновений. Потом, медленно, как лунатик, ходила среди белья, складывала сухие тряпки в широкую простыню, вызывая вновь и вновь в памяти разговор Толика, его движения, его удивление. По тропинке во ржи она почти бежала. Все вокруг веселилось и пело; в вышине голубого, без единого облачка неба пересвистывались жаворонки, радостно светило солнце, мягко шумела золотая рожь, наполняя воздух хлебным душистым запахом. Веселилась и пела и душа Наташки! Ее маленькую грудь распирало непонятое счастье, а по лицу блуждала мечтательная улыбка. "Слава богу, что хоть никто не видит, как я смеюсь как дурочка, сама себе!" - думала она. Ей не хотелось сразу же идти домой и она, бросив полегчавший узел на зеленую бровку большака, уселась на него и стала мечтать: вот она закончила школу, затем культпросвет и возвратилась в село взрослой, красивой. В клубе она устраивает интересные вечера, концерты. Толик будет просто покорен ею, а она гордо пройдет мимо его, не останавливаясь, но так жадно ждущая его оклика, его разговора. А потом они, как равные, уйдут за деревню, в тихие синие сумерки, подальше от ненужных глаз...

Уже пропылило деревенское стадо, а Наташка все сидела и грезила. Вечером к ней "прибегла" Томка Малашина.

- Таш! Што, наш Толик и тебе авторучку подарил? Ен с ума со-

шел! Говорил, жа, чту у яго тама ухажерка осталася и ен к ней скоро уедить! Ен жа говорил, чту ей ету ручку подарит!

У Наташки внутри похолодело: "Вот тебе и клуб, и концерт! Вот тебе и будущая любовь!"

А Томка верещала: "А ты чаго побелела, как мой платок? Да, Ташка, огонь с ей, с етой яго ухажеркой! Отдал тебе подарок и ладно! А в ухажерки мы еще не годимся, да, Таш?"

Наташка ничего не ответила, метнулась от Томки, убежала в дальний закуток сада, уже на ходу решив, что сегодня она выбросит всю дурь из головы и вечером, на болоте, вновь будет девкам рассказывать новые истории.

Почти до полуночи слушали девчонки были-небылицы, краем уха где-то слышанные Наташкой и приукрашенные - дополненные ею. Соскучившихся девок даже сон не брал. Они теребили уже путавшуюся в своих рассказах Наташку и просили "дойти до самого конца". А этот "самый конец" у нее никак не получался, не подходил к логическому завершению, развязке и она, устав от своих выдумок, резко и неожиданно для слушательниц, остановилась. Те вопросительно уставились на нее.

- Девочки! Я еще сама не дочитала. Потом все вам расскажу!

Наташка демонстративно - широко зевнула: "ох, девочки, спать хочу - умираю!" и первая встала, отделилась от плотного кружка подружек... Потом, такой азарт, такое горячее желание придумать ей больше не посещало. Другие реальные чувства, мысли захлестнули ее; они и радовали, и мешали ей. Толик Малашин никак не выходил из головы. С этой бедной, "дурной головушкой", как говорила мамка, чуть не приключилась беда. В тот момент в хате никого не было. Наташка лежала на постели, опять же, вся в мечтах и грезах. И до того домечталась, крутясь с боку на бок, что как-то умудрилась засунуть голову в небольшую полукруглость железной узорной спинки кровати. Засунуть-то засунула, а обратно - никак! Наташка и так, и сяк, но не тут-то было! Она сначала не поняла, что случилось, даже засмеялась на свой казус, но, вошедшая в хату, мать так испуганно закричала, увидев дочку в неестественной позе с засунутой головой, что Наташке стало не до смеха.

- Ох, господи, царица небесная! Доча! Ты чаго ето? Ну-ка, ляжи, ляжи, не шевелись! - причитала Евдокия.

Она подошла к кровати, погладила "Ташечку" по бедной головушке. Попробовала остороженько освободить. Никак! Тогда Евдокия и захохотала! А Наташка, наоборот, заревела горячими слезами. И пока мать искала масло, что бы намазать "виски, можа, дурная твоя башка проскочить", дочка обильно эти "виски" - волосы смачивала слезами. Содрогаясь в рыданиях, она гладила их и, вдруг, почувствовала, что голову ничто не стягивает. Неизвестно как, но голова была высвобождена из железного плена и сейчас благостно покоилась на подушке. Мать подошла с бутылкой масла, уви-

дела счастливо-успокоившуюся дочку и, замахнувшись бутылкой, заорала, будто и не смеялась минуту назад:

"Ты чаго ж его удумала, зараза такая? Ты чаго вытивляешь? Гляди-ка, ище и жить не жила, а уже чарту подводить!"

Наташка опять заревела. Не от обиды на мать, а за свою неуклюжесть, за свое невезение: "Мам, я ж не специально. Даже не знаю, как получилось."

Евдокия тоже прослежившись, погладила Наташку и послала в огород нарезать свекольника для поросенка.

Лето мчалось быстро. Толик никуда не уехал, и Наташка чуть успокоилась. Как она ни старалась попасть ему на глаза, ей это удавалось очень редко. Однажды встрети-



ла его на болоте, перед самой грозой. Черная туча охватила полнеба, которое поминутно озарялось ломаными, сверкающими стрелами молний, в напряженной тишине чугунно громыхал-разорвался гром. Наташка очень боялась грозы, но заметив как Толик метнулся в проулок, на болото, чтобы загнать гусей домой, она, забыв про все страхи, тоже ринулась за своим стадом.

Многие уже гнали стада гусей к деревне, а многие еще и бегали по болоту с хворостинами, собирая гусей в кучу. Наташка обожгла подошвы ног колючими шишками "дедовника", но не обращала на это внимания, носилась по болоту, выглядывая не столько своих гусей, сколько Толика Малашина. Он гнал стадо впереди, и Наташка, собрав гусей, бросилась догонять Толика. Тут, как на грех, путь ей перерезала Черногузиха. Бабка охала и ахала:

"Унучечка, можа ты видела, ох, моих гадов? Неужли у горох уперлись. Мне ж, ах, тогда бригадир прибьет!"

- Нет бабуль, не видела, да и как я узнаю ваших гусей? -

- Наташка направляла хворостиной свое стадо, а Черногузиха не отставала от нее:

- Унуча, твои типеря сами добягут. Помоги ж ты мне! Не дай господи, побьет моих змеев градом, ты гляди ж, какая туча!

Наташка поискала глазами Толика, но его уже не было на болоте. Едва сдерживая обиду и слезы, клокотавшие в горле, она со злостью кинула хворостину и повернула назад. Бабка Черногузиха, подобрав прутик, еле попевала за Наташкой, приговаривала благодарно:

"Ты уж, унуча, прости старую дуру. Я уж тебе што-нибудь за это дам!"

Гроза разразилась вовсю, но дождик будто бы затаился, чтобы затем "ливануть как из ведра". Наташкина злость поубавилась, гроза ее больше не пугала, а когда Черногузиха, найдя своих гусей, закричала-заругалась на них, всячески обзывая, ей даже стало смешно. Переломившись в пояснице, наклоняясь почти до самой земли, Черногузиха собирала гусей, а Наташка, помогая ей, думала: "Повезло, ведь, бабке. А могло убить ее то гнездо!"

Звать бабку Аксюту Черногузихой стали после того, как на нее свалилось гнездо аиста, по-здешнему, черногуза. Этот черногуз каждую весну возвращался на старую ракиту бабки Аксюты. Еще живой дед Парфен приладил сверху, между крепкими сучьями, резиновую шину - колесо со сломанного трактора "Беларусь", на котором сам проработал всю свою жизнь. Неизвестно, как он сумел поднять на такую высоту довольно объемное и тяжелое колесо, тем самым, создав для своего любимого постояльца свободное, широкое, удобное жилище. Не имея своих ребят, бабка Аксюта с дедом Парфеном по-детски радовались и умилялись, когда большая птица приняла свой новый "дом" и начала его благоустраивать. Скоро колеса не стало видно, а в высоком зеленом шатре ракиты красовалось огромное гнездо, обложенное ветками, прутьями, как будто деревенская хата дранкой; затем черногуз стал таскать глину и лепить ею свою "хату", - будто бы штукатурить ее, опять же, как это делают люди.

Не зря так старался трудяга - аист и, однажды, на рассвете, в его "доме" появилась такая же большая, грациозная аистиха. Через положенное время в теплом родительском гнездышке закурлыкали маленькие аистята. Непознавшие радости отцовства - материнства, дед Парфен с бабкой Аксютой не могли насладиться птичьим семейным счастьем; задирая кверху головы, глядели они на ожившее гнездо и глаза их туманились печальной влагой.

Три года назад деда схоронили. И опустело гнездо. Черногуз не прилетал. Стало пусто и внизу, в хате, и наверху, в кроне ракиты. Тосковала бабка Аксюта, томилась одиночеством. Часто сидела она под ракитой, будто ждала прилета птиц, ставших родными, почти членами маленькой семьи.

И в тот раз, бабка Аксюта скучала под ракитой, когда вдруг, неожиданно сверху упало гнездо. Бабка - ни жива, ни мертва! Соседские мальцы видели все это и разнесли по деревне: "бабку Аксюту гнездом убило!" Но ее даже не зацепило. Первое время от испуга

бабка не разговаривала, лишь согнулась еще больше. А через неделю, вдруг, резко закричала:

"Ну, это и мне скоро конец! Попрошался со мной наш черногуз! И мой Пархвен, наверно, там мне заждался!"

Слава богу, бабка ожила, еще бегала по двору, имея небольшое хозяйство, а прозвище "Черногузы", которым их тайно звали, теперь укрепилось, и бабуку все стали открыто кликать "Черногузихой"... Стеной обрушился ливень. Наташка и бабка Черногузиха вмиг промокли до нитки. Мокрая одежда облепила тело и сдерживала ходьбу. Черногузиха причитала - молилась:

"Боже милостивый! Хорошо, что ни град! Уберег наши с невинной душой головушки!"

Когда Наташка вбежала в хату, мать набросилась на нее:

"Ты глянь-ка, своих гусятюк кинула на произвол судьбы, а черногузихиных пожалела"...

Наташку знобило два дня, хотя на улице после грозы воцарился изнуряющий зной. И эти два дня были, будто вычеркнуты из ее жизни. Она никуда не выходила, никого не видела, кутаясь в теплое одеяло.

И опять страдала по Толику.

Появившись на улице, Наташка услышала от девчонок, что к сентябрю в школу приедут новые учительницы. И вправду, прошедший учебный год налицо показал нехватку педагогов. Уроки отменялись, заменялись другими, вести их приходилось самому директору школы. Это известие почти не тронуло Наташку. Ах, если бы знать, что оно сулило! Но, пока продолжалось лето, в душе Наташки пело - звенело народившееся чувство, скрытое ото всех и устремленное только к одному человеку в этом мире. А "этот человек" спокойно покуривал на крыльчке, сплевывая в разгребенную курами землю; вечером громко смеялся в компании своих друзей - Толиков и, казалось, вовсе не замечал Наташку. Лишь иногда, при встрече с нею, он, как-то удивленно, по-особому посматривал на нее, подтрунивая над нею.

Ах, как до обидного мало было этих встреч! А тут еще новая беда! Опять не повезло Наташке.

Дядь Витя Широков качал мед. У него одного в саду стояли улья. По улице летали пчелы, запах медовых сот заполнил всю округу. Дядь Витя был добрый мужик и деревенская ребятня крутилась возле его хаты в ожидании угощения. Многие девки и ребята приходили со своим хлебом, а тех, у кого не было, тетя Сима, его жена, одаряла своими пышками. Большая, глубокая миска с медом выставлялась на крыльцо. Вся толока рассаживалась кружком и куняла золотистый, теплый, необыкновенно вкусный мед. И надо же такому случиться! Изю всей этой толоки наглая пчела выбрала Наташку и жახнула ее в переносицу. Хотя подбежавшая тетя Сима быстро выдернула жало, переносица Наташки на глазах стала распухать и

она, бросив кушанье, со слезами убежала. Убежала не домой, а к бабке Мотре, хата которой была ближе. Родная по отцу бабка накладывала на горящее лицо Наташки мокрые рушники, но к вечеру у нее заплаыли оба глаза. Бедная Наташка выла белугой, скатилась на земляной пол в сенях бабки Мотри - там было прохладнее. Давящая, тянущая к низу все лицо боль, а еще пуще досада, обида за свое невезение разрывали сердце Наташки. Только на четвертый день открылись глаза, окруженные синяками, но она еще не смела, стеснялась выходить на улицу. После этого случая у нее как-то потускнели радужные мечты, притупились надежды. Теперь она остерегалась вольности своих сладостных грез, боясь какого-то злого рока, несчастья. Поздними вечерами в разговорах девок все чаще возникала тема любви. Кто-то, где-то слышал, что если первая любовь несчастливая, то и дальше ничего хорошего не жди. Наташка помалкивала. Однажды, в девичий кружок не пришла Томка Малашина. Девки, посмеиваясь в рукава фуфаяк, сообщили, что она больше и не появится: ушла в клуб с Ванькой Колесиним. Наташке, несмотря на тесный круг стало грустно и одиноко. "Вот тебе и не годимся у ухажерки!" Они с Томкой здесь были самые старшие, и теперь Наташка чувствовала себя покинутой и даже предательски брошенной. "Томка уже с женихом, а я сижу тут с малолетками..." - ей захотелось уйти, но сделать это резко, она не решилась, зная, что уже больше не придет сюда.

Тонкими, еле видимыми паутинками обозначился, подоспел август. И этой невесомой паутинкой касался, еще задевал душу Наташки Толик Малашин. Но она гнала прочь вновь приближающиеся к ней мечты и грезы...

В двадцатых числах августа село облетела новость: "Приехали две учительницы!" Сразу две Дины. Афанасьевна и Петровна. Поселились они у бабки Черногузихи. Перед их приездом Наташка с другими девками наводили чистоту и порядок в хате бабки. Они драили голиком полы, мыли лавки; разобрали заплесневелую посуду на палице, половину из которой выкинули в мусорное ведро, на что Черногузиха закричала:

"Девки, так вашу матушку! Вы ж мне без чашек оставите! Чистюли - приборщики!"

Засохшие гераньки, давно забытые и неполиваемые бабкой, называемые ею "мокрыми ваньками", девки вынесли в сенцы, пожалев выбросить и надеясь, что они "отойдут", обильно пролили водой. С растрескавшихся оконных рам сыпались старая краска и серая замазка при попытке открыть окна, и когда все же, работницы распахнули их - в уютно-прибранную хату хлынул поток свежести и света. И не знала, не ведала Наташка чем для нее обернется такое усердие и старание, какие душевно-трагические события развернутся с поселением квартиранток - учительниц. Районные девушки "Дины"

считали себя городскими и, поначалу, с новыми деревенскими знакомыми вели себя сдержанно.

Бабка Черногузиха "жалилась" своей соседке Мане - "хохлушке": "Гребуют они нами, Мань! Гляди-ка, даже у клуб ни разу не сходили. Ну, как же, они, вить, учительши! Сидят все у хатя ды балакают. А я им говорю: вы, девки, хуть и грамотные, а все - таки молоденькие. И обе - какие-то Дины. Это што же за имена? У нас на селе никого так не зовут. А я одну буду звать-Петровна, другую - Фанасьевна."

Начался последний учебный год. Дина Петровна вела географию, Дина Афанасьевна - алгебру и геометрию. Учительницы резко отличались друг от друга. Дина Петровна была невысокого, скорее маленького роста и, наверное, чтобы казаться выше и стройнее, носила высокую прическу, состоящую из пышного начеса русых волос, затянутых в модную черную сеточку, которую бабка Черногузиха окрестила "две головы". У Дины Петровны были маленькие ладошки, в которые она восхищенно хлопала, рассказывая что-нибудь захватывающее о далеких странах и других народах.

Дина же Афанасьевна, наоборот, была высокая, с очень коротенькой, черной стрижкой, за что от бабки "Черногузихи" получила кличку "стриженная". В отличии от веселой, разговорчивой коллеги, Дина Афанасьевна была серьезна и молчалива. Но бабка Черногузиха, все-таки, "разговорила" ее, допытываясь до странного имени - Дина. Учительница призналась, что по идее, ее имя - Нина, но на тот момент, когда регистрировали новорожденную, у ее мамы был "страшный" насморк, и вместо "Нина" работник ЗАГСа, не поняв, записал имя Дина. Схватились не сразу: надо было скорее отметить радостное событие, а когда разглядели - образовалось два противоположных лагеря. Мама плакала, винила себя, а молодой папаша загорелся, засветился от счастья. Он вскидывал вверх руки и орал: "Вай! Это же самое прекрасное имя! Это наша судьба!" "Обрусевший" отец имел далекие восточные корни. После этого рассказа Черногузиха стала относиться к Дине - "стриженной" более теплее и снисходительнее.

Обе учительницы развернули в школе культурно-просветительную работу. Был организован театральный кружок, руководила которым Дина Петровна и в который сразу же записалась Наташка. Учительница с самого начала почему-то выделила ее и во время репетиций обращалась к ней, как к помощнице. Наташка была выше своей маленькой наставницы и ей хотелось съездиться - скукожиться, чтобы быть поменьше и не смотреть на Дину Петровну сверху вниз. Дина Петровна давала Наташке главные роли, восхищаясь ее талантом, прихлопывала своими ладошками, когда ее "главная актриса" исполняла музыкальные номера в пьесах. Все шло замечательно и Наташка даже жалела, что скоро закончит школу и уедет из села, покинув интересное школьное театральное занятие. Это

увлечение на какое-то время даже затмило образ Толика Малашина. И, вдруг, как гром среди ясного неба!

Три Толика перестали ходить в клуб. Теперь "Толики" проторили дорожку к кособокой хатке бабки Черногузихи. Бабка смеялась беззубым ртом:

"Ох, бабы, ето ж надо! Их - три Толика, а у мене - две Динки. Ето ж получаетца, что одному пары нетути! И хто жа ето будить третьим лишним?"

Бабы тоже удивлялись: "Нада ж, усе утраем туда повадились! Ты, баб, своим старым глазом высмотри, хто там с кем, а потом нам и скажешь!"

Черногузиха ковыляла к своей хате, бормоча на ходу: "Дела будить видна! Тама уже кому повезеть!"

Три Толика определились в колхоз, хотя, по слухам, все трое раньше собирались в город. Два Толика "шоферили", а третий, именно Малашин, "сел на трактор".

Наташка, как убедилась в справедливости бабьих слов насчет "трех Толиков, двух Дин", то опять, с новой силой принялась страдать - переживать.

"Ну, зачем, зачем ты ходишь туда? Ты ведь, наверняка, третий - лишний, ты ведь мой и только мой." - горевала она ночами, увещевала ничего не подозревающего Толика Малашина. Теперь она ненавидела этих учительниц. Обеих Дин. Хотя и не знала об их отношении к объекту ее вздыхания.

Пришла зима. Такого снега деревня не видывала давно. За ночь сугробы наметало до самых крыш. Откапываясь по утрам, мужики шутили, глядя на переметенную дорогу, по которой бежал один из Толиков:

"Што, Толик, седня твоя очередь спасать бабьих постояльцев?"

На этот раз к заметенной хате бабки Черногузихи бежал Толик Сажин.

Зимние каникулы совпадали со "Святками". До самого крещения молодежь в клубе играла в "Баню": дурачились, смеялись, целовались. Но, напрасно деревенские девки ждали трех Толиков на веселые игрища. Две новые, чужие девушки, две Дины, как будто приковали их к себе. Как-то, Наташка услышала разговор матери с соседкой, тетей Нюрой. Та жила рядом с Яцковыми, и от матери Толика Яцкова узнала, что тот надумал поступать учиться.

- Ну, уж, Дунь, ето, конечно, ни яго задумка. - тараторила соседка, - Тут, известное дело. Черногузиха говорить, чту одна пара - готова! Та, что стриженная, зовут Диной Хванасьевной, вот, Толик с ею. Сама вучена и малого сбивает. Хотя, конечно, это дело хорошее. Чем бензином вонять, лучши быть культурным.

Довольная своим сообщением, тетя Нюра вышла из хаты, а Наташку обожгло радостью: "Слава богу! Только не Малашин! Только не он!"

Теперь она с жадностью ловила всякие слухи и сплетни, надеясь, что и вторая учительница определится с женихом и, конечно, это будет другой Толик. Толик Сажин. А самый красивый, самый умный, самый горячий Толик Малашин будет ее, только ее и ничей больше. Три Толика по-прежнему торили дорожку к двум Динам и неизвестно было, какого же из Толиков предпочитает Дина Петровна. Она же никак не торопилась с определением.

Почернели, завлажнели мартовские дороги, усыпанные соломенной трухой с последних стогов, привезенных на волокушах с дальних лугов. Синие густые сумерки пахли талым снегом. Наташка до позднего часа не торопилась в хату, ей хотелось вдыхать и вдыхать этот необъяснимо - волнующий свежий весенний запах. Теперь даже уроки она делала на улице. Толик Яцков перешел работать в школу, занимался ее хозяйством, но машину не бросал, обещал Дине Афанасьевне учиться заочно. Парочка отделилась от компании. Теперь они были только вдвоем. Все поговаривали о предстоящей свадьбе. Бабка Черногузиха докладывала деревенским бабам:

"Молодец, Динка - стрыженная! А ето другая, "две головы" - ни мычить, ни телесца. Обeim ребятам мозги загудрила. Надо ж, Толик Малашин по ей прямо с ума сходить. Вить, ен даже не пообедаить, а сразу летить к ей. -

Тут бабка Черногузиха делала паузу, вытирала концом платка рот и уже тихонько договаривала, - А я, бабы, усеж-таки, нутром чую, чу ей боля нравица Толик Сажин. Че, бабы, будить? Че будить? И все же, наконец, Дина Петровна сделала выбор. Наверное, бурное весеннее половодье, с витающими вокруг невидимыми любовными флюидами подхлестнуло ее на этот решающий шаг. Избранником оказался, действительно, Толик Сажин. "Бесплатное кино", по словам бабки Черногузихи, с любовным "пятиугольником" закончилось, и теперь вся деревня переживала, открыто жалея отвергнутого Толика Малашина, которого раньше ничем не выделяла из равных, одинаково - интересных трех Толиков. Бабка Черногузиха радовалась: "Вот и я богатая стала! Сразу при двух машинах!" Бабы, досадливо махали на нее руками: "Угомонись, бабка! Неужель ты думаешь, што оны будут жить у твоей гнилушки?! Да оны рады без памяти съехать от тебе!" Черногузиха сразу скучнела лицом и тихо произносила себе под нос: "Вот, завидуший народ! Нет, штобы поддержать одинокую старуху... А то я не знаю, шту оны уйдуть!"

Толик сходил с ума от своего горя, Наташка же прыгала от счастья! Ей казалось, что так и должно быть, все справедливо. Это - ее судьба! В один из поздних вечеров, когда вся улица монотонно звенела от весенней песни майских жуков, в хату вместе с матерью вошла тетя Надя Малашина. Она села на краешек лавки, опустив книзу натруженные, в синих жилах, руки:

"Ох, Дунюшка, не знаю что и делать теперь... Пропадаить мой Толик. И мне самой так томна. Усе позакинул, позабросил. И трак-

тор, и дом. С лица весь спал. И чаго ен нашел у етой мелочи? Только шту учительша! Дробненькая как мышка! Вон, твоя Таха и то девка интереснее!"

Наташка как раз выходила из зала с крылом в руке. (Крылья гусей издавна здесь использовали вместо веников.) Она засмузилась, покраснела, что не ушло из виду Малашихи.

- Ты што, девка, застеснялась? Успыхнула уся, как маков цвет! - заулыбалась тетя Надя.

- Надь! А то ты не видишь? Улюбилась она, ж, у твоего артиста! Наклонив голову, Наташка выскочила в сенцы, а затем убежала в сад.

"Идет, бредет зеленый шум,  
Зеленый шум, веселый шум"

Гудел не только зеленый сад, гудела голова Наташки. "Какая мамка! Ничего не соображает. Ну зачем она это лягнула?!" Вышедшие из хаты мать с Малашихой остановились у загородки, и Наташка услышала как тетя Надя жалилась матери: "Пить, Дунь, Толик стал. Вот иде горюшко-то! Я уже, грешным делом, думаю, штоба ен уехал. У город. Мозги проветрятся быстрее и, можа, забыть про свою любовь."

У Наташки сжалось сердце: "А, вдруг, и правда уедет? Но ведь и ей скоро придется выпорхнуть из родного гнездышка... И, все - равно, пока он один, он - мой! И он придет ко мне!" И Толик пришел. Через неделю. Пришел пьяный. Его всюду искала мать, в слезах прибежала сестра Томка, плакала и за брата, и за свою несостоявшуюся любовь с Ванькой Колесиним.

"Проходили мы с ним, Ташка, всего - ничего, а ен уже и давай распускать руки! Ну, я яго и отшила! А теперя Ванька в упор меня не хочет видеть!" - ревела бедная подружка.

Наташка была счастлива: он пришел! Пусть даже сильно выпивши. Он пришел, именно к ней! Они сидели в вечернем саду, скрытые кустами благоухающей смородины. Оттого, что Толик был пьян, Наташку охватила смелость. Откуда что и взялось?! Сейчас она была старше его, все понимающая и любящая, как женщина, и мудрая, все прощающая, как одна единственная мать.

Толик, обнимая, тыкался своей чернокудрой головушкой ей в плечо, повторяя одно и тоже: "Я - дурак. Прости, Наташка, я такой дурак!"

Наташка, самая счастливая в этот миг, оттого, что он обращается к ней по - взрослому, называя полным именем, все гладила и гладила его волосы, лицо, мускулистую грудь в расстегнутой рубашке. Толик ловил ее руки, целовал ладошки. Несколько раз кликала мать, но они молчали, затаившись. Потом Наташка стала его уговаривать идти показаться домой, чтоб успокоились, но Толик, вдруг, предложил: "А, что Наташуль, дай-ка я тебя на тракторе покатаю. Хочешь? А потом и подкатимся прямо к нашей хате..."

Наташку не пугало ничто: ни то, что Толик садился за руль в изрядном подпитии, ни возможные пересуды.

Она ждала его на большаке. Трактор ослепил включенными фарами ее одиноко стоящую фигуру. На какой-то миг Наташка усомнилась в нужности всего происходящего, а Толик уже распахивал перед ней дверцы кабины: "Залезай!" Наташка подтянулась, влезла в кабину, села на промасленную фуфайку, брошенную на сиденье, вдохнула специфический запах горячего железа, бензина, и для нее он был сейчас приятнее и милее всех духов на земле. Трактор рванул в поле. Он врезался в густую, плотно-осязаемую темноту наступившей ночи, разрезая ее светом фар. Через дорогу пронеслись застигнутые врасплох суслики. Наташке стало весело. Она подпрыгивала на сиденье и хохотала от души, завидев очередного зверька, дающего стрекача из-под колес трактора. Свою технику Толик Малашин любил и знал, как "пять пальцев". Потому, вел трактор уверенно и твердо, как-то сразу отрезвев. Они уехали далеко от деревни. Погасив фары, остановились у небольшого перелеска. И тут Наташка чего-то испугалась. Она выпрыгнула из кабины и стояла, не зная, что делать. Толик, невидимый в кромешной тьме наступившей ночи, подошел сзади, повернул ее к себе. Стояли молча. Протрезвевший Толик стал задумчивым и серьезным. Тогда Наташка сама предложила прогуляться.

"И куда делись звезды? Ведь на небе совсем не было туч! Но так даже и лучше!" - мелькнуло у нее в голове. В этой ласковой, обволакивающей темноте не было видно Наташкиной растерянности и скованного, вдруг, смущения. Они шли рядом, чуть касаясь друг друга. Наташка почувствовала какую-то непонятную усталость. У нее дрожали ноги, а затем этот мандраж передался и всему телу.

- Ты что, замерзла? - Толик приобнял ее за плечи, и она тут же опустилась на землю. От земли исходил дурманящий, пьянящий аромат, настоящий на самых разных цветах и травах за длинный солнечный день вовсю бушевавшей весны. Толик бросил вниз свою рубаху, усадил на нее Наташку, приобнял, вроде бы согревая.

- Ты что, сам застынешь! - Наташка попыталась встать, но горячий Толик плюхнул ее на место, сел сзади, обхватив руками, и игриво пропел: "В том саду было тихо и спокойно.

Сквозь деревья светила луна.

На зеленом ковре мы сидели, целовала Наташа меня. - помолчал секунду и добавил, - Но нету сада - есть лес, нету луны - есть тьма, хоть глаз выколи, но есть, есть Наташка, которая меня совсем не целует."

А Наташка гладила его руки, касалась их щекой и хотела только одного, чтобы это счастливое мгновение длилось дольше. Медленно - медленно, остороженько, Толик стал покачивать Наташку, все больше и больше, наклоня назад. Она, как замороженная, полностью подчинилась этому сладкому расслабляющему движению. Вот

уже голова ее запрокинута, и над собой она видит лохматого, кудрявого Толика, к которому с любовью и лаской тянутся ее руки. Толик нежно касается губами ее глаз, смешливо тербит своим носом ее нос и когда его губы приближаются к Наташкиным, он почему-то обходит их, едва задев. Ее же губы жадно ищут рот Толика, постоянно ускользающий от поцелуев. Она не понимает, почему он не хочет ее целовать?! А его руки уже на груди Наташки. Она отпихивает его, но Толик вновь и вновь пытается дотронуться до небольших, упругих бугорков. И Наташка отступает. Ей интересно, что будет дальше.

А дальше, осмелевший Толик уже поглаживает чутко лоящий его движения плоский животик Наташки, и она замирает, растворяется в доселе неведомой неге и томлении.

Вдруг, он резко вскакивает, выдергивает из-под Наташки свою рубашку и совершенно другим, чужим голосом кричит:

"Все! Хватит! Ты смотри, разлеглася! Ты ведь еще "зеленая" совсем! Молоко на губах не обсохло, а туда же... И я тоже, хорош гусь! Но ты пойми меня! Неужели не понятно тебе ничего!"

От такого неожиданного поворота долгожданной встречи Наташка обомлела. От стыда, невыносимой обиды и унижения она еле - еле добрела до трактора. Кое-как забралась в кабину, не поднимая глаз на Толика, попросила остановиться у околицы деревни.

- Ты что, думаешь я чего-то боюсь? Сиди! Довезу до самого дома!

Так быстро изменившийся Толик, сердитый и грубоватый подрулил к самому крыльцу Наташки. Последнее, что она услышала из-за таратенья трактора были его слова: "Все, амба! Завря уеду к черту!"...

В жизни Наташки это была вторая бессонная ночь. Ту, первую бессонницу, случившуюся два года назад, она помнила до мельчайших подробностей. В семье произошла большая неприятность. Евдокия потеряла выданную за три месяца зарплату. Целое лето ждали этих денег, у колхоза накопились экономические проблемы и бедные колхозники выкручивались, как могли. Слава богу, что спасало свое хозяйство да престарелые деды с бабками, получающие стабильную пенсию и выручающие своих детей и внуков. А тут - такая радость! Дают получку! Да еще какую! За целых три месяца! Как раз, "собирать детей к школе". Мать Наташки шла домой счастливая. По дороге уже прикинула: "Сколькя и чаго купить своим девкам. Старшая Наташка просила новое пальто к зиме и обязательно с песцовым воротником. И где, у кого она выглядела етот воротник из песца какого-то? Да еще голубого! Я-то, грешная, усю жисть свою бегаю в жакетке да еще с молодых годов валяется у шифоньере зеленое пальто с кошачьим воротником! А оны сейчас, детки наши..." Но тут Евдокия решительно себя обрывала:

"Нет! Нада девке куплять ето голубое пальто! Пху, ты! С голубым песцом! Пускай, моя будить не хуже других!"

В хате дочери бросились разбирать сетки, сумки с продуктами, что Евдокия купила в сельмаге. Как всегда, конфеты разделили по кучкам, не забыв отца с матерью. И тут, Наташка заметила, что мать сидит белая как мел. Она бросилась к ней.

- Девки, я штой-то деньги не найду! Они же были у мене у кустюме. У унутреннем кармане. А тут нету ничего. Ой-е-е-ей! - еле проговорила Евдокия пересохшими губами.

Она сняла "кустюм". Девки побросали дележку сладостей. Младшая Тоня заревела, глядя на испуганную, побледневшую мать. Пиджак, называемый в деревне "кустюмом", в котором бабы выходили "на люди": в школу ли, в магазин ли, сельсовет, или при поездке в район и область, осмотрели со всех сторон, ощупали, проверили, потрясли все карманы и кармашки. Денег не было! Евдокия схватилась за сетки - сумки. "Можа ен тута. Я ж яго, етот свертучек с деньгами так аккуратно завязала. Завернула у бумажку!" Разглядывали содержимое сеток снова и снова. "Свертучка" не было. Тогда Евдокия метнулась на улицу, за ней "полетели" девки. Пошли медленно, друг за дружкой, не поднимая глаз от дороги. Любой белой предмет, любая бумажка резко толкала сердце в груди и, когда уже подошли к правлению, где выдавали получку, в глазах у всех рябило, плавали - метались разноцветные круги. Обратно шли вдвоем. Мать и Наташка. Младшие Тоня и Люся, еще недопонимающие случившегося, поскучав немного, убежали играть.

- Доча! А можа я у магазине оставила? А? да, конечно, тама ён! И где ж ище? Пойдем-ка, доча, к Дашке! Толька тама - больши нигде!

- Евдокия затормошила Наташку, лицо ее осветилось жалкой улыбкой и они повернули к Дарье, продавщице сельмага, живущей на самой дальней улице села. Та, поняв причину прихода, захлопала себя по крутым, полным бедрам:

"Ох, Дуня, Дуня! Ну, как жа ты так! Ох, ты, мать - царица небесная! А на прилавке, Дунь, я не видела ничегошеньки. Ведь за тобою, Дунь, сколькя еще людю стояло?! Ведь усе деньги получили и кинулись у магазин! А хочешь давай пойдем сейчас туды, если не веришь!"...

Но уставшие и разбитые своей бедой мать с дочерью повернули на родную улицу. Уже вечерело. Вот-вот, должны были пригнать коров. "Но как же сказать отцу? Что будет?" Этот вопрос мучил обеих. И когда Наташка, подоив корову, начала цедить молоко, она поняла, что отец уже знает обо всем. Они с матерью сидели за столом, друг против друга. И думали об одном и том же. Затем, отец встал, вздохнул и с какой-то бравадой произнес:

"Ну и чаго? Теперь помирать что ль? Жили ж столькя время без этих денег - и еще проживем! Займем у людей, - здесь отец даже пошутит, - оны сейчас усе богатые стали. Ничаго! Пускай поделют-ца!"

Тяжкий гнет - камень свалился с Наташки. Завсхлипывала мать, благодарно глядя вслед вышедшему в сенцы отцу. Наташка хотела

подойти к ней, обнять-пожалеть, но застенялась проявления своих чувств. Всю ночь она не могла уснуть, кусая губы. Стоило лишь на мгновение прикрыть веки, перед ее глазами все плыла и плыла со всяким мусором серая дорога... Она слышала, как мать вышла из хаты. Рассвет только-только занимался. Наташка выскочила вслед за нею. Ей вдруг стало страшно за мать, за ее задумки. Шлепая по прохладной с ночи пыли босыми ногами, она догнала Евдокию.

- Дочичька, иди ж ты домой! Поспи, еще вон какая рань! А я пройду, пока никого нетути.

Наташка, чуть не плача, спросила: "Мам, а ты с собой ничего не сделаешь?"

- Да ты што, доча? С ума сошла! Даже и не думай про это. Иди - иди, досыпай!

Наташка забралась на поветь с остатками прошлогоднего сена. Через вырубленное маленькое окошко наблюдала за рождением нового дня. Вот, край далекого горизонта стал розоветь и расширяться. Потом полоска, растаивая, стала приобретать нежно-оранжевый цвет и вот неуловимо-медленно показался краешек диска солнца. Наташка не отрывала зачарованного взгляда, а солнечный диск все увеличивался и увеличивался, и под его небесным сиянием просыпалось все живое на земле. На миг Наташка забыла про все, а когда воспоминанье об утере опять кольнуло ее острой тоской, она взмолилась к Солнцу: "О, великое, милое, доброе, самое прекрасное Солнышко! Помогите нам! Сделай чудо, чтобы мамка нашла эти деньги!"

Она заревела в полный голос, зная, что чудес, к сожалению, не бывает. Уткнулась в сухое сено с едва-уловимыми запахами разнотравья прошлого лета. Но чудо свершилось! Наташка сразу почувствовала это, даже еще ничего не зная. Острым слухом она уловила отдаленный разговор матери с кем-то. И мать говорила весело! Даже смеялась. Уж ли не блазнит Наташке?! Она по лестнице спустилась в сенцы и выбежала на улицу. Уже совсем рассвело. Мать шла с пастухом, собиравшим стадо на выгон. В ее руках что-то белело. У Наташки перехватило дыхание. Мать несла сверток. С деньгами. Из хаты вышел отец, с опухшим, от беспокойной ночи, лицом.

- Ну, Алексеич, наверно, я усе-таки, счастливая! Не могу никак поверить и сообразить! Вчера ведь усе обглядела. Два раза, ж, ходила! - задыхаясь от радости, Евдокия перевела дух и торопясь поделиться счастьем, продолжила:

- А сёдня, рано утром, вон Ташка видела, я пошла еще раз. Думую, господи, если ты есть, то пожалей жа ты моих деточек, не обидь их горемычных из-за такой-та их матери непутевой. Иду я, значит, иду. Подхожу к хате Жулькиных. Тама чтой-та белелося. Гляжу, нет, это просто клок газеты. А рядом ляжит лепешка коровья, засохшая. Я разозлилась, ды ка-ак ногой швырну ее... Ой, господи! А под этой

засохшей кучкой ляжить мой свертучек. Как я яго стянула - увязала тряпочкой - так и ляжить!

Смеялась счастливая Евдокия, смеялась Наташка, улыбался отец. Наташка была уверена, что в их беде помогло великое Солнце и, с тех пор, она наблюдала за ним, восхищалась им, боготворила его. Но с тех же пор и осталась у нее привычка: кусать губы в любой волнительной ситуации...

...В эту же, вторую бессонную ночь Наташка в кровь искусала губы. Мучил и мучил стыд. Как грубо он кричал на нее? Как он мог так обидеть, унижить. Хотелось убежать далеко-далеко, чтоб никого не видеть, а особенно его. Наташка залезла на спасительную поветь, упала на старую, ненужную одежду и решила не спускаться вниз насколько хватит у нее терпения. Утром Евдокия, зная "похоронку" старшей, поднялась туда. Увидев опухшие, истерзанные губы дочери, испуганно спросила:

"Дочичька, скажи мне правду, не бойся. Он што, можа тебе тронул? Я ж, доча, усе знаю. Я ж видела вас у тракторе. Признайся, доча, скажи матери."

Наташка не смогла вымолвить слова, обида с новой силой захлестнула ее, она зарыдала.

- Ах ты, господи - прости! Ну, я сейчас выведу яго на чистую воду! Я яго сейчас благослаблю! -

- Евдокия быстро спускалась по лестнице. Наташка подбежала к краю повети, громко закричала вниз: "Мам, не ходи туда! Не ходи к ним!"

Прошу тебя! Он мне ничего не сделал! Он не трогал меня!"

Спустившаяся Евдокия запрокинула вверх голову: "Тогда слезай сюды!"

Не своди мне с ума! Ты должна об учебе дальнейшей думать, тебе поступать надо дальше, а ты как сдурела. Ты ж должна понять, шту ен любить ету Динку двухголовую и бесится от ревности. А ты ж еще маленькая, дурочка ты моя! У тебе етих Толиков будить уйма!"

Наташка слезла, но целый день не выходила из дома. Сестренки смотрели на нее удивленно, и мать пояснила им, "што наша Таша штой-то приболела". Жалея поникшую Наташку, все понимая, Евдокия даже не загружала ее семейными делами. Наташка, как тень, слонялась из хаты в сенцы, из сеней в хату и все прокручивала, прокручивала их ночную встречу. Ей не верилось, что все так и закончится, ей этого не хотелось, ведь Толик раньше так хорошо к ней относился. Наташке, вдруг, нестерпимо захотелось увидеть Толика. Поговорить с ним. По-доброму. И расстаться по-доброму. Пересилив себя, зажав в комок трепещущее волнение и смущение, она пошла к Малашиным. Будто бы, к подружке Томке. Голос Томки раздавался во дворе, она кричала на поросят, мешающих ей чистить закутку. Робея, пугаясь в словах, Наташка спросила, почему трак-

тор стоит у дома. Томка-Тихоня, не поняв намека, с упреком ответила:

"Таш, а то ты, будто ба, не знаешь, шту етот трактор усе время стоить около хаты. Зачем Толику гонять яго туды-сюды. - и тут же подружка выложила так нужные сейчас Наташке новости: - Ну, слава богу, Таша, скоро наш Толик етот трактор поставит на якорь. Два дня уже у городе. Поехал насчет работы. Правда, у колхозя еще не рассчитался. А я, Ташка, даже буду рада, если он тама определится. Он, беднай, и сам замучился, и нас усех поизмучил. Да, а ты слыхала, шту у Дины Афанасьевны послезавтра свадьба? - перескочила на другую тему Томка, - И нашего тоже пригласили. Толькя, думую, ен не пойдеть! И зачем оны в мае задумали жениться? Не могли еще чуть-чуть обождать! Скоро лето, лучше бы летом..."

Последние Томкины слова звучали уже вдогонку Наташке. Ей захотелось разобраться в услышанном, осмыслить происходящее. Она спряталась в саду и, сидя на маленькой скамейке, думала: "Ну, вот скоро все и закончится! Счастливые две Дины - два Толика поженятся, а несчастный Толик Малашин уедет в город. И разойдутся их пути-дорожки." Видать, проболталась подружка Томка брату о приходе Наташки, которая об этом только и мечтала и специально придумала этот визит, и сам Толик, вернувшись из города, вызвал ее "поговорить". Они стояли за стеной старого сарая.

- Съездил я, Наташа, у город. Работы тама навалом! Иди куда хошь! Вот не знаю, што и выбрать: то ли завод, то ли стройку. - Толик говорил опустив голову.

Наташке, до щемящей тоски в душе, стало жалко его. Такого потерянного и одинокого. Она прижалась к нему плечом. Толик вскинул голову и горячечно-быстро заговорил: "Ташка, ты знаешь, я еще тогда, ну, утром хотел перед тобой повиниться! Не знаю, што случилось со мной? Што на мне нашло! Прямо усе как у туманя! Ты хорошая девка! А ведь я чуть не сорвался!" от его признанья у Наташки отлегло от сердца и даже засветились потухшие было глаза. "Я же знала, знала, что он не такой! Его тоже мучила совесть! Какой же он молодец, что все-таки пришел." Наташка взяла его руку, погладив сказала: "Я, Толя, не обижаюсь! Я же знаю, что ты не хотел этого.

Ты, сам только не переживай, у тебя будет все прекрасно, вот увидишь! Ты только потерпи! И не срывайся!"

Толик сорвался. В день свадьбы друга Толика Яцкова и Дины Афанасьевны он уже пьян был с утра.

Ближе к вечеру приглашенные потянулись в только что построенный новый клуб, где игралась свадьба. Пьяный Толик сидел на его ступеньках, будто кого-то выжидая. Теть Надя-Малашиха несколько раз вводила его домой, но ничего не соображавший, одурманенный за целый день самогонкой, Толик возвращался назад. Когда к клубу подошли Дина Петровна со вторым другом Толика,

Сажиным, он резко вскочил, отбросил в сторону маленькую Дину Петровну, та неловко повалилась на землю во всем своем нарядном великолепии. Толик Сажин схватил Малашина за грудки. Завязалась драка. Перепуганная насмерть учительница, плакала в сторонке, не зная, что делать. Пьяный Толик обладал страшной силой. Подскочившие мужики еле-еле отволокли его от бывшего друга. Разъяренный Толик пошел от клуба, даже не качаясь. Потом побегал, споткнувшись несколько раз.

... А свадьба разгоралась, набирала свою мощь, кипела - веселилась. Приехавший отец Дины Афанасьевны, горячий, "восточных кровей" смуглый красавец-мужчина восхищенно обнимал всех подряд и кричал всему застолью, какая у него молодец - дочка, такого джигита покорила! Рядом с молодоженами сидели уже успокоившиеся Дина Петровна с Толиком Сажиным, твердо обнадежившие гостей своей скорой свадьбой.

... Потом рассказывали, что кто-то видел, как Толик Малашин сел в трактор и погнал неизвестно куда.

Его искали три дня. Сначала нашли опрокинутый трактор. Сам Толик оказался далеко от него. В труднопролазной чаще близ соседнего села.

Тонкая березка не сломилась, лишь согнулась, наклонилась, обреченная держать непонятную, страшную тяжесть.

Убивалась мать Толика, тетя Надя Малашина, в беспамятстве кричала на всю округу, в запальчивости винила и друзей, и учителей. Бабка Черногузиха увещевала ее: "Надя! Не гневи бога! Тут виноватых нету! Ты што жа, милая, забыла как твой дед, твой отец поряшили свои жисти! У вас уся природь такая! Видно, етот самай дьявол и перетянул к сабе нашего Толичку, нашего красавца... - бабка Аксютя заплакала, сморкаясь в цветастый фартук.

... Войдя в скорбную хату Малашиных Наташка остановилась у порога. Пудовые путы стянули ей ноги. Дальше пройти она никак не могла. Она не хотела идти сюда, долго боролась с собой, но мать, Евдокия сказала ей: "Доча, усе ж, попрощаться надо!" А с кем прощаться?! Она не хотела видеть его мертвым, ей не хотелось верить в это! Наташка не понимала, не принимала, не допускала в свое сознание эту страшную нелепость, эту невозможность. Он же молодой, живой, теплый!

Но почему он лежит там, посреди большой комнаты и утопает весь в черемухе?

В белой душистой черемухе...

И не видать лица...

... И вновь черемуха цвела,

Весна по улице плыла"...

## Из жизни отдыхающей или Ниночка

Ниночка проснулась от трели соловья. Нет, это будет не совсем правдиво. Сначала она вздрогнула от сильного храпа своей соседки по номеру. Ниночка долго лежала, ожидая, когда это свистящее сопение носом, сдобриваемое гортанным журчанием прекратится, если соседка повернётся на бочок, но та прочно лежала на спине и крепко спала, не подозревая о мучениях Ниночки.

И вот, тогда-то, Ниночка и услышала звонкое залиvistое пощелкивание такой незаметной серой птички. Соловей выводил невообразимо-красивые трели и рулады, перекрывая сопение и храп соседки по номеру. Ниночка переключилась на соловья, стараясь успокоиться и, может быть, ещё поспать до утра. Но разве теперь было уснуть?! Она приподняла голову и увидела живую картину.

В большой раме, сложеной из очертаний белого, выступающего вперёд балкона, стояли не распустившиеся ещё, в раннем прохладном мае высокие серые деревья. На фоне тёмно-синего неба, уже начинавшего расслаиваться на отдельные облачка, они стояли в безветренном утре, напряжённые в своём нетерпеливом ожидании скорого возрождения. Их набухшим сосцам-почкам чуть-чуть не хватало тепла, чтобы взорваться в великих родах, выпустив на свободу ждущее там, липкое, нежно-зелёное, влажное семя.

Ниночка взглянула на будильник, стоящий у соседки на тумбочке. Ничего не было видно. В номере было темнее, чем на улице. Ниночка включила настольную лампу у изголовья и, не боясь потревожить спящую, а скорее наоборот, где-то, даже радуясь, что та может проснуться и, наконец, перестанет храпеть, посмотрела на часы. Было пять часов утра. Она не удивилась, увидев на циферблате эту цифру. Именно, пять часов утра.

Ниночка писала стихи. С ранней юности и по сегодняшнюю зрелость. И почему-то, всякий раз, осенённая новым стихом, она вскакивала именно в это время. На рассвете. Наверное, у поэтической Музы всё время было распределено, и Ниночке досталась ранняя утренняя заря. "Может быть в природе всё взаимосвязано и закономерно..." - думала Ниночка. Сама она тоже родилась на рассвете. В пять часов утра. Так ей сказала мать.

В пять утра Ниночку отвёл в роддом муж. Рожать сына. Ниночка знала, что будет именно сын, хотя все говорили, видя её пигментное лицо, что будет девочка, которая "всю красоту у мамочки забрала".

Тогда, перед уходом из общежития, она видела через окно разгоравшееся майское утро с полудиском восходящего солнца. Сын рождался нелегко и не сразу. Ровно сутки "мучил" свою мамочку. Никак не хотел знакомиться с этим новым белым светом. Наверное, ему прекрасно жилось в тёплой материнской утробе. А, может, он

уже знал и боялся этой новой среды обитания и, когда, наконец, огласил хриплым, каким-то, недетским баском мир своим присутствием, часы, опять же, показывали пять утра. Так что, эти утренние часы для Ниночки были какими-то магическими. Соседка по номеру, которую звали давно забытым, но таким красивым именем - Липа, даже не почуяла включенного света и продолжала своё наслаждение сном.



Ниночка же, в ночной, широкой рубашке, не удержалась и вышла на балкон. В живую картину, на свежий воздух, к зовущей песне соловья. ...Когда Ниночка заехала в этот санаторий, соседка Липа уже поселилась в номере.

Развешивая свои большие вещи в комнатном гардеробе, Ниночка поняла, что её соседка "маленького размера", так как в шкафу висел маленький халатик, узенькие блузочки и юбка, как раз вдвое меньше Ниночкиной.



Заселяя Ниночку в номер, медсестра, стараясь обрадовать, сообщила ей, что "они с соседкой будут одного возраста".

"Да откуда тебе знать про мой возраст?" - думала Ниночка, недоверчиво глядя на медсестру -

"Какая мне разница, с кем проживу эти две недели?! Погляжу хоть, что это за местный курорт, который так всеми расхваливается".

На большее пребывание нужно было и денег больше, а их у Ниночки много никогда не водилось.

Санаторий она "углядела" по телевизору, и это отдалённое от города зелёное местечко, нетронутое цивилизацией, выглядело на экране необычайно зрелищно, самобытно.

На самом же деле, в реальном

видении, перед приехавшей сюда Ниночкой оказалась обыкновенное старинное уральское село с местной здравницей. Природа и вправду была здесь естественна и великолепна. С высоких предгорий, холмов, утёсов открывался прекрасный вид на необозримое, будто из космоса, зелёное пространство. Сам же санаторий состоял из нескольких типовых зданий-корпусов, заселённых лечущимися и, просто, отдыхающими. К Ниночкиному удивлению, в санатории оказалось много мужиков, хотя большинство из них, наверняка, были посланы своими благоверными из-под палки. Известно ведь, мужчины не любят лечиться, бегать на всевозможные процедуры, как женщины, и только, когда их хорошенько прижмёт - тогда они, бедняккие, терпеливо выдерживают всю эту мороку. Часть отдыхающих ходила с тросточками, палочками, несмотря на довольно молодой ещё возраст. Мужчины гуляли своей мужской кучкой, женщины же, в разноцветных нарядах, держались своей компанией. Но, конечно, это бывает, как правило в начале заезда, в первые дни отдыха. Потом эти кучки поредеют, рассосутся, образовав отдыхающие пары. Удивительное дело! Мужчины, поравнявшись с Ниночкой, идущей им навстречу, почему-то опускали глаза, и она с досадой думала: "Боже мой! Затурканные вы мои, неужели вы думаете и боитесь, что вас, таких "неотразимых" сразу потащат в постель? Или же вы, просто, отвыкли быть в обществе, отвыкли от нормального человеческого общения?"

Сравнявшись с такой мужской компанией, которая "гиб глаза униз", как говаривала её покойница бабушка, Ниночка старалась сдерживать улыбку, хотя на душе делалось грустно. На первом вечере знакомств массовик-затейник, боевая симпатичная женщина, лет сорока, старалась создать дружескую обстановку. В незамысловатых играх, конкурсах она хотела познакомить-перезнакомить приехавших на отдых и лечение, вызывая их весёлой шуткой на участие. Но заезд случился весьма серьёзный, по её же словам, так как из всех стоящих по обе стороны зала, ей никак не удавалось выдернуть участника для игр и конкурсов. Ниночка, всегда очень активная во всех этих делах, решила помочь массовичке Юле, так её все называли, и вызвалась на середину зала первую. За ней, более-менее, отдыхающие зашевелились. Массовичка Юля, знакомясь, спрашивала имена участников и город, откуда тот или иной прибыл к ним. Ниночка представилась: Нинель. Она не выпендривалась, ей просто надоело быть Ниночкой, а Ниной её почему-то, называли очень редко, несмотря на далеко уже не юношеский возраст. Всё "Ниночка да Ниночка". Массовичка Юля, не задумываясь, видимо, о необходимом такте, пусть и для временно-заехавших сюда, не то преувеличенно-удивлённо, не то с иронической издёвкой воскликнула:

"Вот так Нинель! И откуда же вы такая? Нинель..."

Ниночка, уже без должного настроения ответила, но внутри ста-

ло противно-мурно, будто её уличили в чём-то нехорошем. Она не придавала большого значения своим комплексам. Ниночка просто не хотела замечать их, наивно надеясь, что и остальные видят её по-прежнему интересной и привлекательной. Конечно, будучи двадцатилетней девушкой, а ещё больше, став тридцатилетней женщиной, она пользовалась большим мужским вниманием. Выше среднего роста; в меру полноватая, с высокой, красивой грудью, Ниночка гордо носила свою голову, с распущенными по плечам, тёмными волосами. Однажды, она чуть не попала в лапы темпераментного южного мужчины, который всё терся около неё в очереди, в магазине. Это были ведь, восьмидесятые годы и везде в очередях толпился народ, с целью чего-нибудь достать. Ниночка и думала, что этот кавказский товарищ, а вернее, "кунак" стоит за ней, а когда заметила его откровенный взгляд, потерявшийся и заблудившийся в декольте её платья, тут же выскочила из магазина. Мужчина выбежал за нею. Был жаркий июльский полдень, ярко светило солнышко и потому Ниночке совсем не было страшно пообщаться с горячим, лет тридцати мужиком. Они любезно поговорили, при этом Ниночка, конечно, пококотничала и даже согласилась на свидание, на которое не явилась, просто надо было как-то от него отвязаться. Да, она была и обаятельной, и интересной, но, вот, боевой девушкой-женщиной, в отношении к мужчинам, Ниночка назвать себя не могла. Какая-то робость охватывала её перед красивыми парнями (ей, нравились именно этакие вальяжные красавцы), а вот капельки наглости, чуточку женской стервозности и нахальства, что имели другие особы женского пола, зачастую, не идущие ни в какое сравнение с нею - вот этого у Ниночки не хватало. Никогда! Ну, прямо, как поётся в частушке:

"Моя розовая кофта,

Издали что белая.

Я девчонка боевая -

На любовь не смелая".

Но мужчины у Ниночки, всё же были. И была страстная влюблённость. Настоящий гормональный всплеск в тридцать лет. По одному так сходила с ума, так страдала, будучи замужем, что бедному родному мужу о таком чувстве пришлось бы только мечтать, если бы он знал обо всём! Ниночкин муж был очень спокойным. Спокойный в жизни и спокойный в постели. Но, как потом выяснилось, что таким он был только со своей женой. Спокоен, как удав. В один из вечеров Ниночка не дождалась "тихого" мужа. Не явился он и на-завтра. Она узнала, что он давно "наострил лыжи" к другой бабёнке, оттого и смотрел на течение жизни "сквозь пальцы". Никак не ожидала Ниночка, что душа её будет тлеть и днём, и ночью. Уход мужа она перенесла трудно и, по-первости, не засыпала до самого утра с тупой, ноющей, саднящей болью в груди ли, в сердце, ну, в

общем там, где живёт душа. Ниночка думала-гадала, что же это такое: любовь к мужу (которая, оказывается жила в ней), или же тлело, горело её самолюбие. Скорее всего, всё-таки - второе. И что интересно, живя с ним, водились у Ниночки другие мужики, а после ухода мужа - "как косой всех посрезало!" Ниночка, чуть успокоившись, перекинула всё своё внимание и любовь на сына. Сын, к удивлению, быстро вырос и она не успела оглянуться, как подошла к своей "ягодной" поре.

Сорокалетняя Ниночка стала ездить в отпуска. На море, в какие-нибудь дальние и местные санатории. Но не за тем, чтобы найти себе мужа, она привыкла быть свободной, самой себе хозяйкой, а, просто, для самоутверждения в своей женской ещё востребованности. Теперь же, каждая новая поездка всё больше и больше приносила Ниночке разочарований.

Из крепкой молодой девушки она превратилась в полную "бабуягодку", всё ещё подвижную и эмоциональную, но круглощёкое лицо её сейчас отвергалось модой на худющих, костлявых, с мордашками величиной с ладошку "топ моделей". Со всех углов, по всем телеканалам, реклама орала о бестелесной женской красоте, Ниночку же смешило само слово "модель". Неживое, сухое, странное. Но, наверное, большинство народа было, всё-таки, зомбировано современной рекламой и унижительное слово "модель" с приставкой "топ", неизвестно что значащей, стало самым модным и престижным. Загадочным каким-то. Многие бедные девчонки, имеющие от природы большую статью и пышность форм, родившиеся и должны жить в этом веке, в новом веянии времени и всесильной рекламы о похудении, просто сходили с ума, мыслимыми и немислимыми способами борясь со своей истинной красотой, данной богом. Они считали себя уродами, с подсказки всё той же назойливой заразы - рекламы, и голодали неделями, наживая себе болезни и душевную смуту. Ниночка понимала этих девчонок, женщин, а одобрить все их мужественные диеты не могла. Сама же, она никогда не сидела на них и все проблемные разговоры об истязании своей "телесности" всерьёз не воспринимала. Помнится, будучи ещё семнадцатилетней девушкой, она участвовала в концерте русских народных песен и, когда на неё одели роскошный, вышитый бисером, сверкающий разноцветными камнями, наряд-убор, её подруга Аня восхищённо воскликнула:

"Да ты, Нинка, прямо настоящая Зыкина!"

Ниночка до сих пор помнит, как ей стало стыдливо, её покорило это сравнение и только потому, что ей было только семнадцать, а женская статья всю уже заявляла о себе. Потом Ниночка всегда восхищалась красотой, статью, и, конечно, же, великопепным, неподражаемым голосом великой певицы и где-то, глубоко в душе, успокаивала себя уже тем далёким сравнением. Сейчас же, грудь у Ниночки стала ещё пышнее, что создавало проблемы при подборе

женских нарядов. Но Ниночка считала, что нет смысла бороться со "своей природой", со своей пышностью.

Вот почему, стоя в шеренге плоскогрудых, худых женщин всех возрастов, подчинившихся общей моде похудения, представляющих собою странные гибриды молодости и старости, выраженные в серых, унылых лицах рано состарившихся девушек-женщин, измотанных всевозможными диетами, и в коричнево-морщинистых, как кора старого дерева, лицах уже старух, давным давно перешагнувших юношеский рубеж и теперь смешно-молодящихся, с трудом удерживающих едва заметные остатки былой красоты, она сразу же выделялась, возвышалась над ними.

Шустрая массовичка Юлия запомнила Нинель и старалась вызывать её на всякие игры-мероприятия. В ушах Ниночки звенело то восклицание, насчёт внешности в первый вечер знакомств, и в её душе возникло отчуждение к этой женщине, не дававшее теперь развернуться во всю мощь и ширь её творческой натуры.

...Сейчас, стоя на балконе и наблюдая зарождающийся день, Ниночка умиротворённо понимала, что все её проблемы довольно ничемны по сравнению с глобальными вопросами и загадками природы и жизни. Наверное, она довольно долго простояла на балконе с приоткрытой дверью, размышляя о своём бытии под рассветную трель соловья, так как соседка Липа проснулась, поёживаясь от холода и, удивлённо поглазев на Ниночку, снова юркнула под одеяло, но тут же и вскочила, боясь проспать время первой процедуры. Липа советовалась с Ниночкой надевать ей или же нет лифчик, ведь все равно, на процедуре придётся снимать, на что Ниночка сказала, что она сама любит ходить свободно, без всяких стягиваний. Липа скривила губы, глядя на внушительный бюст своей соседки, наверняка в душе не понимая, как "это" можно "без ничего носить". А Ниночка, в свою очередь, заметила разительное отличие гладкости кожи между Липиным лицом и грудью. Узковатый лобик Липы, сверху ещё придавленный химической завивкой был морщинист, как гармошка из бумаги, которой детвора Ниночкиного поколения играла в детстве, мягковатый, довольно крупный носик делали Липу много старше своих лет, а вот грудь пятидесятилетней женщины была девственно бела, гладка, упруга. У неё тоже был один ребёнок, взрослый сын, как и у Ниночки, и также как она, Липа была одинока.

Уже не первый раз приезжала сюда Липа и делала профилактику своему здоровью "на все сто". Набирала себе столько процедур, сколько было возможно, а потом, усталая, забегавшаяся, прибежала в комнату, падала на кровать и ещё жалела, что врач-проктолог отказал ей в промывании кишечника.

"Да, конечно, нам, старым, уже не нужно красоты! Зачем нам быть стройными в эти годы, да?" - возмущалась Липа, недовольная неполученной процедурой.

"Да зачем тебе столько?" - удивлённо спрашивала Ниночка. Липа

начинала перечислять неимоверное количество болячек. Ниночка, поначалу, относилась к ней очень сочувственно, жалея больную, но потом, увидев несколько раз, как Липа носится на своих "больных ногах" от одного лечебного корпуса к другому, однажды чуть не сбив "монолитную" Ниночку, стала помалкивать, когда соседка, в очередной раз, принималась стонать о своей усталости и болезнях. Сама же, Ниночка ограничилась несколькими бесплатными процедурами и уже после обеда была свободна. Гуляла по свежим зелёным аллеям или валялась на кровати с книжкой любимой писательницы Виктории Токаревой.

На прописанную ей лечебную физкультуру Ниночка ходить ленилась, чем вызвала страшное удивление и осуждение в глазах соседки по обеденному столу, худой, высокой Татьяны в тёмных очках. Татьяна всякий раз запаздывала на завтрак: уже с утра занималась спортом. В обед же постоянно ворчала:

"Ну зачем здесь так много кладут еды? Кормят, как на убой..."

Слушая худосочную спортсменку неопределённого возраста, Ниночка посоветовала наигранно-спокойным тоном:

"А Вы всё не кушайте, а то, действительно, вдруг поправитесь. Кошмар!"

Татьяна вскидывала еле угадываемые под очками глаза на пышную Ниночку, аппетитно съедающую всю еду и всё время нахваливавшую здешнюю столовую, и замолкала, ковыряясь в винегрете или гуляше. Татьяна, вообще, не ела хлеба и в незанятой её руке постоянно находился нож. Ножом и вилкой она, нехотя, поддевала и овощи, и кашу, чем удивляла Ниночку. Очень переживая за свою фигуру, Татьяна ежедневно бегала в тренажёрный зал, стараясь задержать молодость, но судя по "куриной гузке" над верхней губой, ярко выраженной мелкими морщинками, она была уже далеко немолода. Часто сменявшиеся кофточки висели на ней широкими балахонами и крохотная грудь её в них вовсе терялась. Но, чувствовалось, что мнения о себе она была очень высокого, хотя ещё один явный недостаток, а именно шепелявость речи во время ворчания за обедом, вовсе не украшали её. Ниночка недоумевала: при таком произношении ещё и не стесняется так много ворчать! Ещё за столом сидел худенький мужчина, лет сорока, совершенно молчаливый, и лишь по нескольким брошенным словам с акцентом, Ниночка решила что это - татарин. Но уж, какой-то древний татарин, не умеющий говорить! Вообще, Ниночке не повезло с соседями по столу, и она старалась приходиться попозднее, когда те уже заканчивали трапезу. У соседки же Липы, по её словам, наоборот, был "весёлый" стол, хотя за ним сидели одни женщины. Липа возмущалась:

"Ну, почему они так рассаживают отдыхающих?! Рядом, за соседним столом, сидят только одни мужчины. Нет, чтобы хоть одного к нам посадить! Всё бы веселее нам, бабёнкам было!"

Ниночка шутя спрашивала у Липы:

"А может, Вам, дорогая, ещё и в постельку мужика подложить?"

И они начинали хохотать, хотя в душе каждой давно уже поселилась грусть. Несколько раз Ниночка с Липой ходили на танцы. В полузатемнённом зале со светомузыкой Ниночка смотрела на танцующие пары. Оказывается, робкие мужчины ходят на танцы, а может они вовсе и не робкие, раз приглашают молодых и интересных. Ниночка чуть не ахнула, увидев как её молчаливый сосед по столу, "древний татарин" всюю кружится в вальсе с высокой блондинкой, а затем он пошёл провожать её до корпуса. Ниночка взглядом проследила за этой парочкой, прошедшими за окнами, и лёгкая грусть невидимой тенью коснулась её:

"Вот тебе и молчун-татарин! Тоже, видать, не лыком шит, имеет свои интересы!"

Ниночка с Липой и новыми "подружками", довольно зрелого возраста, образовав свой кружок, танцевали только "общие", быстрые танцы. Когда звучала медленная музыка, они усаживались на скамейки и снова смотрели на танцующих, завидуя не завидуя, а с какой-то глубоко-затаённой болью в душе. Ниночка удивлялась, что даже не первой молодости мужичок, и с виду-то невзрачный, приглашал женщину, что помоложе.

Объявлялся "белый танец". Ниночке очень хотелось потанцевать "лирику"; сердце её начинало взволновано трепыхаться, как при первом свидании в далёкой юности, но она никак не осмеливалась пригласить мужчину.

"Мужики ведь, далеко не тактичные. Возьмёт вот такой задрипанный мужичок, да ещё и откажет, испугавшись большой и пышной партнёрши и будешь стоять, как оплёванная".

Ниночка с Липой и подружками уходили с танцев ещё задолго до окончания:

"Лучше воздухом майским дышать да наслаждаться!"

Они долго бродили по вечернему санаторию, пока кто-нибудь не предлагал:

"Ну, давайте расходиться, хорошего понемножку!"

И расходились по своим номерам.

Однажды, где-то уже ближе к середине своего отдыха, придя на обед, Ниночка заметила нового мужчину. Именно, не увидела, а заметила, так как этот мужчина выделялся из всей отдыхающей мужской братии. Он был очень похож на знаменитого Армена Джигарханяна. Средних лет, такой же, чуть сутуловатый, с большой черноволосой головой и умными пронизательными глазами.

Он сидел за столом напротив и, как назло, рядом с ним были только женщины.

"Эти глаза напротив" встретились с Ниночкиными сразу же, в тот же день. Она отвела свой взгляд и даже кушала в этот раз как-то осторожно, почти без аппетита. На миг подняв глаза, она опять встретилась с его взглядом, мужчина обедал уже один.

"Наверное, тоже стесняется, вот и ест тихонько" - подумала Ниночка.

Докушав, она медленно и гордо пошла из столовой, краем глаза заметив, что "Джигарханян" всё ещё сидит за столом. В фойе она задержалась около различных стендов, совершенно не вглядываясь и не вчитываясь в написанное там, надеясь на что-то, и давая шанс судьбе. Но шанс был проигнорирован. Мужчина прошёл мимо, быстрым шагом, не обратив никакого внимания на надеющуюся Ниночку.

Вечером она уговорила упирающуюся Липу сходить на танцы. Сидя на лавочке в полутёмном зале Ниночка высматривала этого "Армена", кинувшего, как ей показалось, своим взглядом тоненькую ниточку надежды. Ничего не подозревающая Липа вся изнервничалась, скользя задом по скамейке:

"Ну сколько можно тут ещё высиживать, чего ждать?" - и рвалась на улицу к новым подругам играть в карты. Как её ни упрасивала Ниночка, соседка Липа вскочила, и пошла на волю из душного танцзала. Ниночка тоже дёрнулась вслед за ней и тут, вдруг, увидела его. Она снова втиснулась на скамейку таких же "наблюдателей" в тайне ожидающих приглашения на танец. Вновь зазвучала музыка и сердце Ниночки тоскливо заныло: к её "объекту" тут же подскочила молоденькая женщина и они медленно започкачивались в танце. Ниночка встала, и выбирая момент, когда светомызыка погаснет, бочком-бочком, вышла из зала. Громко стуча каблуками по пустому фойе, она чуть ли не бегом бросилась к себе в комнату. Липы в номере не было и это было кстати. Ниночка лежала на неразобранной постели во всём своём наряде и недоумевала:

"Ну, почему, почему? Неужели так замечен возраст? Только я этого не вижу!"

Тоска вновь коснулась её сердца и слёзы наполнили глаза. Такого провала она не ожидала, чтобы ни один мужик не пригласил её на танец! В комнату ввалились Липа с женщинами. Возбуждённые вечерней прогулкой, весёлые они продолжили "резать" в карты. Ниночка тоже, изобразив вид самой беспечной женщины, решила попробовать счастья в картах, коль не везёт в любви.

На следующий день, за завтраком, она мелчком бросила взгляд напротив. Строгие, умные глаза "Армена" глядели прямо на неё. Ниночка, настроившись вкусно, с аппетитом поесть, чуть не поперхнулась. Почти улетевшая надежда тут же дала о себе знать: потеплевшей волной она опять тронула её сердце. Ниночка ела медленно и вроде с неохотой, как та соседка Татьяна с непременным ножом в руке, уже отъехавшая домой. Бегая по процедурам, Ниночка редко встречала этого, глянувшего ей "Армена", так как основные процедуры делились на женские и мужские дни. В женские дни, естественно, все кабинеты и коридоры были забиты только женщинами. Единственная процедура - массаж - была общей и на него

ходили в одну очередь и мужчины, и представительницы прекрасного пола. Ниночка увидела его в ожидании очереди на массаж. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, дремал. Она же гордо прошла мимо сидящих и присела с другого края, чуть напротив, наблюдая за ним. Медсестра громко выкрикнула:

"Николай Петрович!" и Ниночка увидела, что её "интерес" под именем "Армен" встал и направился в кабину массажа.

"Значит, Николай да ещё Петрович! Значит, его армянская внешность ничего не значит и он просто русский Ванька! Но каков?" - пронеслось в голове у Ниночки. Не упрасивая уже Липу, чтобы вечером сходить на танцы, зная, что та ни в какую не пойдёт, Ниночка вся измаялась от ожидания вечера, опять же вспыхнувшей надежды: а вдруг да сбудется! Когда пришло время танцев, она не решилась одна войти в зал, а стояла в фойе, будто бы в ожидании подруг. Опять медленно топтались пары под страдающую музыку, а затем скакали все вместе в быстрой пляске. Ниночка прохаживалась вдоль окон, деланно выглядывая в них "запоздавших" подруг. Она уже решила уходить, "не дождавись", как вдруг, из танцевального зала вышел Николай - Армен. Ниночка снова подошла к окну, делая вид, что вовсе теряет терпение от ожидания.

Николай будто бы споткнулся, увидев Ниночку, и остановился у выставочных стендов, которые так много раз уже созерцала Ниночка. Он переходил от одной картинки к другой, а Ниночка негодовала:

"Ну чего ты меня боишься? Ну почему не подойдёшь? Неужель такой робкий? А я вот сейчас возьму да уйду!"

Она резко повернулась от окна и вскинув голову, прошла мимо Николая, который всё ещё топтался около стенда.

За обедом Ниночка еле смачно, со вкусом, даже не поднимая глаз за столик напротив, расстроено, грубо, думая:

"Да идите вы все... Не мужики, а так... и названья нету!"

Вечером она гуляла с женщинами по санаторию, ходили весёлой, гомонящей кучкой взад-вперёд по тенистым прохладным аллеям, замечая в затемнённых уголках парочки всякого возраста. С каждым днём отдыха, знакомства становились смелее, и парочек бродило всё больше и больше. С первого дня заезда Ниночка обратила внимание на довольно странную пару. Странную во внешнем соотношении. Парень был лет тридцати, а может и меньше, но этакий верзила, большущий, "косая сажень в плечах", чуть сутулившийся, стесняющийся своей огромности. К себе же в подружки он выбрал, к заметному удивлению многих, совсем маленькую, да ещё непропорционально-сложенную то ли девушку, то ли женщину. Лицо её было испещрено оспинками, короткая бесцветная стрижка была, как приклеенный, нечёсаный парик, но именно это маленькое несуразное создание было облюбвано здоровяком. Они сидели за одним обеденным столом и, возможно, это сыграло не последнюю

роль в их объединении, но парень не отходил от своей подружки ни на шаг. Эта выделяющаяся пара вместе шагала на процедуры, провозжая друг друга, вместе ходили в столовую и на танцы. Хочешь не хочешь, но в дальнем закутке Ниночкиного сердца мелким червячком шевельнулась зависть. Зависть не злая, не чёрная, но дающая пищу для размышлений, напомнившая, что молодость не бывает неказистой, молодость и есть утро, красота жизни. Во всех её проявлениях.

В фойе корпуса было вывешено объявление о намечавшемся концерте силами самих отдыхающих. Ниночка, прочитав дату проведения концерта, глубоко расстроилась. Он должен был состояться как раз в день её отъезда.

Во время обеда массовичка, по радио, пригласила всех желающих поучаствовать и показать, кто во что горазд. Огорчённая Ниночка, умеющая и петь, и декламировать и, вообще, среди своих знакомых считающаяся "самородком", решила попробовать счастья. Она пришла на репетицию в кинозал и очень удивилась, никого там не обнаружив, кроме одной пожилой дамы. Баянист и гитарист в одном лице, обнадёжил пришедших и просил их подождать. А пока ждали (хоть никто и не подходил) пожилая дама вдруг лихо и озорно разразилась громкими частушками, да ещё с матерком, да так, что мощное гулкое эхо прокатилось по помещению. Ниночка решила ничего не говорить о своём отъезде, а просто попеть под гитару. Аккомпаниатор подтянул струны и Ниночка запела романс. Всё получилось с первого раза. Дама-частушечница, которую звали Анной Степановной, восхищённо говорила Ниночке лестные слова, а потом вдруг тихо призналась:

"Только вот, Нинель, не смогу я выступить на сцене, уезжаю раньше".

"Да вы что?! Ведь я тоже отбываю, а сейчас решила просто попеть! А кто же у них выступать будет, если мы уезжаем?" - горячо спросила Ниночка. В зал влетела массовичка, и радостно улыбаясь, ("но не от души" - подумала Ниночка) громко заговорила:

"Вот и первые наши таланты! Даже если будет мало участников, вы только вдвоём нам такой концерт закатите, что ого-го!"

Анна Степановна, оказалось, заезжала сюда уже пятый раз и отлично знала массовичку, которую нежно называла Юленькой. Она, взяв Ниночку за руку, обратилась к массовичке:

"Юленька, дорогая! Ведь мы с этой красивой артисткой никак не сможем выступить! Ведь мы уезжаем на тот момент!"

"Как так? Нет, нет! Один день я Вам сама подарю. Я обо всём договорюсь!"

"Да нет уж, Юля! Ничего не поделаешь, мы просто попеть сегодня пришли!"

Всё это время молчавшая Ниночка чуть-чуть понаглела и несмело произнесла:

"А может быть, перенести концерт пораньше? Вот и всё. Делов-то, куча!"

К удивлению Ниночки, массовичка Юля ухватилась за эту мысль и обещала что-то сделать. Жалко же терять такие таланты!

Концерт был перенесён на два дня раньше, и теперь Ниночка и Анна Степановна каждый день упорно репетировали. Больше к ним так никто и не присоединился. Правда, в один из вечеров, приковыляла бойкая старушка-инвалид с желанием спеть украинскую песню, но баянист Гена тактично отверг её предложение, прослушав дребезжащее, старческое пение.

Юля-массовичка не огорчалась, что в этот заезд нет одарённых людей и быстро вышла из положения: так как исполнителей всего было двое, она совместила их выступление с литературно-развлекательным вечером, к тому же сама великолепно заполняла паузы песнями под баян.

Ниночка, всякий раз волновавшаяся перед выступлением, в этом зале была совершенно спокойна, и когда объявили её выход, она смело, с каким-то даже вызовом ко всем сидящим в зале, особенно мужикам, не заметившим "такую Нинель", уверенно прошла к микрофону. Зал был небольшой, поэтому хорошо обозреваемый. Народу было довольно много, но Ниночка сразу заметила его. Армена - Николая. Он сидел, чуть подавшись вперёд, облокотившись руками на пустой стул перед ним. Наверное, от того, что Ниночка почти никого не знала в этом зале, в этом санатории, она запела свободно и уверенно. Вначале, даже произнесла несколько слов-пожеланий отдыхающим, особенно влюблённым, кому и посвятила свой романс. Она пела, глядя на этого незнакомого мужчину и ей издали было видно, как он, заинтересованно, слушает её. Она пела от всей глубины души и сердца, с той невидимой болью и тоской, которую знала лишь она, и её глубокое, пронзительное пение было настоящим укором за невидение, за непонимание и неприятие её рядом находящимися особями мужского пола. И... были громкие аплодисменты, даже с криком "браво" одного хмельного осмелевшего мужика. Целый вечер Ниночка была героиней, к ней подходили, её благодарили, ею восхищались. Анна Степановна предложила Ниночкиной компании объединиться со своими старушками и сходить в бар. Ниночка согласилась, призвав на помощь Липочку и своих женщин. В баре было немногочисленно, несмотря на субботний вечер, действительно, отдыхающие здесь были более чем скромного достатка. Женщины принялись возбуждённо обсуждать, какое взять вино. Подруги Степановны были за шампанское, а Ниночка с Липой хотели побаловать себя чем покрепче, чтобы сильнее почувствовать значимость этого прекрасного вечера. Сошлись каждый на своём интересе. За столиками сидело по шесть человек, но шустрая не по годам Анна Степановна "присоседила" ещё два стула и теперь женская компания наслаждалась музыкой и вином. Мужчин, как все-

гда, было немного и они потерялись "в женском изобилии". Но вот, в бар ворвался мужик, лет сорока, в красном спортивном костюме и, прямо с ходу, выскочив на середину зала, один, начал выделявать такие кренделя ногами, размахивать руками, стараясь попасть в такт мелодии. При этом он многозначительно оглядывал столики, весь изгибаясь в так называемом танце. Вот тут Липа всех и посмешила, сказав:

"Девки, вы смотрите, так ведь это же самец разыскивает свою самку. Приглашает её на брачный танец. Видите, как распустил свой красный хвост!"

Хохот был страшный. А мужичок, не обращая внимания, продолжал вилять своим задом, обтянутым красным трико, раскидывать руки, будто плывя стилем "басс". Но, среди присутствующих не откликнулась ни одна "самочка" и яркий мужик, всё ещё танцует, задом-задом, вырулил из бара. Чуть захмелевшие женщины говорили тосты и пожелания друг другу, а затем нарядной толпой вышли на свежий воздух. Опять гуляли по аллеям, болтали, смеялись, а в душе уже жила грусть расставанья. Ниночка заметила, что мужские компании, бродившие в самом начале заезда заметно поредели: самые смелые мужички-отдыхающие сохранившие ещё, видать, интерес к противоположному полу, образовали свои пары. Весенними мягкими вечерами аромат цветущих черёмух и розово-нежных бутонов яблонек, пьянящим коктейлем разливался по живым душам и плоти отдыхающих и лечащихся, на короткий миг забывших все свои "хворобы" и недомогания. Даже самые "некондиционные", в возрастном отношении, человеческие особи заражались невидимыми, но ощутимыми, у кого сильнее, у кого слабее, любовными флюидами, чего уж говорить о "человеках" ещё продуктивного периода, с хорошей гормональной системой... Гуляя с новыми подругами, женщинами "разношёрстного" возраста, Ниночка думала о едином начале природы притягивания двух полов. Независимо, интеллеktуал-человек это, или же бродячий мартовский кот. И тот, и другой с одинаковым интересом и блеском в глазах, высматривает себе подругу. Выбирает. И что интересно, думала Ниночка, даже у самого грамотного, с развитыми мозгами представителя мужского пола, подчас гордого, самоуверенного, в этот благоприятный для интимного соития период, напрочь застилает глаза и дурманящим туманом оволакивает голову. В том смысле, что, конечно, он всё видит, но видит совершенно по-другому. Он видит и ищет самку. В этом он не может признаться сам себе, даже наедине со своей сущностью, и думает, что вот этот его выбор и есть самый желанный и верный. На самом деле, на первое место выходит и затмевает все умозаключения простое, но самое сильное, присущее любой живой твари, физиологическое половое влечение. И в этот момент, красивое оперение и воздушное движение грациозной самочки, не утруждающей себя размышлениями и проблемами окружающего

мира и природы, покоряет и притягивает озабоченного партнёра. В наше время это называется сексуальностью. И, конечно же, если женщина сексуальна, (а помочь и разобраться нам, опять же, сделала услугу великая реклама и всё побеждающая мода), ей и все карты в руки.

Ниночка до того доразмышлялась, что не заметила, как её женская кучка ушла далеко вперёд, а сама она, не слышав их окликов, стояла на пересечении двух аллей, на одной из которых, совсем рядом, находилась деревянная красочная беседка. Ниночке захотелось побыть одной, отстав от подруг, посидеть в этой любовной "будочке", но было как-то неловко: ведь здесь должны обниматься парочки, а не сидеть умная женщина-одиночка.

- Почему не решаетесь войти? Здесь ведь свободно? - Ниночка не осмелилась даже обернуться, замерев на мгновение от низкого, красивого тембра голоса. Откуда-то, сбоку аллеи вышел Николай, будто бы поджидая Ниночку.

- Да уж, наверное, прошла наша пора рассиживаться по беседкам, - она с радостью поддержала так давно ожидаемый разговор.

- Ну, почему же? Нам сейчас как раз только и осталось посидеть - поокать, - улыбнулся Николай.

Ниночка замешкалась, не зная что делать: или же зайти в беседку, или же... И она прошла мимо, в душе проклиная себя. Вот так всегда: в самый решающий момент возникала какая-то ненужная, показная гордыня и пёрла из неё помимо её воли.

- Вы так прекрасно пели! Где-то, наверное, учились? - Николай шёл следом за нею.

Она приостановилась, медленно пошли рядом, чуть соприкасаясь рукавами. "Ну, прямо как в песне" - мелькнуло в голове у Ниночки, - "мне нравится, что вы больны не мной!" Она, взглянув мельком, на идущего рядом кавалера отметила, что он чуть-чуть ниже её ростом, но оттого, что был крепким и широкоплечим, разница в росте была совсем незаметна и Ниночку это успокоило. Так они и шагали рядом и... в никуда. Одна аллея закончилась, автоматически свернули на другую. Николай оказался не красноречивым, и Ниночка взяла инициативу в свои руки. Она узнала откуда он и кем работает. Слава богу, мужик оказался её круга, её образа жизни и ей не надо было выпендриваться, быть не собой. Но всё же о себе она чуть нафантазировала, чтобы увлечь и заинтересовать его. Навстречу им, всё той же кучкой, попались знакомые женщины. Поравнявшись со вновь образованной парочкой, женщины, как будто опешили, на минутку замолкли, а затем, чуть отойдя, боевая Анна Степановна крикнула, обернувшись:

"Нинель! Не отпускай кавалера до утра!"

Соседка же по номеру, Липа, со смехом, добавила:

"Только на обед не опоздай!"

Женщины опять загалдели, засмеялись.

Николай всё больше молчал, изредка поднимал на Ниночку взгляд, а так всё время смотрел себе под ноги. Ниночке хотелось как-то, разрядить напряжённую обстановку и она, стараясь изо всех сил, рассказала, как тринадцать лет назад, также ездила в санаторий, только в другой, и там за ней принялся ухаживать молодой человек. Ну, конечно же, тогда и она была молода и, наверное, сексуальна, выражаясь по-современному. Так вот, сначала она не поняла его ухаживаний: ну, сидит за одним столом с ней мужчина, кушает неторопко, а как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. А так, как она, Ниночка, всегда любила очень вкусно поесть да ещё тогда для неё готовят другие, то из-за обеденного стола выходила всегда последней. Но потом, где-то уже на четвёртый день заезда, этот молодой человек, которого, кстати, звали тоже Колей (у Ниночки была прекрасная память на имена и даже на давно произнесённые диалоги и отдельные фразы разговоров, вот такой почти что феномен!) съел свой обед быстрее Ниночки и, теперь, откровенно поджидал, когда же она оттрапезничает. Ниночку смущало, что он не уходил, она демонстративно-медленно ковырялась в еде, а Коля осмелел, позвав её в кино. Да ещё в какое! На эротический сеанс. Сразу! А тогда только начинались эти показы. Везде. В подвалах домов, в укромных закутках учреждений, в недействующих уже клубах. Ниночка тогда не то что удивилась, она ужаснулась (и это уже в тридцатилетнем возрасте!), как это она пойдёт с незнакомым мужиком на эротику. В то время она только с мужем смотрела это "диво". Эротический фильм показывали по "телеку", где-то ночью (кабельное телевидение) и муж заводил будильник, чтобы, не дай бог, проспать! Он толкал в бок сладко похрапывающую Ниночку, и та быстрёхонько, как и не спала, тут же вскакивала. Конечно, потом муж настаивал на закреплении сеанса, но расслабленной Ниночке и не надо было намекать.

Так вот, этот Коля-Николай, после отказа пойти с ним на эротику, теперь уже быстро справлялся с едой и убегал из-за стола, не ожидая Ниночку и даже не взглянув на неё. Вскоре она увидела его с крупной краснощёкой девахой, видать, Коля предпочитал ядрёных молодых женщин. Клара Максимовна, соседка по столу, выговаривала потом Ниночке:

"Вот видишь он уже другую нашёл! Зря только время тратил на тебя, недотрогу, а эту и в ресторан водит, и в кино! Хорошего парня пустила!"

А Ниночка теперь ходила только на танцы. Её приглашали мужчины, но обидчивый Коля как будто бы и не видел её и танцевал только со своей избранницей. Чуть-чуть Ниночку брала досада и иногда, видя как услужливо Коля обихаживает свою знакомую, как, с удовольствием кружит её в вальсе, мысленно ругала себя. "Дура! Ну и сиди под фикусом одна! Выждидай, когда пригласят!" В фойе, где проходили танцы, в самом дальнем углу стоял огромный фикус

в деревянной кадке и Ниночка остальное время отдыха так и просидела под этим цветком одна.

Сейчас, рассказывая всё это "этому Николаю", она вдруг поймала себя на мысли: "а может не стоило ему всё рассказывать? Зачем?" Но Николай-Армен задумчиво улыбался, а потом произнёс:

"А мне показалось, что Вы довольно смелая!"

- Да это я сейчас посмелела! С годами человек меняется, наглет чуток, - изрекла Ниночка и в душе опять пожалела, что говорит какую-то ерунду.

Санаторий располагался на небольшой территории и вскоре все тропинки и дорожки были исхожены не по одному разу, и Ниночка первая предложила расходиться. Николай всё больше молчал, а ей просто надоело болтать, развлекать его. Проводив её до корпуса (Николай жил в другом), он на секунду замялся, а затем, видимо, решился:

"Так... может... кофейку попьём? Зайдём ко мне, у меня кипяильничек имеется..."

Ниночка целый вечер ждала подобного предложения, в душе уже обрадовалась, а её "своевольный" язык всё равно "выдал":

"Давайте, Коля, завтра".

Николай тут же повернулся и пошёл, сутулясь, повесив свою крупную голову и, было не понять, то ли он обиделся, то ли, наоборот, рад был наконец-то завершившейся прогулке. Ниночка стояла опять же, недовольная собой, сердце её мучили противоречивые чувства, в глазах закипали слёзы.

"Какое, к чёрту, завтра! Ты, дура, уезжаешь через два дня. Ненормальная "девочка-целочка", так и не научившаяся жить как все. Опять повторяется та история которую ты "выложила" Николаю. И персонаж всё тот же, Коля... эх..."

В дверь номера предусмотрительно была вставлена сложенная в несколько раз бумажка, и Ниночка, стараясь не скрипеть расшатанным паркетом, осторожно прошла к своей кровати. Монотонно похрапывала соседка Липа и Ниночка ей так позавидовала:

"Вот молодец! Посапывает - и никаких переживаний. Не то, что я, ненормальная, всё чего-то ищу. И что толку? Чудо в перьях - найти и потерять!"

Утром Липа разбудила её, уснувшую только под утро:

"Гулёна! Изменница! Бросила нас, бедных... Вставай, пошли по-лопаем!"

Но Ниночке даже не хотелось есть:

"Не переживайте, я снова с вами!"

После вчерашнего отказа Николаю, она думала, что теперь он даже не взглянет на неё и, завтракая, упорно заставляла себя не смотреть в его сторону. Но выходя из столовой, всё-таки, взглянула на противоположный стол: Николая там не было. Она уже направлялась к себе, как, вдруг, кто-то крепко схватил её за руку. От нео-



жиданности Ниночка чуток растерялась и даже испугалась немножко, но ещё больше была удивлена такой смелой выходкой Николая. Он стоял рядом и смущённо улыбался:

"А я на завтрак проспал!"

- Да ты что?! Так иди же скорее, ещё успеешь! - Ниночка мягко освободила свою руку и легонько толкнула Николая вперёд.

Он несколько игриво, будто сильно торопясь, чуть пригнувшись, побежал в столовую, оглянувшись на сияющую, довольную Ниночку. Не то что довольную, а почти счастливую. Мгновенной искоркой обожгла их возникшая тайна.

"Божечки, мои! И много ли тебе надо, дорогая моя! Бедная ты, бедная..." - сама о себе думала Ниночка, а губы её так и растягивались в улыбке.

Весёлая, улыбающаяся, в этот день она летала по санаторию и медовый аромат черёмух сладостным елеем проникал во все уголки её энергичного тела. Ниночка специально старалась не попадаться на глаза Николаю, оттягивая и насыщая страстями ожидаемый благодатный вечер. А страсти кипели, бушевали в Ниночке. Разрывали её. Целый день она носила в себе игривый взгляд Николая, ставший, вдруг, для них двоих таким близким и понятным. Уже после обеда Липа заявила, что сегодня будет прощальный вечер Анны Степановны и все с нетерпением ждут красивого романса в исполнении Ниночки. У неё похолодало внутри. Нехорошо, конечно, но эта вечеринка совсем некстати и не нужны ей сейчас эти милые женщины, ей не хотелось петь для них, вот для Николая...

У простой доверчивой Ниночки, не умеющей скрывать свои эмоции и чувства, всё можно было тут же прочесть на лице. Конечно же, Липа сразу "прочла" и не дав Ниночке опомниться, проговорила:

"Нинель, приглашай-ка своего армяшку к нам. Хоть одним мужичком разбавим нашу бабью толпу. А может он и ещё кого-нибудь прихватит?"

Бесхитростное лицо Ниночки тут же посветлело. Вечером собрались в номере у Анны Степановны. Сама виновница торжества выглядела, не соответствуя своему возрасту. По секрету Липа рассказала Ниночке, что у Анны Степановны дочь живёт в Москве и заведует бутиком модной, но поношенной одежды и каждый месяц ("представляешь?") что-нибудь да высылает своей мамочке. Тот удивлялась Ниночка современным нарядам своей старшей коллеге по творчеству, которые совсем не выглядели бывшими в употреблении. Сейчас же, Анна Степановна была облачена в свободный, с блёстками, чёрно-жёлтый блузон и длинную, с воланами, чёрную юбку. Переливался искорками "золотой" блузон, переливались и блестяли от лака волосы "артистки-частушечницы".

Николай всё же один придти не осмелился и появился с товарищем. Товарищ Антон был уже изрядно подшофе, но больше, наверное, Николай не смог никого уговорить сходить в гости "к бабуш-

кам". Анна Степановна так и выразилась, представив "молоденькой" только Ниночку, чем её и засмутила. Кавалеры принесли хорошее сухое вино, а "слабые" старушки, с ухарством, стукнули по тумбочке бутылкой водки. И заиграл-зашумел вечер. Женщины наперебой "травили" анекдоты и байки, Антон обнимал и "любил" всех подряд, а Николай, подсев к Ниночке, упрасивал её спеть романс. Наконец, уловив минуту затишья, Ниночка запела:

"Целую ночь соловей нам насвистывал,  
Город молчал и молчали дома..."

Петь сидя было неудобно и Ниночка встала. Замолкшие и погрузневшие зрители-слушатели смотрели на неё с затаённым дыханием и восторгом. Ниночка пела, а перед её глазами встала та чёрная ночь в конце апреля, когда она, молоденькой девчонкой, бежала по улице, почти на ощупь угадывая направление, а воздух немислимо прекрасно пах талой весенней водой, и был такой густой и тёплый, почти что осязаемый. А ещё в нём носились запахи только что рождённых зелёных листочков и белых бутонов акации. Журчали последние ручейки. Ниночка всё это как бы вновь ощутила и почувствовала и только, когда весёлый Антон нарушил этот песенный миг воспоминания, Ниночка вернулась в номер, к своим новым друзьям.

"Ну ты даёшь! Вот молодчина, да ты прям, как настоящая!" - взалёб восхищался ею Антон.

- А я, может, и есть настоящая! Несостоявшаяся! - закончив романс, произнесла Ниночка.

Вот, поди ж ты! И знакомы-то всего две недели с Анной Степановной и остальными "старушками-говорушками", всем им было уже или под шестьдесят, или за шестьдесят, а расставаться всё равно грустно. Из комнаты вывалились развесёлой компанией: присутствие двух мужчин сделало своё дело. Женщины раскраснелись, даже помолодели; каждая старалась казаться остроумной и современной. Из головы же Ниночки не выходила мысль-занога: как сказать Николаю, что через два дня и она "отчалит". А Николай даже и не интересовался, он обнимал её за плечи, уже не стесняясь женщин, от выпитого он стал разговорчивым, шумным и весёлым.

Чем веселее, общительнее становился Николай, тем печальнее и грустнее делалась Ниночка.

"Вот также и без меня дурачиться будет. Интересно, как он воспримет моё известие об отъезде?"

Как-то незаметно, конечно же специально, женская группка отделилась от парочки, и Ниночка с Николаем уже молча и медленно шагали по тропинке одни, сопровождаемые несмолкаемым пересвистом невидимых птах и ночным стрекотаньем кузнечиков.

- Может быть, зайдём ко мне, посидим? - спросил Николай и голос его был уверенным в положительном ответе.

Своего соседа он куда-то усладил и Ниночке стало неловко перед этим мужчиной, когда они вошли в комнату Николая.

- Ну, Нинель, располагайся! Ночь вся наша, так будь, как дома! - Николай чувствовал себя хозяином.

Номер его был не чета номеру Ниночки и Липы. Здесь стоял маленький холодильник, на тумбочке красовался небольшой цветной телевизор. Николай, чуть суетясь, стал выбрасывать из холодильника свёртки с закуской. Ниночка взялась за сервировку стола. Она развёртывала бумагу, нарезая и раскладывая розовую, нежную кореечку, старалась тонкими ломтиками резать свежую, ароматную копчёную колбасу и жёлтый ноздреватый сыр. Затем Николай, прямо на кровать, вывалил внушительную горку фруктов, среди которых была только что появившаяся в продаже и баснословно ещё дорогая, блестящая, как лакированная, тёмно-вишнёвая черешня.

"Однако, щедрый мужик!" - подумала Ниночка и, отгоняя грустную мысль о расставании, решила - "Хоть вечерок да мой!"

Николай вынул из холодильника бутылку шампанского, потом с возгласом "а это покрепче" достал красочную, интересной формы бутылку коньяка.

"Да ты сошёл с ума! Куда столько всего! Мы же умрём, если всё это оприходуем" - смеялась ошеломлённая Ниночка.

- Ну и пусть умрём! Зато от удовольствия в еде и любви! Ведь верно? - Николай подскочил к Ниночке и с горячностью стал целовать её губы, щёки, лоб.

Ниночка от такого неожиданного темпераментного проявления чувств не знала как себя вести. Она шутя отталкивалась от него, говоря, что не может равнодушно смотреть на такой богатый стол и пора выпить. Он тут же отпрянул и, вначале, как водится, выпили по первой, за знакомство. Когда пили вторую стопку, Ниночка подумала, что сейчас будет к месту сказать - "за расставание", но оборвала эту мысль, доверяя судьбе дальнейшие произвольные действия, "будь, что будет". От приятного шипучего шампанского, дополненного затем коньячком да вкусной закуски, Ниночка повеселела и решила петь сейчас только для него, Николая. Она "села на свой излюбленный конёк" и старинные романсы широко и вольно зазвучали в комнате, но так, как Ниночка тихо петь не умела, минут через десять в номер постучали, прося тишины. Николай просил не прерывать пения и весь дрожал от возбуждения.

"Не уходи, побудь со мною Пылает страсть в моей груди..." - Ниночка допела романс уже тихонько.

"Согрей меня, Ниночка, видишь я весь дрожу, как осиновый лист!" - Николай обнял Ниночку и легонько стал подталкивать к кровати.

"Ты знаешь, ты Нина, так похожа на мою жену! Она вот тоже такая крепкая и полненькая! Я сразу, как только тебя увидел..."

Ниночка медлила, ей не хотелось так быстро переходить к "кроватным делам".

"Ну что ж, дорогая! Поела-попила - теперь расчёт держи!" - про себя усмехнулась она. "Ещё и бабу свою вспомнил ни к чему".

Ниночка никак не могла расслабиться, даже коньяк не оправдал надежд. Ей стало противно и за себя, непонятную и невезучую, и за Николая, торопившего события.

"Ну, а с другой стороны, чего ещё ждать? Остаётся один лишь вечер завтра и Николай ничего об этом не знает" - мысленно уговаривала она сама себя. "Божечки! А если б знал, наверняка не стал бы со мною цацкаться. Зачем пришла в номер, девочка-целочка?"

Ниночка, уже не отводя рук Николая, присела на кровать.

За окном стояла белая ночь. Пели соловьи, а за санаторием, в селе, где-то ещё не спал петух. Ниночке подумалось, что зря она здесь. Зачем? Нет, конечно, ей приятно пообщаться с Николаем, посидеть за шикарным столом, объятия Николая ей приятны и даже волнуют, приятна его шершавая твёрдая щека-скула, приятен нежный, осторожный, словно мимоходом, поцелуй, но вот самый заключительный аккорд в интимных отношениях мужчины и женщины, не принесёт ей удовольствия. Не хватает ей времени, ну, хотя бы, недельку ухаживаний, чтобы всё-таки, освоиться с новым мужчиной, сексуальным партнёром. Ниночка мучилась противоречиями, а Николай мягко и ласково раздевал её. Она уже не отталкивала его руки, думая, что он, всё же, хороший, добрый мужик, пусть, хоть он получит удовольствие. Ниночка предложила Николаю ещё выпить коньячка. Он принёс в постель высокий фужер под шампанское, на треть заполненный крепким напитком. Положил на обнажённую грудь Ниночки плитку шоколада. Ниночка пила и заставляла себя расслабиться и забыть: она должна быть женщиной и получить это страстное, приятное, необходимое.

Николай оказался настоящим мужчиной. Не знала Ниночка давно такой мужской активности и, даже если бы не было коньячка-помощничка, Николай всё равно довёл бы её до сексуального апогея. Потом, лёжа на его волосатой руке, она удивлялась:

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Напрасно ты тряслась".

Рядом с ней лежал уже близкий, почти родной человек. И тут Николай, поглаживая бедро Ниночки, спокойно так, спросил:

"Тебе ещё сколько отдыхать?"

Она на миг задохнулась, но вопрос, наконец, прозвучал и на него надо было отвечать.

"Послезавтра".

- Как? - Николай даже поднялся, - как послезавтра? Ты это серьёзно?

- Серьёзней некуда, - тихо проговорила Ниночка.

Она обняла его за шею, прижавшись большой плотной грудью, и он прижал к себе крепко-крепко её, будто маленькую девочку. Да она и чувствовала себя маленькой девочкой в его объятьях и это было так хорошо. Казалось, течение времени остановилось, но часы

на руке Николая, у самого уха Ниночки всё же отсчитывали секунды, минуты...

- Ну, неужели ничего нельзя придумать? А? - ещё на что-то надеясь спрашивал Николай.

- Так, значит, тому и быть, - отвечала Ниночка, - ну, что ты переживаешь, у нас с тобой ещё завтра целый день и целая ночь!

- Нет, ты останешься! Хотя бы денька на три! Я заплачу, Ниночка!

- Нет уж, Коля-Николай, ничего платить не надо. Значит, так суждено.

Только под утро она, крадучись, прошла в свой номер. Было пять часов утра. Опять эта магическая цифра. Благо, двери были уже открыты. Липа почуяла её приход, но отвернувшись к стене, не подала виду.

"Другая бы точно осталась ещё! Меня уж не переделать! А ведь, пусть бы, оплатил денька три! - опять казнила себя Ниночка.

- Мужик ведь, редкий! А я точно ненормальная".

Сон к ней так и не пришёл, и только под утро она забылась. Очнулась Ниночка от того, что кто-то дышал прямо над ней. Она открыла глаза, наклонившись к её лицу стоял улыбающийся Николай.

- Ты как зашёл? А где Липа?

Николай чуть подвинул её, сел на краешек кровати:

- Короче, Нина, сегодня мы будем вновь одни. Моего соседа вызвали домой по телефону. Там что-то случилось. Видишь, как нам судьба помогает.

Он немного помялся, а затем продолжил:

- Знаешь, у меня предложение: сегодня никаких процедур, согласна? Мы посвятим это время только нам!

Ниночка, не думая и не жалея ни секунды о потерянных последних сеансах лечения, кивнула: согласна. Сразу после завтрака они ушли в соседнюю рожицу, нисколько не опасаясь ядовитых клещей, о которых день и ночь трещало местное радио.

Ниночка лежала на мягкой траве и над нею, высоко в небе, скрещивались, покачиваясь, верхушки вековых лип. Их касание кронами, как бы дополняло любовное уединение мужчины и женщины. И чем больше и дольше они обнимали друг друга, им хотелось продолжения ещё и ещё. Пыл неуёмной страсти, охвативший двоих, так неожиданно, мгновенно, будто бы голодных, истосковавшихся, ещё довольно молодых, налитых упругой любовной энергией, видно, до сих пор неизрасходованной, нерастраченной, никак не хотел покидать их. Они катались по прохладной ещё земле и Николай целовал запачканное, в прилипших травинках лицо Ниночки. Потом, прижав её к могучему стволу липы пытался целовать её руки. Но Ниночка всячески избегала этого. Она выдёргивала их из горячих рук Николая, прятала за спину. Она стыдилась своих рук, ей было неудобно

за них. Они казались ей не по-женски крупными и грубоватыми. Хотя, и действительно, особой изящностью они не отличались. Но, Николай, всё-таки, схватил Ниночкины руки и стал целовать. Он нежно прикасался к ладони, а затем целовал каждый пальчик. Ниночка же, благодарно ласкала губами склонившийся к ней чёрный ёжик стриженных волос красивой, крупной головы Николая.

Возвращаясь в санаторий, они не замечали, не видели никого навстречу идущих. И даже, когда Липа окликнула Ниночку, той не хотелось поворачивать головы, не хотелось никаких разговоров: каждая оставшаяся минутка ей сейчас была дорога. Липа догнала оторвавшуюся от мира парочку и, схватив Ниночку за руку, обидчиво-сердито проворчала:

"Ну, дорогая! Ничего не знаю! Как хочешь, а отходящая с тебя! Вечером накрывай-ка стол!"

Она стремительно унеслась вперёд, видать, многочисленные процедуры сделали своё дело и её больные ножки забегали быстрее, прямо по-молодому.

"Боже мой! Уже завтра, утром, я уеду отсюда..."

Вот тут-то, Ниночке так захотелось, чтобы Николай опять преложил ей остаться на три денька, с помощью его "благотворительности". Она бы запросто согласилась. Пронзительная боль расставания заставила её пойти бы на любые условия Николая.

Но повесивший голову Николай молчал, и Ниночка решила устроить себе проводы. Липа оставалась ещё на два дня, у неё была полная путёвка. В номере Николая допивали оставшееся, "со вчера" шампанское и коньяк, и в короткие моменты, паузы, между любовной пылкостью, покинув постель, они садились за стол, друг против друга и почти неотрывно глядели глаза в глаза. Николай, всё-таки, дольше выдерживал эти "поглядки". Ниночка опускала взгляд, а когда поднимала вновь, Николай всё глядел на неё. Ярко-синие глаза его были необыкновенно красивы в сочетании со смуглой кожей и чёрным ёжиком стриженных волос. И вдруг, в глазах Николая она увидела слёзы. Да-да, настоящие слёзы и это так тронуло её, что она тут же вскочила, бросилась к нему. Они не замечали времени. Прошло время обеда, вот уже и солнышко перешло на другую сторону неба, и Ниночка стала мысленно просить время остановиться хоть на миг.

"Но "прекрасному мгновенью" не дано остановиться и на счастья дуновенье будешь ты потом молиться..."

Ниночка запоминала, задерживала, откладывала в "секретный сейф" своей памяти это мгновенье - майскую соловьиную ночь, внезапную любовную страсть.

"Ну зачем, зачем нужна была эта коротенькая встреча? К чему? Чтобы снова билось сердце, чтобы плакала душа? Да-да! И это прекрасно, что моему сердечку дан такой толчок, и что мне попался чудо-мужичок!"

Она грустно улыбнулась:

"Вот и стихи пошли, значит, всё не напрасно".

Перед уходом из номера, остановившись в дверях, Ниночка пропела:

"А напоследок я скажу..."

А напоследок я скажу,

Прощай, любить не обязуйся..."

Опять в глазах Николая стояли слёзы. Ниночке не хотелось в глазах Липы и оставшихся женщин показаться свиньёй, бросившей их. Она вместе с Николаем сбегала в магазин. Набрали различной снеди и хорошего вина. Конечно же, платил Николай, как Ниночка и надеялась. И, вот, стол был готов. Да какой стол! Заявившиеся с Липой, вечером, женщины ахали и охали от удивления. Может от того, что не было частушечницы Анны Степановны и весёлого товарища Антона, а может, действительно, было жаль расставаться с общительной, располагающей к себе, немного смешной и наивной Ниночкой, но вечерок получился не очень весёлым. Да ещё и сама Ниночка, с её печальными романсами... Николай старался общаться с женщинами, веселить их, а сам, всё время, возвращался к виновнице вечера, крутился возле её пышных форм, стараясь, вроде ненароком, коснуться. Ниночка же, стоя на середине комнаты, выделяясь высотой и статью, пела:

"Лишь только вечер затеплится синий,

Лишь только звёзды взойдут к небесам..."

Она пела для всех, но видела только Николая, видела только его глаза, блестящие синей росой и пела сегодня, в последний раз, только для него.

- Ну, девушки, что-то вы совсем заумиралы - заплакали, - наигранно-весело и громко, крикнула Липа, когда Ниночка закончила романс.

- А и правда! Давайте выпьем на посошок да spoём что-нибудь весёленькое!

"Эх, девки, полюбила я его, чёрненького, кажется, а он, рыжая собака, гуталином мажется!"

Женщины, сгрудясь возле маленького столика, выпивая на посошок, по очереди пели частушки. Потом, обнимая Ниночку, признавались ей в искренней симпатии и приятном знакомстве. Решили пойти погулять-развлекаться, и Ниночка, целуя всех в щёчку, взяв за руку Николая, вместе со всеми вышла на улицу. Сделав "кружок" по сапаторию, парочка быстро исчезла из виду женщин.

"Поймут и не обидятся", - подумала Ниночка.

...И опять была сладостная бешеная ночь, продолжение и конец маленькой прекрасной сказки. Когда раньше, ни с мужем, ни с другими мужчинами Ниночка не испытывала такого сексуального восторга, не чувствовала такого единения тел, будто бы, действительно, это были две потерявшиеся, блуждающие в поисках друг

друга мизерные человеческие половинки, сейчас, вдруг, нашедшиеся и слившиеся в первородном естественном "исполнении".

"Господи! Ведь большая часть "нашего брата", баб, даже и не представляет себе ничего подобного. Какое же это несчастье! И где бродят те половинки, никак не нашедшие друг друга???"

Такие мысли, как-то поверхностно, возникали сейчас у удовлетворённой Ниночки.

"Интересно спросить его о сексе с женой... - подумала она, - Всё у них также слаженно или нет? Конечно же, там должно всё быть "о кей". Но тогда, как же с половинками? Ведь если я половинка его в сексе, то другая уже не нужна!"

- О чём задумалась дивчина? - Николай повернув Ниночку, взял её лицо в обе руки, стал, смеясь, дуть ей в глаза.

Она чуть помедлила и всё же спросила, сделав акцент на "половинках". Он не удивился, как будто ждал этого вопроса. Чуть отстранясь от Ниночки, заложив руки под голову и глядя в потолок, Николай сказал:

- Ты прости меня, Нина, но вот сейчас, в уже сложившейся жизни, чёрт знает, я даже не представляю себя без семьи, то есть, в первую очередь без своих сыновей. Их у меня двое. И, конечно, без неё. Половинка не половинка - а вот уже проросли друг в друга. И как другие рвут, непонятно. Это же больно, невыносимо, наверное, да? Хотя видать, не всем больно, не все срослись, значит, не те половинки, как ты говоришь, были соединены.

Чем-то прохладным дохнуло на жаркую грудь Ниночки от этих слов.

- Ну, а как же секс?

- Зачем тебе это? - Николай всмотрелся в её. - Вот жила бы ты поближе, и мы были бы с тобой горячими любовниками.

- Нет, ты ответь мне всё-таки, - не унималась Ниночка.

- Да всё нормально. Привычным делом стало, вот и всё. Ниночка, ведь половинка - это не только секс, секс, секс... Это ещё характер, душа, и ещё что-то такое...

- Я тоже так считаю, ведь мы всё-таки, должны отличаться от других тварей, хотя в основе и лежит что-то общее.

От этого разговора, который сама же завела, Ниночке стало как-то неуютно. Она вспомнила свои размышления о половом влечении, о самцах и самках и в своих же глазах теперь выглядела той самкой, заострившей внимание и думающей только о сексе.

"Так вот отчего тебе дискомфортно, милая моя! И не совсем верна твоя теория. И прежде всего - есть человек!"

Николай же помалкивал. Ниночка стала его тормозить, вроде бы играя, но какая-то "злинка-злость" зарождалась в ней. Чисто женская зависть и ревность, глубоко спрятанные где-то там, внутри, к незнакомой, далёкой, чужой женщине, которая должна быть счастлива с таким мужем, всплесками накатывали на Ниночку. Она ста-

ралась отогнать эти серые думки-мысли от себя, разумом оценивая реальность, но в душе её, в этом таинственном и неопознанном особенке тела, находившимся под грудиной, как говорят в "солнечном сплетении", там где "бьют под дых", в этой самой, уже признанной учёными, как, всё-таки действительно существующей в природе человеческой субстанции копилась и росла боль, обида, печаль.

"Но ты ж хотела только вечер! И была счастлива, так что же случилось? Неужто так быстро померк твой сексуальный восторг?"

Ниночка вскочила с постели, подошла к столику и налив полный фужер сухого вина выпила, утоляя не только жажду, но и гася, гася все свои смутные чувства.

В пять утра она собирала разбросанные по номеру вещи. Как ни старалась выглядеть аккуратной в глазах соседки Липы, вещи вновь и вновь оказывались в разных местах: юбка и брюки висели на спинке кровати, халат со спортивными штанами, которые ей так и негодились из-за лени бегать на лечебную физкультуру, валялись на стуле, а колготки были засунуты внутрь тумбочки. Единственно, как положено, на вешалках в гардеробе висело несколько блузок и сарафан, в нём Ниночка, не стесняясь своего большого тела, в основном, и бегала на процедуры. Она лихорадочно запикивала свой наряд в сумку, так как автобус отходил через полтора часа. Ниночка суетилась, оглядывая номер, не забыла ли чего. Встала потревоженная Липа, хотела проводить до автобуса, но потом, зевнув, сказала:

"Да зачем тебя я?! Есть ведь провожатые, ладно, давай здесь простимся".

"Провожатый" Николай скромно топтался тут же, у дверей, ждал. Пообещав звонить друг другу и зная, что навряд ли они долго будут созваниваться, ну, может, самые первые дни, Ниночка с Липой обнялись.

К остановке шли молча. Ниночка несколько раз оглядывалась, прощаясь с тихими аллеями, тропинками, древними деревьями. Санаторий ещё спал, и лишь ранние утренние пташки-непоседы встречали новый день своим пересвистом. Автобус ждал отъезжающих отдыхающих, но подошла только одна Ниночка. Николай неотрывно глядел на неё и опять глаза его были влажными:

- Я сразу позвоню, слышишь, Нина? Ты только жди звонка. Я надеюсь, что мы не потеряемся, правда? Только жди звонка.

Она старалась держаться молодцом, хоть внутри всё страдало и ныло. Ей не хотелось уезжать, побыть бы с ним ещё немного, обнимать бы его, любить... И тут же её душила обида, что он, именно он, не настоял, не сделал ничего, чтобы она осталась. Но, затем, опять тёплое чувство к нему потесняло тоску и обиду.

Водитель объявил посадку. Прижавшись друг к другу, они стояли лишь мгновение, а перед глазами Ниночки яркой быстрой ленточкой промелькнуло всё короткое время их знакомства. Она по-

тёрлась щекой о его твёрдую, отросшую за ночь щетину и резво, как будто и не баба в сорок пять, молодо прыгнула на подножку автобуса. Уже отъехав ближе к повороту, Ниночка всё не отрывала взгляда от одиноко стоявшего Николая. Перед её глазами стояли его глаза, и когда автобус скрылся за поворотом, она дала волю своим сдерживаемым чувствам. Слезы... слёзы. Благо, никого не было в автобусе, водитель включил радио и, как на грех, зазвучало:

"Не уходи, побудь со мною,

Я так давно тебя ждала..."

...Приехав домой, Ниночка в первый день вообще не выходила из дома. Даже за хлебом. Ждала звонка. Звонка не было, и не было у Ниночки аппетита. На другой день она также не выпускала телефон из глаз и на любой звонок подлетала к нему большой, печальной птицей. Ниночка металась по квартире, не находя себе места, вспоминая его глаза, такие необыкновенные, ярко-синие и стоящие в них слёзы. Она казнилась, всяко ругала себя, обзывая набитой дурой, старой фантазёркой, хотя слово "старая" никак не ложилось ей на душу и она тут же себя "реабилитировала":

"Какая я же старая?! Ничего подобного!"

Сын поглядывал с укоризной, но спокойно, наверняка, понимая свою чудаковатую мамку.

Позвонила соскучившаяся подруга. Ниночке казалось, что она долго и нудно тараторит про всякую чепуху, ведь в это время мог позвонить он, Николай.

"А может его слёзы были от продолжительного глядения, когда они "играли" в игру - гляделку, кто кого пересмотрит!? Да, ведь это были слёзы от напряжения... Точно!" - Ниночка опять начинала ругать себя.

"Нет-нет! Когда провожал, ведь у него были настоящие слёзы" - всё-таки верилось ей.

Она ждала три дня. Звонка не было. ...

Перед первым рабочим днём Ниночка увидела сон. В ночном черном небе, которое было каким-то совсем низким, будто бы над самой землёй, плавали, летали, носились человеческие половинки в образе луноликих разнообразных женщин-красавиц. Но то были лица не полной, круглой луны, а полулица, когда в небе висит такой молоденький серпик-месяц. Эти женские половинки, лица-серпики кружились возле какого-то тёмного диска и, повсеместно, раздавался их шелест:

"Я твоя половинка, я твоя, твоя... нет-нет, это я твоя половинка..."

Ниночка очнулась, радостная о того, что это только сон. Она улыбнулась:

"Вот сколько нас, половинок, болтается где-то..." - и, вдруг, поняла, что на душе у неё легко.

Легко и свободно. За окном уже светлело. Она взглянула на часы. Было - пять утра.

## Несостоявшаяся артистка

**В**алюшка Гурчикова любила жизнь всем своим маленьким сердцем и страстно верила, что эта драгоценность природы уж всяко её одарит любовью и удачей. И по земле Валюшка не ходила, а прямо-таки - летала. Бывало, соседка тетя Лида, сколько раз, то ли с насмешкой, а может и с добротой в сердце (Валюшка ещё не доросла до таких тонкостей, не понимала) говорила вслед убегающей вприпрыжку девочке: "Ну, что за коза-егоза! Не пройдет веть спокойно, усё куда-то рвётся - мчится". Тетка Лида знала, что жизнь человеческая до обидного коротка, особенно благословенная молодость, и поэтому, уже тихонько, с грустью добавляла: "да, доча, попрыгай пока прыгается! Всего-то и счастья, пока мала - молодёхонька!".

А Валюшка мечтала стать артисткой. И артисткой необычного театра! А цыганского, "Ромэн". Часто, когда в хате никого не было, она набрасывала на плечи большой материнский платок с кисточками, распускала по плечам негустые, темные волосы и, кружась перед зеркалом, пела старинные романсы, занижая голос, подражая цыганскому пению. Удивительно, но маленькая Валюшка любила грустные романсы: "Уймитесь волнения страсти...". Она написала письмо в Москву, в этот театр "Ромэн" и ответ пришел довольно быстро. Ей написали, что они "берут" молодежь только цыганской национальности и пожелав ей испытать себя в других ипостасях искусства, вежливо и корректно извинились.

По этому поводу Валюшка Гурчикова долго не горевала: "Ну, подумаешь, не взяли цыгане, возьмут другие!". По молодости лет, она была уверена, что её ждёт интересное будущее, необычная жизнь среди творческих людей. И нигде больше! "Ну, не получится стать артисткой - буду писательницей". Она любила писать. Ещё школьницей выбирала заинтересовавшие её адреса девчонок и мальчишек из "Пионерской правды", где указывался только город, школа, класс с фамилией ученика и писала им теплые дружеские письма. Чаще всего ей отвечали, завязывалась переписка. Иногда очень долгая. С девочкой Аидой Оганян она переписывалась до десятого класса. Был и мальчик из Болгарии - Кънчо Кърстев. Она часто смотрела на фотографию этого красивого, смуглого паренька, с каким-то щемящим, только что зарождающимся женским чувством. Очень ждала Валюшка этих писем от ребят, так как они высылали ей переводные картинки, которых в её селе ещё и в помине не было, а также яркие, цветные открытки, с изображением любимых ею артистов.

Став взрослее, она писала разные заметки о своей жизни - учёбе, помощи взрослым - в различные радиостанции: Юность, Ровесники. Ей отвечали, хвалили, просили ещё писать. Но писательская

деятельность наивной Валюшке казалась непервостепенной и более доступной, чем артистическая.

"О, счастье - неизведанных дорог,

О, счастье - пусть наивных, но мечтаний!"

Окончив школу, Валюшка Гурчикова, вместе с одноклассником, Валерой Карповым, поехала покорять Москву. Свежим ранним июльским утречком, они уже сидели на каменных ступеньках, у массивных резных дверей эстрадно-циркового училища, что на 5-ой улице Ямского поля и аппетитно уплетали сахарные коржики, запивая их молочком из треугольных красно-белых пакетов. Училище они нашли быстро и теперь, сидя на холодном камне храма искусства, были уверены, что большая часть дела сделана. Доехали!

К училищу стали подъезжать различные авто, и из них выходили грациозные красивые девушки и мужественные высокие парни. Ну, прямо, как с открыток! Валюшка с Валерой немного застеснялись своей провинциальности, и где-то, в самой глубине сердца, у них зашевелился малюсенький комочек сомнения.

Но начало дерзаний артистического Олимпа было положено и Валюшка, настроившись, опять же, наивно-самоуверенно, подумала: "А продолжение - будет!" У бедного же Валерика, имеющего небольшой дефект речи, а именно шепелявость, которую он, видимо, в профессии клоуна не считал недостатком, продолжение оборвалось уже в полдень. При прослушивании и собеседовании, комиссия сразу забраковала одноклассника - мечтателя.

Валюшка же прошла первый тур просмотра и теперь, вообще, почти уверенная в благосклонности судьбы, утешала Валерика, обижено хлопающего длинными ресницами. И если бы не этот обидный "дефектик", он мог бы рискнуть не только на "уморную" роль клоуна, но на самого настоящего киноартиста-трагика, с внешностью молодого Вячеслава Тихонова.

Уже на вокзале Валюшка решила честно ему сказать, что с самого начала, она чуть-чуть сомневалась в правильности его выбора этой особой, завышенной сферы жизни, но боялась его обидеть - огорчить, убить светлую надежду (а вдруг?) на чудо. Валерик уехал обиженным, но не побежденным, решившим на следующее лето повторить покорение эстрадной Москвы. Сама же Валюшка прожила в Москве всего три дня. За это небольшое время произошёл какой-то поворот в её душе. После прохождения первого тура, её поселили в общежитие студентов, уже третьекурсников. Она с искренним удивлением и непониманием смотрела на них. Худющие, маленькие девчонки, будущие артистки цирка "смолили" тут же, в комнате, а здоровые, самоуверенные парни укоряли их за потерю формы за лето. Валюшка поражалась: о какой форме, о какой потере они говорят?! По мнению крепкой, загорелой Валюшки эти девчонки были так тонюсеньки, так невесомы, что терять там было, вообще, нечего. Ребята щупали и тискали их за различные части

обнаженных тел. Было жарко, и цирковые эквилибристки с воздушными гимнастками разгуливали по комнате в купальниках, тут же репетируя разные номера: парень схватывал девушку, всяко крутил - вертел её вокруг себя, садил на голову, а затем, перекувыркнув, ставил вверх ногами.

Валюшка стыдливо дивилась свободе их отношений, и ей становилось почему-то так грустно и одиноко. Она ощущала себя здесь чужой, лишней, совсем ненужной. Сразу вспомнилась родная хата, мать и сестры, которые отсюда казались такими далёкими. И куда девалась её самоуверенность?!

- Нет, не смогу я, наверное, здесь. Если не пройду - то и ладно! - думала уже она. Поселившаяся с ней Соня, то ли из Сыктывкара, то ли из Ханты-Мансийска, удивившая Валюшку тем, что хочет быть коверным, работать клоунессой, маленькая, некрасивая, заметив тоску в глазах соседки, стала её уговаривать и утешать. Сама она целый день жонглировала разными предметами, и её стриженная, крупная не по телу, голова моталась туда - сюда. Это рассмешило Валюшку, а Соня обрадовалась перемене настроения новой знакомой.

- Я ж, говорю, мы обязательно поступим! Ты ведь, из деревни, а я из другой республики. На нас таких три процента отводится, - с надёжным блеском в глазах, чуть задыхаясь от подкидывания булавы, говорила Соня.

Соня провалилась при отборе на второй тур. И когда Валюшка провожала её на вокзал, из Сониного рюкзака на узенькой спине сиротливо и невостребованно торчали орудия труда несостоявшейся клоунессы. Поникшая головка Сони, так надевавшаяся на счастливые три процента, стала маленькой и жалкой.

К экзамену на третий тур Валюшка не особенно готовилась. С проводами Валерки и новой подружки, она стала какой-то равнодушной ко всем этим турам-отборам.

Когда же вошла в аудиторию и увидела за столом приёмной комиссии солидных, аристократического вида экзаменаторов, которых почему-то сейчас было больше, чем на предыдущем отборе, сердечко Валюши взволновано забилося. Встав на середину зала, она вперила свой взгляд в чёрный рояль, стоящий чуть сбоку от неё, и ужас шевельнулся в её душе:

"Неужели заставят играть на нём?" Но и ещё что-то, помимо рояля, мучилось страхом в её голове.

Боже! да она же напрочь забыла название поэмы Твардовского! Объявив: "Отрывок из поэмы..." - Валюшка замолкла, глядя поверх сидящих особ. В мозги только и лез "Василий Теркин".

"Да нет, же, нет, не то!"

- Девушка, да вы не волнуйтесь, успокойтесь, вспомните,... и ... - кивнул ей маленький, полнощекий мужчина.

- Вы откуда приехали? И где так прекрасно загорели? Загар - то

- не похожий на морской, какой-то странный - опять попытался он расслабить застывшую Валюшку.

- И ничего странного тут нету! На свёкле я загорала! - решила ответить Валюшка, чуть отпуская сердце. И прямо посмотрела на комиссию. Человек восемь сидело за столом и лишь трое-четверо из них заинтересованно смотрели в сторону поступающей. Остальные что-то писали в своих бумагах, наверное, далёкое от того, что происходило здесь, нужное только им, а маленькая красивая женщина, с высоченной причёской-башней, даже откровенно зевнула.

"Видать, очень устала уже, от нас таких вот артистов", - подумала Валюшка. И в этот миг, как-то легко и свободно стало ей. Она добродушно, как своим старым знакомым стала громко рассказывать, что почти всё лето провела на колхозном поле.

- Мамке дают пайку свёклы. Это где-то соток восемь, а если у кого деток много, ну, там человек шесть-восемь, то дают ещё больше. Ну, у нас шестеро - продолжала Валюшка, уже увлекаясь, и чувствуя, что заинтересовала этих чопорных представительных господ, - вот мы и колуемся на этой свекле.

Она как будто вновь очутилась дома и представила, что сейчас, наверное, там так жарко и мамка отпустила сестрёнок, Гальку и Томку, "скупнуться" в их небольшой речушке.

- Мамка у нас добрая очень! Если уж слишком пекёт на улице, она нас не заставляет, как другие бабы, сидеть в пыли и грязи на этих грядках, - горячо, с какой-то сладкой болью воспоминания, сказала Валюшка и замолчала. Почему-то притихли и в приёмной комиссии.

Вдруг светло и ясно стало в голове у Валюшки Гурчиковой, и она громко начала: "Александр Твардовский. Отрывок из поэмы "Страна Моравия":

...Стоят столы кленовые.

Хозяйка - накрывай.

Поспела свадьба новая

Под новый урожай!"

Через минуту её остановили и попросили спеть чего-нибудь, предложив при этом услуги аккомпаниатора.

- Не надо! Я - так! - она запела сильно, широко, представляя себя одну в родной хате, где она столько раз уже репетировала, и ей казалось, артистка - готова! Валюшка пела прекрасную раздольную песню, которую пели бабы в их селе, хотя казацкие степи были далеки от брянских лесов:

"Как за Доно-ом, за-а-а реко-ою,

Под зелёным дубо-ом,

Расставалася казачка,

С хло-опцем черночу-убым..."

Заулыбались сидящие за столом, и это очень ободрило Валюш-

ку. Разыгравая обязательный этюд с потерей иголки, она разошлась вовсю. Краем же глаза наблюдала за реакцией экзаменаторов и, постепенно, удаль и задор пошли на спад.

Величественные дяди и тети вновь заскучали. Валюшка отчаянно пыталась сыграть поиск этой злополучной иголки, а в мозгу её билось:

- Ну вот и всё, ну и ладно!

При полном молчании она вышла из аудитории, отпихивая от себя ожидающих своей участи "артистов". Валюшка решила не ждать результатов и, чувствуя, что не получилось, сразу ушла в общежитие, собирать свои вещи. Хотя какие там у неё были вещи?! Шёлковое платьице "солнце - клёш" в ярких красных тюльпанах было на ней, и так "шло" её загорелой, будто бронзовой, налитой молодой силой фигуре. В сумке же валялась белая кофточка, да белые брюки с бахромой по низу, которые она сама сшила с невозможным приложением сил на уроках труда в школе. Ей так хотелось вместе с мальчишками своего класса осваивать трактор, но "трудоличка", Евдокия Михайловна, внушала и внушала ей необходимость навыков кройки и шитья, как будущей женщине и матери. Конечно, учительница была по-женски мудра и правильно сделала, что заставила Валюшку сшить эти брючки. И когда Валюшка надевала их, да ещё с белой кофточкой, мамка её говорила, ещё завидев издали:

- Вон, моя докторина идет! Уся у белом, ну прямо, врач!

Валюшка решила немного погулять по неосвоенной ею Москве, не уходя далеко из этого района, а затем зайти в училище забрать документы. Странно, но на душе её было спокойно - тихо и лишь где-то, чуть-чуть, слабенько, покалывало, при мысли о том, что вот разочаруются её домашние, надеющиеся по простоте своей на успех и уверенные в её поступлении.

Зайдя в училище, уже ближе к вечеру, она, не глядя на список прошедших этот тур, попросила свои документы. Пожилая женщина-секретарь долго рылась в каких-то бумагах, потом вышла. Чуть удивленная, она вернулась обратно:

- Девушка! Так ведь вы прошли этот тур и допускаетесь к сочинению! Так что - радуйтесь и готовьтесь писать!

В Валюшкиной душе вдруг снова взметнулась птица надежды, да так счастливо заразмахивала-захлопала крыльями, что перехватило дыхание.

- "Боже, неужели! Не может быть! Судьба даёт мне шанс!"

И откуда что взялось? Ей захотелось бежать по московским улицам и кричать, кричать от счастья!

"Я вам напишу! Я вам такое сочинение напишу, что вы и не читывали!"

Сочинения писать Валюшка очень любила. Всегда выбирала свободную, вольную тему. Вот где было бумажное раздолье для выра-



У памятника  
Виталию Бонивуру  
в г. Владивостоке



жения её мыслей, её отношения к предмету, вот где волнами выплёскивались страсти и эмоции.

"Ну, считай, девка, что поступила!" - какая-то сумасбродка-уверенность вновь овладела всем её существом.

Через день она писала о своём любимом герое - дальневосточнике Виталии Бонивуре. Из трех предложенных тем она выбрала свободную: "Книга - учебник жизни". И вот этот учебник жизни, в данном случае, роман Дмитрия Нагишкина "Сердце Бонивура" уже несколько лет лежал под подушкой Вали Гурчиковой. Она была покорена трагической жизнью и смертью этого комсомольца. Посмотрев же телевизионный фильм "Сердце Бонивура", Валюшка просто напросто влюбилась в этого героя. Конечно, не последнюю роль сыграл здесь и актер Лев Прыгунов. Образ красивого актера слился с образом Виталия Бонивура, и потом она не пропускала ни одного фильма с участием Льва Прыгунова. Тайно, сама себе, она дала обещание обязательно добраться до Владивостока и возложить цветы к ногам своего любимого героя. В его честь она и младшего брата назвала Виталием. Валюшка писала сочинение, как всегда размашисто, эмоционально, не забывая об обязательном включении темы любви к Родине, необыкновенном патриотизме, присущим всем советским людям. Писала на одном дыхании и уложила раньше всех. Возбужденная и счастливая, она выходила из училища. Результаты будут известны завтра, в три часа дня.

В три часа она узнала, что эта роковая цифра "три" стояла у неё и под сочинением. Опять же, удивленная секретарша укоряла Валюшку:

- Девушка! Да вы что! Ну, подумаешь - тройка! Вот историю сдадите, тогда и ясно будет! Это же абсурд - сейчас забирать документы! Ведь в вас что-то нашли, иначе сразу бы срезали, на первых просмотрах!

Валюшка помолчала и дрогнувшим голосом сказала: "Да нет уж! Какая там история! Кончилась моя история!".

Женщина, покачивая головой, порывлась в толстенной папке и протянула Валюшке её экзаменационный лист с приклеенной фотографией. Быстрым шагом, точно убегая, она ринулась из училища.

...Спускаясь с березового косогора, Валя ещё издали увидела одинокую фигурку матери, пасущую стадо коров. Мать стояла в ложине и, опираясь на длинную палку вместо кнута, вглядывалась в приближающуюся дочку.

"Неуж-то так быстро наша очередь подошла?" - удивленно подумала Валюшка, - вроде бы совсем недавно я стерегла".

Стерегла коров в деревне по очереди, за неимением штатного пастуха. Раньше, по ранним вёснам, вся деревня собиралась на собрание: нанимать пастуха. И всегда это был чей-то муж и отец. Потом улица по очереди его кормила вечерами и собирала какие-



то деньги. Но уже давно никто из мужиков не соглашался на эту долю, и приходилось стеречь стадо мамкам и ребятам.

Валюшка всё ближе и ближе подходила к стаду, уже видя лучистые, улыбающиеся глаза матери.

"Вот тебе и докторина - артистка!" - с грустью думала она.

Мать стояла в черной плащ-накидке на случай грозы:

"А я гляжу, уроде как моя Валюха бягить! Походка твоя, знакомая, попрыгунья! Ну, что доча, не получилось?"

И, сделав небольшую паузу: "А, ну и ладно. Крепко не горюй! Даже и не переживай, у тебе ище уся жизнь впереди!"

- Я, мам, знаешь, решила немного поработать. Знаешь, там, в Москве, надо иначе, жить, как ты говоришь - себя и мать успокаивала Валюшка, сделав ударение на "и" в слове иначе".

- Ды конечно, успеется ещё. Я вот три года также "москвичом" побыла, - мать вспомнила юность и вербовку на стройку в Москве, - а потом за твоим отцом сюда вот и заторкалась. А тебе, можа, когда и улыбнётся счастье - заулыбалась она.

...По прошествии многих лет, Валюшка Гурчикова, теперь уже Валентина Петровна, редко вспоминала ту поездку в Москву, а вот старенькая тетка Мария да мамка, часто бывало, смотрят какой-нибудь концерт по телевизору, и как-то печально проговорят: "Вот ведь, Валюшка! Глядели бы мы сейчас на тебе у телевизоре, и все бы нам завидовали. Наша артистка! Чё уж, вспоминать -теперь! Сама не захотела!".



По земле не ходила...  
Легала!!!



... Я полюбила древний город  
Осенней грустной порой,  
Коллекцию золотых соборов,  
Набат седых колоколов.  
С провинциальным листопадом  
Он стал мне родиной второй...

## Вторая родина

У Вероники трепетно билось сердце: все ближе и ближе была неизвестность, поезд все чаще и чаще останавливался на маленьких станциях и полустанках. Вероника смотрела на буйно-яркую в своем осеннем наряде уральскую тайгу, и душевный страх на мгновение исчезал.

После огромной, гудящей, несущейся куда-то неисчислимыми толпами столицы, в которые Веронику внесло, втянуло, как незаметную песчинку, и ей даже нравилось двигаться в этом едином, общем людском потоке, охваченной непонятной радостью, возбуждением, какой-то сопричастностью к великому и вечному; после суетливых переездов в метро и шумных вокзалов, сейчас, такой целомудренной и неповторимой, такой умиротворенной и красивой была проплывающая за окном поезда природа. В вагоне оставалось несколько человек.

- Ну, братцы, скоро кончатся рельсы и кончится советская власть!  
- произнес кто-то из пассажиров.

Вероника оторвалась от окна и, обращаясь к дядечке неприятного вида, наивно спросила: "Простите, как это - кончится советская власть?"

Мужик рассмеялся. Засмеялись и в соседнем купе. Вероника покраснела и горячей щекой вновь прильнула к окну.

- Да ты, детка, не бойся! Это так здесь говорят. Ну, а что дальше нашего города нет железной дороги - это правда. - мужик тронул Веронику за плечо и спросил - А ты, невеста, к кому едешь? Да еще с гитарой! Может, я его и знаю. Городок-то наш небольшой, да уж больно "специф-фический"...

Мужики опять засмеялись. Вероника присела на краешек полки, потрогала гитару, которую везла без чехла. Ей хотелось кое-что спросить, но она не решилась продолжить разговор. К мужику подсели еще два парня, ненамного старше Вероники. Она, не показывая вида, краешком уха вслушивалась в непонятные ей слова - термины, выражения, названия сел и каких-то поселений. Попутчики говорили о многочисленных колониях, разбросанных по всей округе, и Веронику снова охватил страх. Она вглядывалась в мелькающий по обе стороны поезда лес, но не видела никаких колоний.

"Куда еду? Зачем? Да еще и Артуру не сообщила! А вдруг его там уже и нет? А вдруг... может он..." - Вероника обрывала себя на этой невозможной мысли и успокаивалась тем, что в письмах Артур ждал ее, звал и даже описывал, как доехать. "А может он не думал, что я решусь, сорвусь с места в такую даль?!" Перед ее глазами, вдруг, так четко, так ясно возникло родное далекое село. Располагаясь на среднерусской равнине, в окружении многочисленных полей и перелесков, оно не имело таких ярких красок, как пролетающая за окном бесконечная тайга, а по глубоким осеням окутывалось тоской и печалью, но сейчас Веронике представлялось таким родным, таким дорогим!

Слезы подступили к ее глазам. Сомнения вновь разрывали сердце.

... Ее мать и мать Артура были подругами. И, наверное, потому так долго дружили, что имели самые душевные точки соприкосновения. А именно: обе очень любили кино. Девками бегали на любой сеанс, а став бабами-матерями, опять же, бросали свой двор, свое хозяйство и, повязав чистые фартуки для утирки слез, оглядываясь на ругающихся своих мужиков и стыдясь, вечером поспешно шли в клуб на "любовное" кино. По причине влюбленности в киногероев и были даны необычные для деревни имена своим первым дорогим детям. Мальчик был назван Артуром, в честь прекрасного, честного борца за итальянскую независимость из фильма "Овод", а девочка наречена длинным романтическим именем Вероника из "Летят журавли". Обе матери были счастливы, гордились именами своих чад и втайне мечтали об их общей судьбе. Выросший Артур, не читавший роман Войнич и не любивший "слюнявое" кино, конечно же, ничего не знал о характере своего героя да и вовсе к этому не стремился. Но, характер характером - внешность же его удалась! Он и впрямь не походил на деревенского: тонкие черты лица, горящий блеск черных глаз, стройный, аристократического вида Артур молниеносно покорял сердца всех девчонок. Немудрено, что крепкотелая, круглолицая, русоволосая Вероника, как раз, не очень-то соответствующая образу "Вероники - Белки", в четырнадцать лет безумно влюбилась в Артура. Характер же реальной Вероники совпадал с "киношной". Свою любовь она тайно берегла, хранила и только перед проводами в армию сына мамкиной подружки, промучавшись и протрадававши всю ночь, решила ее ему открыться. Помимо красоты, Артур выучился играть на гитаре, за ним вереницей тянулись девки и непросто было его отвлечь и "завлечь" в непролазный осенний ивняк. Именно туда бегала Вероника, чтобы вырваться, узнав об очередном увлечении Артура и рассказать про свою любовь-боль равнодушно - кивающим прутьям ив и краснотала.

Наверное, ему было просто интересно. И после того, как Вероника, "забыв про гордость и стыд", размазывая предательские сле-

зы по лицу, выговорилась в этом осеннем голом ивняке, ей стало неизмеримо легче. Она даже посмела дотронуться до его красивого, утонченного лица, погладив по щеке: "Пусть теперь идет в армию". Случилось же так, что Артур попал в "другую" армию. Пока родня размашисто готовилась к проводам "на всю деревню", горячий, неуравновешенный сын подрался с "шефами". - студентами из области, прибывшими на уборку овощей. Несмотря на то, что Артур доказывал правоту в одиночестве, отбрасывая одного за другим студентов, его обвинили в зачине драки и нанесении телесного вреда. Родители Артура вместе с военкоматом умоляли милицию как-то упростить дело. Но как ты упростишь, если у одного "шефа" оказалась сломана рука и поврежден нос? Как упростить, если именно этот парень - сынок высокопоставленного в области чина?!

Мать Артура нашла тех родителей, плакала-уговаривала: "Зачем же вы его в деревню отпустили, если он такой нежный? Ведь, мой-то дурак один дрался, а ваших целая гурьба!"

"Папочка" ответил: "он хотел показать сынку народную жизнь, но не таким же способом..." Артуру дали "химию". Сначала он работал "в родных стенах", на местной народной стройке и Вероника каждую неделю ездила к нему. Просиживали до положенного часа у его спецобщезития, затем Вероника бежала ночевать к дальней родственнице, утром же, увидевшись и сразу попрощавшись, уже ждала, торопила новую встречу. Она и в училище поступила, чтобы быть ближе к нему. Но, кому-то слишком легкой показалась расплата за содеянное и дорабатывать свой срок Артура отправили в "места не столь отдаленные". Вероника каждый день писала письма. Артур отвечал. Вначале чувствовалась его тоска, оторванность от родных мест. Она же хранила, лелеяла в памяти и душе те немногие счастливые встречи с ним, бережные прикосновения с нежными поцелуями. Несмотря на свою "востребованность" и кое-какой любовный опыт, с Вероникой вел себя Артур очень скромно, даже скованно.

Потом письма пошли реже, зато стали повеселее: у Артура закончился срок, но ехать он не торопился. Писал, что решил подзаработать, живет на квартире у хороших людей. Между тем, у Вероники где-то глубоко внутри, подспудно, уже зрело - вызревало решение. Ей снился загадочный, неведомый Урал, старинные, былинные города - посады, сказы Бажова.

... И вот сейчас она ехала через все эти первозданные красоты. Поезд двигался еще медленнее и, наконец, резко тормознул, дернувшись назад, остановился. Вероника с гитарой и небольшим чемоданчиком вышла к вокзалу. Улыбнулась, прочитав табличку: вокзал оказался ровесником ее матери, один и тот же год рождения. Но где же город? Кругом одни деревянные, темного дерева строения и совсем не чувствуется дыхания огромной стройки, о которой

писал Артур. Веронике объяснили, как добраться до центра, а дальше советовали еще поспрашивать прохожих. Это очень озадачило Веронику, но она приказала себе не впадать в панику, а идти до конца. Куда уж теперь деваться?! И вот, она стоит в так называемом "центре" города. Но уж не в сказку ли она попала?! Веронику окружали древние, неопишуемой красоты соборы и церкви. В музыку золотого сентябрьского листопада вливались величавые перезвоны еще невидимых ею колоколов. У Вероники закружилась голова, когда она, задржав голову, восхищенно глядела на высоченный шпиль Соборной колокольни.

"Господи! Прямо пизанская башня! И тоже чуть-чуть наклонилась!"

С интересом осматривалась Вероника вокруг, и из души потихоньку улетучивался страх. Она прошлась по маленькой площади, оглядывая старинные, краснокирпичные дома и магазинчики, наверняка, бывшие торговые, гостинные ряды и лавки. В стеклянных витринах этих магазинов бело-голубыми пирамидами красовались банки сгущенного молока, что очень поразило Веронику. (В их местности сие лакомство являлось большим дефицитом. И когда случалось быть в Москве, деревенские бабы торопились заказать для своих многочисленных чад эту злополучную "сгущенку"). Вглядевшись в даль, Вероника увидела золотые купола еще одного красавца - собора; они играли - переливались на солнце и будто манили к себе. Вероника двинулась по направлению к собору, на мгновение забыв про свой конкретный адрес, который нужно было отыскать, на ходу спрашивая прохожих о названии собора. Толком никто ответить не смог.

"Вот, в таком-то городишке, среди такой красоты, старины, тишины я и хотела б жить!" - мелькнуло в мыслях Вероники.

... Улицу, которую Артур указывал в адресе, искала долго. По подсказке горожан нашла тот район, где все было рыто - перерыто, перемощено. Строился пятиэтажный двенадцатиподъездный дом, со всех сторон, окруженный высоким забором да еще примыкающим к лицевой части длинным крытым переходом. Когда Вероника, наконец, вынырнула из этого деревянного лабиринта рабочие на крыше стали ей что-то кричать. Она остановилась, подняла голову: вдруг, одним из этих "строителей" окажется Артур. Рабочие громко смеялись, она пошла дальше искать дом - пристанище Артура. Ноги ее устали, "гудели", как говорила ее мамка, даже гитара сейчас казалась в тягость. Она брела по холмистой улице, то спускаясь в низинку, то опять взбираясь на гору. Вероника задумала сюрприз. Вот она найдет этот дом, но сразу в него не войдет, а поставит гитару у двери и будет ждать Артура. Увидев гитару, он с ума сойдет! Откуда она здесь взялась?!

В отверстие деки гитары Вероника вложила записку с признани-

ем в любви. Вон она, по-прежнему шуршит внутри, даже за дорогу и не вывалилась! Вероника поднялась еще на одну горку и, вдруг, ее взору открылся Белый город! На фоне прозрачно-голубого неба, смыкающегося на горизонте с темной стеной бескрайнего леса, высокие, стройные шеренги зданий мощными, белыми стрелами пронзали и расчерчивали пространство. Вероника остановила проходившую мимо пожилую женщину, чтобы спросить об этом городе.

- Чёй-но, девка, говоришь? Какой город? Пошто? А - а, так ведь, это наш новый микрорайон. Клестовка, называется. Поди-ко, понравилась? Да уж, баско там понастроили.

Женщина с интересом посмотрела на Веронику.

- А ты, деушка, нездешняя. Сразу видно-то.

Вероника с горечью призналась, что никак не найдет вот этот дом и показала адрес женщине. Та, как-то загадочно улыбнулась, щеки ее вмиг порумянили и она тихонько обронила:

- Дом-то мы с тобой найдем! А вот в дому-то...

Женщина, назвавшись Анфисой, повела Веронику вверх по улице, всю дорогу наговаривая с интересным местным акцентом. Подошли к большому деревянному дому. В родном селе Вероники таких массивных построек не было. Хата-пятистенка считалась уже большим достатком. Этот же дом был двухэтажным, со множеством окон, с широкими черепичными скатами по обе стороны. Все хозяйство укрывалось за мощными воротами под узорчатым, сводным козырьком; лишь маленькое крылечко было приветливо обращено на улицу. Возле крылечка росло необыкновенное, незнакомое - ни ель, ни сосна - дерево с пожелтевшими мягкими иголками и множеством мелких шишечек. Анфиса, заметив интерес Вероники, сказала:

"Это лиственница. У вас, что ли, такие не растут? Вот из нее и выстроен этот дом. Я сама-то из-за Камы. Посватал хозяин уже на пятидесятом году. Я, как увидела это хозяйство - богатство и согласилась сразу. Несмотря, что сам-то весь покалеченный, контуженный. Он же всю войну прошел... Ой, девка, да штой-но с тобой?"

Бледная Вероника ватными ногами еле добрела до ступенек крыльца, обмякло села, гитара звенькнула у ее ног. На одном из венцов сруба дома, рядом с маленькой, красной звездочкой участника войны, она увидела тот самый номер. Анфиса опустила рядышком, обняла Веронику:

"Ох, деушка, ты деушка! Такую дорожку ехала, - и грустно добавила - Но что ж сделаешь, невеста еще не жена!"

Нехорошие предчувствия шевельнулись в душе Вероники, но она, все еще слабо надеясь, спросила: "А он на работе?"

Анфиса о чем-то задумалась, потом, будто спохватившись, ответила:

"Конечно на работе! Где ж ему быть. Ты, девка, особо не горюй!"

Тебя, как я поняла Вероникой зовут? Так вот, милая Вероника пойдём-ко мы в дом, там и поговорим ладом!"

Она провела Веронику по ступенькам на второй этаж, в уютно-опрятную горницу, выстланную половиками. Каким-то родным, деревенским духом пахнуло на Веронику.

- Сейчас, девка, я тебя накормлю. Мы с дедом вчера пельменей налепили, вот и гость к месту пришелся!

Но, Вероника, присев на диванчик, отказалась. Сухость жесткой теркой стянула все во рту, от волнения и переживаний не было даже слюны и она только попросила пить. Анфиса подала ей клюквенного морса, при этом что-то непрестанно наговаривая. Вероника никак не могла вникнуть в разговор, во все происходящее и в какой-то момент ей захотелось одного: лечь и уснуть. Суетливая Анфиса отвела ее в боковушку, маленькую узенькую комнатку, где умещались только кровать и стол, назвав ее горницей для постояльцев. "Вот тут и жил Артур!" - мелькнуло у Вероники. Сейчас же здесь было прохладно, пусто и нежило. Через дверь заглянула Анфиса:

"Ты, чой-но, девка? Разболакайся давай и ложись! Ни о чем не думай! Утро вечера мудренее!"

Вероника уснула, как провалилась. Очнулась она от сдержанного говора, смеха в большой комнате. Ей стало не по себе:

"Он - здесь! Наверное, Анфиса сообщила Артуру. Я же не успела выставить гитару! Ну почему она меня не предупредила!"

Слезы смачивали кофточку Вероники, которую она так и не сняла, сбросив лишь юбку и укрывшись тонким покрывалом. Время от времени в боковушку пытались заглядывать. Вероника оделась, припудрила щеки и села поближе к двери.

- Здравсте, девушка! Как спалось? - задорное юношеское лицо показалось в дверной щели. Затем дверь распахнулась и краснощекая Анфиса весело, громко объявила:

"А у нас и еще один гость есть! Гость далекий, но какой красивый! Выходи-ка к нам, Вероника. Пошто пригорюнилась? Иди-ко, ко столу, а для аппетита выпей-ка пива домашнего. На хмелю да на солоде!"

Вероника вышла к людям. Застолье собралось небольшое, но веселое и шумное. Артура не было. Вероника поняла, что здесь уже все знают. Без ее рассказов и доказательств. А, собственно, какие доказательства? Одна гитара с любовной запиской внутри! За окном уже стояла темь, а гости и не думали расходиться. Задорный, смешливый Валера оказался зятем Анфисы; он играл на гармошке, а две соседки напевали частушки. Оказалось, отмечали именины хозяина. Сам хозяин Иван, заикаясь пытался начать какой-то разговор, но подвыпившие соседки - певуны перебивали его, упрашивая Валеру еще и еще сыграть. От густого, коричневого сусла по телу

Вероники разлилось приятное тепло. Сердце "отпустило" ее и, вдруг, она почувствовала, что страшно хочет есть. И такими немислимо-вкусными показались ей сейчас горячие пельмени, которые Анфиса почему-то называла "ушками", что у Вероники эти странные "ушки" просто, как говорится, запищали за ушами (ну это уже о настоящих, человеческих ушах!)

Захмелевший Иван подсел к ней, старался, заикаясь, успокаивать ее:

"Т-ты, шиб-бко-то не г-горюй! Т-тут у н-нас з-знаешь как-кие уг-глыны есть! О! "

Какие там угланы? Что за угланы? Вероника ждала только утро, чтобы найти квартиру Артура, оставить у дверей гитару и...

"Но, как же обратно? С какими глазами? Ведь бросила училище, оставила все - все и назад?"

... Рано утром она вышла умываться. Анфиса с Иваном чинно сидели за столом, будто и не ложились.

- Слышь-ко, девонька, поживи ты у нас. Не торопись уезжать. Уж ты моему деду так приглянулась! - улыбалась Анфиса. - У него ж своих угланов не бывало! А твой красавчик здесь совсем мало жил. У них же свое было общежитие. Специальное, с комендатурой. А когда женился...

Иван недовольно перебил жену: "Т-ты, м-мать, лишн-него н-не б-болтай!"

Никто е-его н-не ожинил! Т-так, п-просто гуляют!"

За завтраком прибежала дочь Анфисы, Юлия. С интересом оглядела Веронику и когда узнала, что та хочет сразу же уехать, затараторила, как будто сто лет знала ее: "Да ты что, Вероника, и не вздумай! Ты знаешь какой завод у нас строится?! Не завод - махина!"

У Вероники екнуло сердце: ведь, наверняка, он работает там. Но тут Анфиса, будто подслушав мысли Вероники, с явным довольством обронила:

"Нужон он комбинату! Знаю я, где Артур робит. Дом строит на Клестовке. Так что, девка, ты и вправду шагай на завод. А учиться можешь и вечерне. Че тебе молодой делать?! Замуж захочешь - тут же квартиру дадут!"

... Целый день Вероника бродила по городу. Новостройка, словно мощные волны бушующего океана захлестывала лощины и низины, поднималась на взгорье старинных длинных улиц. Бывшие села и поселки, окружавшие город высились сейчас новыми современными кварталами. В южной части города Веронику поразили, удивили необычные горы. На их серой, пористой поверхности не произрастало ни травинки, ни кустика, ни деревца. Ей пояснили, что это - солеотвалы - побочная продукция подземных выработок, поднятая на гора. «По широкому шоссе, с мостика полюбовавшись не-большой» живописной речушкой, попала Вероника и в так пригля-

нувший ей Белый город - Клестовку. Кругом кипела работа: на одной стороне - ковши экскаватора готовили котлованы под фундаменты будущих домов, на другой - краны-великаны уже укладывали стены-панели, вырисовывая контуры зданий, а в целом, уже просматривался двусторонний красивый проспект. Какой-то внутренний голос подсказывал Веронике, что она никогда не уедет из этого диковинного города, так гармонично соединившем в себе старину и современность. Глаза Вероники обращались к величию соборов и колоколни, и она мысленно переносилась на много веков назад, представляя себя мудрой, древней у молодых еще монолитных стен; видя же вознесшиеся ввысь современные высотные дома, слыша живой гул и грохот строительства, душа ее возвращалась в этот слаженный ритм жизни. Сначала она вздрагивала при виде каждого, идущего ей навстречу молодого человека; казалось, то походкой, то ростом - настоящий Артур, но потом успокоилась и даже мечтала о таком нечаянном столкновении. От своего задуманного плана Вероника не отказалась. Не без помощи Юлии она нашла новый адрес Артура. Вечером, больше часа кружила возле маленького кирпичного домика, не решаясь: ждать Артура или уйти, оставив гитару. Первой в домик вошла высокая худенькая девушка с модной стрижкой. В глаза Вероники бросилась сильно обтянутая тонким плащиком фигурка девушки, и догадка острой иголкой кольнула ее. Вероника, еле сдерживая рыдания, стала вытряхивать из гитары свою записку. Она крутила, трясла гитару и так и сяк - записка, как на грех, не выпадала. Тогда, набравшись смелости, Вероника шагнула к двери, поставила гитару и, чувствуя, как сердце забухало в груди, рванула от дома. Ночью она очнулась от страшного шума, стука, крика.

"Заявился, красавчик! Нечего по ночам шастать, не открою! Приходи утром, а не-то сейчас Иван выйдет!" - зло отвечала Анфиса"

Артур не унимался. Колотил чем-то тяжелым в ворота, кричал:

"Вероничка, я знаю, это ты! Дай слово сказать! Я - гад, я - подлец, но выйди ко мне!"

Уже одетая Вероника стояла у двери. Анфиса, разгневанная, возбужденная строго прикрикнула на нее: "И не вздумай! Он же не в себе! Гляньте-ка на него, люди добрые! Напировался! И кто знает, что у него в пьяной башке!"

Вероника и сама испугалась. Ей и очень хотелось увидеть его, обнять, и непонятный страх сковывал все тело. И еще обида. Страшная горечь. Перед ее глазами стояла беременная девушка. Вероника решительно разделась и легла. То ли спала, то ли нет, но только чуть забрезжили рассветом окна, в ворота снова забрякали. Анфиса уже молча открыла дверь. Как не хотела Вероника показывать своих слез, их будто прорвало! Она глядела на худого, чем-то очень изменившегося Артура, такого прежде желанного; жалела его

и чувствовала, понимала, что он - почти чужой. Артур взял ее руки в свои, ей стало еще больнее, еще обиднее. Давящий в груди комок мешал сказать хоть одно слово. Казалось, что-то содрогнулось и оборвалось где-то там, в самой глубине души. Вероника вырвала руки и, не сдерживая рыданий, выбежала из комнаты. Артур приходил еще и еще, но Вероника знала, что рядом, за углом соседнего дома стоит та девушка и ждет его. Это незримое, но чувственное видение горячим огнем прожигало грудь, вызывало раздражение и еще странную, непонятную ненависть к Артуру. Вероника старалась избегать встреч с ним, но любовная заноза, ("скабка" - так произносятся слово "заноза" на ее родине) еще крепко сидела в ней и мешала забыть его.

... В битком набитый автобус, везущий рабочих на Новый завод, Вероника втиснуться не сумела. Зато, вслед подошел "Газик", и все оставшиеся бросились залезать в него. Завод располагался в пятнадцати километрах от города, и всю дорогу молодые строители орали песни. Мимо проносились огромные пышные ели, с седыми космами понизу, высокие тонкоствольные, мачтовые сосны. Встречный ветер захлестывал, забивал молодые глотки, но сильный дружный хор побеждал его. Анфиса посоветовала Веронике обуть сапоги, ибо эта резиновая обувь на стройке необходима и, действительно, незаменимые сапоги пригодились.

Она затерялась среди огромных зданий будущих цехов, связанных перекинутыми воздушными галереями; среди непрерывного гула работающих агрегатов; лязга металла; фейерверка слепящей сварки; шума снующих туда-сюда мощных "КРАЗов" и "МАЗов", груженных чем-то тяжелым, чьи высокие, крутые колеса буксовали в размочаленной глине. Водители же вовсе не сердились, кричали Веронике что-то веселое, и она в ответ махала им рукой. Ей так нравилось вышагивать по вязкому глинозему, едва выдерживая сапоги, среди, казалось бы, этого строительного хаоса, текущего, на самом деле, по строго намеченному плану; ей нравилось чувствовать себя такой маленькой, но уже приобщенной к большому общему делу, где и она уже будет являться трудовой единицей стройки.

В отделе кадров Веронику встретили, что называется "с распростертыми объятиями". Предложили сразу две профессии. Выбери! Коль Вероника считала себя романтиком, то и выбрала геологию. На самом деле, ей предстояло помогать участковым маркшейдерам (в специальной литературе этот термин пишется сложнее, а именно: маркшредер): носить необходимый инструмент, специальную линейку и забивать в землю репера. Она с жадностью схватилась за настоящее дело. В группе работали одни девчата. С утра они уходили в так называемое "поле", которое, зачастую, оказывалось непроходимым лесом и требовалась сила и сноровка, чтобы произвести зачистку для разметки и разбивки. Благо, Вероника была

девушкой не из слабых. Быстро пролетела первая уральская осень. Артур будто исчез и, вспомнив его попытки сближения Вероника как-то загрустила. Спросить у Юлии она никак не могла. Лишь один раз за это время она видела Артура. Увидела, и сердце сжалось в горький комок. Артур был пьян. Он сидел прямо у дороги, на бордюре тротуара. Лена горячо что-то доказывала ему, уговаривала, потом пыталась поднять, сдернуть с бордюра, но Артур упрямо мотал опущенной головой, отталкивая ее. Вероника не решилась подойти к ним. Она не вытирала слезы и не сразу поняла, что идет сама не знает куда. Вероника не решилась, но решилась девушка Лена и, однажды, поджидая ее, недалеко от дома Анфисы стала просить о помощи, о влиянии на Артура. Глядя на ее заплаканное лицо, сначала Веронике стало жаль ее, но, потом, своя боль, своя любовь - ненависть, своя обида потоком хлынула в нее.

- Чем я могу тебе помочь? Чем повлиять? А обо мне ты совсем не мыслила? Ты понимаешь, что говоришь и с кем говоришь? - в слезах закричала Вероника. - Я, конечно, могу повлиять, но это влияние будет не в твою пользу. Надо было думать своей стриженной башкой любит он тебя или просто так. Ты что, думала возьмешь его своей любовью?

Ошарашенная Лена только промолвила: "Если б ты не приехала..."

Вероника схватила ее за руку: "Пошли со мной. Я покажу его письма, его слова. Он ждал меня."

Потом отпустила руку Лены и, повернувшись, медленно - медленно пошла к дому. Никогда она не чувствовала себя так прескверно. Не было злости на Лену, не было ненависти к Артуру - зато сама себе казалась такой противной, такой наивной, такой неудачной.

... Зима Веронике казалась бесконечной. Морозы доходили до сорока градусов, и дом Анфисы потрескивал, постреливал. Пришлось вспомнить про давно забытые валенки. Здесь их носили все! Вероника и смеялась, и умилялась, когда в кино или на дискотеку в черных, серых валенках топали не только девушки, но и молодые парни. Втайне она надеялась где-то здесь встретиться с Артуром, но, оказывается, он на такие мероприятия не ходил. Это было так непохоже на того, прежнего Артура, без которого в селе не обходился ни один клубный вечер. Непроходящая, сосущая боль еще жила в душе Вероники и она ловила себя на мысли, что он, все-таки, не чужой для нее, он ей очень нужен. Особенно, когда завывали по ночам снежные метели и бураны, еще острее были ее тоска и одиночество. С танцев Вероника старалась уйти, убежать незамеченной: не было Артура - не было никакого интереса. "Дома", в жарко - натопленной Анфисой боковушке, давала волю слезам. Она уже знала, что Артур не живет с Леной, хотя у той вот-вот должен ро-

диться ребенок. Иногда среди ночи, она просыпалась от пугающей мысли, что его нет в городе и ей хотелось тут же сорваться, бежать в общегитие. Но приходило утро, приходила ясность, приходила гордость.

На заводе, возвращаясь с "поля" в отдел, "на люди", она вслушивалась в разнообразные разговоры, сообщения. Больше всего говорили о "втором стволе", сравнительно недавно запущенном в производство.

Бегая по "полю" с реперами, Вероника знала, что там, внизу, на большой глубине работают люди, "рубят" комбайны, ездят специальные машины - "минки". Все это ей было непонятно и очень интересно. "Как там все происходит и выглядит?" Неотвязная мысль не стала давать покоя. Веронике захотелось туда, под землю! В шахту! Она ничего не говорила своим подружкам-коллегам, но когда узнала, что в шахту объявлен набор девушек, тут же помчалась к начальнику с просьбой о переводе. Проблем не возникло.

Вечером семейство Анфисы и Ивана весело и торжественно отметило вступление Вероники в уральские горняки. Радовался, восхищался Валера, молодой комбайнер подземных соляных морей, все время повторяя:

"Ну, молоток ты, Верка! Вот это по-нашему! Робить так робить, правда, Верка?"

Он сократил имя Вероники, за что жена Юлия, сидевшая за столом с полугодовалым сынишкой, подтыкивала его в бок:

"Называй, как следует! Не коверкай красивое имя!"

Вероника до слез была тронута неподдельной, искренней добротой и теплотой этих замечательных людей, их открытой гордостью за нее, чужую, приезжую девчонку.

И вот, Вероника, обмундированная в "спецовку", увешанная самоспасателем и шахтерским светильником спускается в шахту. Рядом с ней, ее новый начальник Федор Зотеевич. Темная клеть вначале набирает ход потихоньку, Федор Зотеевич включает у Вероники лампу - шахтерку, на что та легкомысленно бросает: "да я ни грамма не боюсь!", клеть, громяхая спускается быстрее и быстрее, у Вероники захватывает дыхание, и она открывает рот, как советовал ей новый наставник. Внизу, при выходе, у Вероники слегка закружилась голова и слабая тошнота подкатилась к горлу. Но она никак не подала виду. Свет ламп прорезал крошечную темноту.

- Федор Зотеевич! Да здесь, как в метро!

Вероника восхищенно глядела по сторонам. Каменные своды выработок блестели, переливались необычным разноцветьем. Федор Зотеевич вел ее близко-близко к стене, объясняя это безопасностью в шахте, рассказывал про пласты силвинита, карналлита. Вероника, задрав голову вверх, гадала, где же эти "заколы", которые так опасны.

- Федор Зотеевич! А что у нас под ногами? Песок, да?

Начальник улыбнулся: "Нет, будущая горнячка. Запомни, кроме соли здесь ничего нету. А этот песок называется штыбом."

Пришли в подземную электромеханическую мастерскую. Вероника удивилась, что в нарядной, как в кабинете, стояли столы, шкафы, стулья. Она присела, опять же, стараясь не выдать себя, что вокруг все как будто закачалось и поплыло. Опытный начальник по-доброму заметил:

"Ничего, матушка! Это бывает в первое время!"

Отныне предстояла Веронике техническая работа. Ни один комбайн в шахте не работает без мотора, а если правильно, электродвигателя. Веронике нужно было овладеть заменой старой, непригодной обмотки статора на новую. В мастерской уже работало несколько девушек. Одна из них заглянула в нарядную. Федор Зотеевич представил ее Веронике:

"Знакомьтесь, это девушка Катя. Она у нас варит!"

- Ой, как здорово! Здесь даже есть столовая! - обрадовалась Вероника.

Полноватая девушка Катя в брезентовой негнушейся "робе" хмуро, пренебрежительно бросила: "Ты че, не соображаешь! Я - сварщица!"

Затем бросила удивленный взгляд на добродушного, улыбающегося начальника, мол, "кого вы привели?!" Откуда было знать Веронике, что есть женщины, не хуже мужчин, владеющие такой специальностью. И эту Катю - сварщицу Федор Зотеевич очень нахваливал Веронике, хотя ей она показалась грубоватой и высокомерной.

"Видать, того требует такая работа!" - успокоила себя Вероника. Кроме ремонта электродвигателей в мастерской занимались сборкой, наладкой комбайнов, токарными, слесарными работами; в самом конце мастерской, в дальней выработке располагался кузнечный горн, где раскаляли, плавилы железо и делали необходимый инструмент.

Не сразу далась Веронике новая специальность. Она состояла, как бы, из двух частей: "грязной" и "чистой". Для того, чтобы убрать сгоревшую или поврежденную обмотку статора двигателя, или "движок", как его ласково называли девушки, ставили кран-балку в специальную печь обжига: иначе, застенелую обмотку никак не достать. Когда лак начинал выгорать, все пространство заполнялось едким, сизым дымом. Затем девушки, находившиеся все это время подальше от печи, в запертой нарядной, должны были выключить ее. Прикрыв рукавицей рот - нос, кто-то из них мчался к печи. Вентиляция работала исправно и когда этот смрад вытягивался, рассеивался, девушки выкатывали из печи тележку с "движками", и каждая забирала свой. На низких железных тумбах начи-

налась "грязная" часть работы. Девушки облачались в большие брезентовые фартуки, сняв каски, завязывали тесемки "лепестка" на голове, дабы защитить органы дыхания от пыли, грязи, медной окалины выгоревшей обмотки и, надев рукавицы, ловко орудовали пассатижами и кусачками. Освобожденный статор продувался сжатым воздухом из шланга, и уже чистый, той же кран - балкой, переносился в "нишу", на рабочий стол. "Нишей" называлась небольшая выработка в сплошной стене мастерской. Начиналась "чистая" часть работы, которая Веронике очень нравилась, хоть и доставляла много волнений и переживаний. Прежде чем уложить в пазы статора новую обмотку, нужно было сделать необходимые расчеты, а именно: определить диаметр провода, его количество в секции катушки, количество катушек и, самое главное, собрать правильную схему обмотки. Если с первыми параметрами Вероника справлялась легко, то вот со схемой пришлось повозиться. Глядя на часы, висящие на гладкой, каменной стене "ниши", она просила время хоть на немного остановиться, так как не успевала собрать схему. Эта неподдающаяся схема снилась ей по ночам. Она самою первую бежала на спуск в шахту, чтобы скорее сесть за рабочий стол и найти причину: почему "не пошел движок?". Перепроверив схему, убедившись, что все "концы и начала" соединены верно, она вставляла стальной, проверочный шарик внутрь статора, включала рубильник - шарик не двигался, а должен был "бегать", крутиться. Вероника, уже чуть не плача, вновь раскручивала все пайки и еще раз, тщательнее искала причину. Хуже всего было, когда этот "движок" был очень нужен, его ждали. Ребята - комбайнеры приходили в "нишу", стояли над душой - у них "горел" план. Они старались хоть чем-то помочь: выстругивали из березовых чурок клинышки для пазов статора. Наконец, с помощью более опытных работников, причина была найдена, и она заключалась уже не в схеме, а в межвитковом сопротивлении проводников. Шарик "забегал" - "движок" заработал! Мужчины-электрики пропитывали его лаком, ставили в печь на просушку, а затем собирали полностью. Комбайн был спасен, но еще больше радовались работяги-шахтеры и с еще большим воодушевлением "кидались догонять" план. После таких, вот, нервных потрясений Вероника уходила на транспортный штрек, главную "дорогу" в шахте. Выключив лампу, стояла в полном черном мраке, как, наверное, в преисподней, стояла в полном одиночестве. Она не боялась даже "белой бабы", которой здесь всех пугали, зная, что это просто шутовская выдумка, просто шахтерский миф. Вероника стояла и думала: вот она, живая ничтожная точка в рукотворном подземном соленом царстве; над ее головой сотни метров толщи земли, по поверхности которой ходят люди, едут машины, растет трава и лес - кипит жизнь! В какой-то момент ей становилось не по себе и она, увязая

в соленом, сером штыбу, торопилась в освещенное пространство мастерской, где работали, говорили, смеялись люди. Постепенно приходил к Веронике опыт, и уже все реже и реже случались неполадки в работе. Лишь однажды, после того, как опять "движок не пошел", она почти отчаялась и стоя в мертвенно-черном штреке подумала: "а может, перейти на конвейер; там и делов всего-то - бери больше, кидай дальше, раз мозгов не хватает!". В эти трудные минуты она думала об Артуре, где он, что с ним. Вероника начинала винить себя в бессердечии и равнодушии. Но ведь, как - раз, равнодушия и не бывало! Она не забывала Артура ни на миг!

Спасал дружный, рабочий коллектив. Парни и девчата вместе проводили и выходные дни, и праздники. Вместе с энергичным, молодым душой начальником мастерской, они сдавали нормы Г.Т.О. На огромном стадионе прыгали, бегали, кидали-метали ручную гранату, а после официального мероприятия всей толпой заваливались к кому-нибудь в гости. В коллективе уже были молодые мамыши - папаши, имеющие только что сданные "под ключ" квартиры и именно там продолжалось веселье.

Как-то, Федор Зотеевич вызвал Веронику к себе:

"Вот что, молодая горнячка! Ты у нас боевая, инициативная. Сколько ты будешь жить у стариков? Разве не скучно? Давай-ка, переходи в общежитие. Там - молодежь, настоящая жизнь..."

Вероника давно подумывала об этом. Но как сказать Анфисе и Ивану?

В один из дней, возвращаясь с работы, уставшая, озабоченная, она уснула прямо в автобусе. Первое время с ней это происходило часто: сказывалось постоянное недосыпание и специфические условия; все-таки, шахта. Она резко вздрогнула оттого, что ее голову кто-то старался уложить на свое плечо. Сладкий сон улетучился, открыв глаза, она увидела Артура. Он сидел рядом и вид у него был какой-то потерянный. Вероника безумно обрадовалась. Там, в коротком сне, она видела его, хотела посоветоваться - поговорить с ним. А он, возьми да и перелети из сна в явь! Артур попросил ее выйти вместе с ним. В небольшом, продуваемом всеми ветрами скверике, они сели на скамейку.

Артур промолвил: "Вероничка, я уезжаю. Поеду домой. Мне плохо тут".

У Вероники защемило в груди. Твердый спазм сдавил горло. Она с трудом спросила: "А как же она? Как ребенок?"

А в душе самой бушевала досада: о каком ребенке она спрашивает, зачем? Ей совсем не нужны эти чужие люди! Ведь он уезжает!

- Мы расстались давно, - сказал Артур, - да и не жили толком. Что ж, буду платить алименты. Но ты, ты, Вероничка, неужели, ты, не



можешь понять, что я не могу, не хочу жить с ней! Прости, я подлец, но я даже не хочу видеть этого ребенка! -

Артур закричал, в его глазах вспыхнули слезы. Не выдержала и Вероника. Обняв его, она просила: "Только не уезжай, только не уезжай! Не хочешь жить с ней, не живи, я даже рада, я признаюсь тебе, но не уезжай, Артур! Ты же мой друг, мой милый, любимый! Мы здесь с тобой одни!"

Вероника плакала и не понимала, как она может говорить такие вещи? Куда девалась нанесенная обида? Где же ее гордость? А в душе дотаивал последний холодный кусочек горечи и сама она ослабилась, распустилась и тонула сейчас в необъяснимой неге и покое. Артур обнял ее. На прижатых щеках смешались их слезы. И больше ничего не нужно было на белом свете! Только бы сидеть, прижавшись друг к другу, только бы обнимать друг друга. Улетели, растворились мучившие раньше вопросы, сомнения, тревоги. Было так легко и спокойно! И надо-то было - только одно объятие на двоих!

К гостеприимному дому Анфисы они подошли вместе. С высокого угора улицы взглянули на город. Вырисовывалась резко - контрастная картина: высотные, каменные, белые здания теснили, "наступали на пятки" приземистым, черным, будто закопченным, срубленным из лиственницы, уличным домам. Менялась картина и в природе: за темно-синим гребнем, окружавшим город непрерывной волнистой линией тайги уже собирались молодые, весенние ветра; уже витал в воздухе бодрящий, обнадеживающий запах талого снега; уже совсем близко была новая весна. Первая совместная весна Артура и Вероники.



## ИЗ ЦИКЛА «МОИ ОТПУСКА»

### глава I.

### Сломавшаяся балеринка

Один из последних моих отпусков пришелся на зимний месяц. И это не случайно. Я так давно не бывала на своей малой родине именно зимою, и так соскучилась по некрепкому морозцу, в отличие от ядерных уральских, по белым шапкам сугробов у родных хат, по заснеженным далям-равнинам, резко обрывающихся сумрачным, постанывающим сосняком, что часто, среди ночи просыпалась от сосущей внутри тоски, стараясь все запомнить и сохранить до утра, а там, надо что-то делать, что-то решать. . .

И вот я еду от Москвы в насквозь промерзшем, неотапливаемом вагоне старого, по всему видать, давно не отремонтированного украинского поезда, дребезжащего и ухающего всеми своими тяжелыми избитыми внутренностями. Несмотря на то, что целую ночь буду мерзнуть и стыть, я нахожусь в приподнятом настроении. Слава богу, я еду, и совсем скоро, уже утром, я буду в своей стране детства. Напротив меня устроилось три молодых мужика, едущих со столичных заработков домой. Двое пьют водку, им жарко, а у меня от холода заныли ноги. Я укутала их одеялом, третий мужчина, оказавшийся моим земляком, засмеявшись, предложил выпить. Сам он не пил: "никак не можно, моя царица. Душа у меня будет тосковать еще целых полгода". Как я позже поняла, Виктор, так его звали, закодировался и теперь довольствовался только кофе. Очень крепким и в больших количествах. Он постоянно окликал злую, взлохмаченную проводницу - хохлушку, упорно называя ее "царицей" и просил кофе. Вновь и вновь. Та никак не реагировала на ласковое обращение, а редкие фразы выдавала только по-украински, как будто совершенно не знала русских слов, тем самым подчеркивая, что поезд идет "на окраину", в нем должны ехать хохлы, а не эти подсевшие русские, "кацапы", которые выпрыгнут при первой таможне.

Выпившие мужики "за глаза" всячески обзывали проводницу. А Виктор, подмигнув мне, ехидно улыбался, опять кликая "царицу". Она расплескав, со стуком, резко ставила чашку кофе ему на стол и долго не могла перевести рубли в гривны. Два его друга затихали на время, припрятав бутылку, а затем плюнув вслед уходящей, худосочной и высокомерной не от большого ума и образования "царице", демонстративно ставили бутылку на стол.

Мне стало грустно.

Что-то изменилось, произошло в этом мире. Еще совсем недавно я ездила в этих же самых "жмеринских", "Хмельницких" - украинских поездах и не чувствовала холода ни в самом вагоне, ни в

душах разных людей-пассажиров, волею судьбы едущих вместе. Наоборот, краткие знакомства с новыми людьми располагали к интересной беседе, к искренним разговорам-исповедям, к выслушиванию всяких пожеланий и советов и, когда новому знакомцу надо было уже выходить на своей станции - на душе становилось пусто и тоскливо. Ведь, бывает, близкий так тебя не выслушает, не поделится своим горем - радостью, как случайный твой попутчик, который навряд ли тебе встретится снова в этой жизни.

... Хоть Виктор и говорил о "тоскующей полгода душе", он не унывал и не уступал повеселевшим своим друзьям в смешных рассказах и случаях их столичной жизни.

Иван с Ильей, эти самые его друзья, сбросили свои одеяла и, жалея меня, укутали "с ног до головы". И все-таки уговорили "погорячить душу". Я выпила водки и через минуту-другую теплая волна обволокла меня, и стылая атмосфера вагона уже не казалась такой чужой и безнадежной. После второй стопочки в моих все прощающих глазах преобразилась даже кикимора, проводница - "царица". Она сырым веником развозила купейную грязь и на крики "почему совсем не топят?" презрительно обмеривала всех своим "царицынским" взглядом.

На какой-то станции в вагон вбежали продавцы сувениров. Ко мне подседа толстая тетка и давай уговаривать купить шкатулку.

Шкатулка, и впрямь, была симпатичная. Отделана голубым бархатом, а когда ее открываешь, внутри, под музыку, танцевала изящная балеринка

Мужики засмеялись: "Ну, вот, теперь будем пить под музыку!" В нашем купе как-то сразу потеплело и повеселело. Открытая шкатулка стояла на столике, звучала незатейливая мелодия, балеринка танцевала. Спать совсем расхотелось. За окном пролетала ночь, со знакомыми с детства названиями станций; раньше мы часто ездили в Москву, ведь ехать-то всего восемь часов.

На наш довольно громкий разговор и смех раздались недовольные голоса пассажиров соседнего купе. Бедные, они накидали на себя все тряпки и даже сволокли матрасы с верхних полок, чтобы как-то угреться и скоротать свою поездку. Нет, иногда водка бывает не только врагом!

Виктор вполголоса рассказывал о московской окраине, почти трущобе, где стоял их вагончик, в котором жили они, работяги. О молодых девчонках, едва-едва, окончивших пять-шесть классов и уже бродящих в поисках легкого заработка и быстрой любви. Иван и Илья осуждали "этих девок" и не хотели слышать никаких оправдательных доводов, а я, с Виктором, перво-наперво осуждала и винила социальную среду, ужасаясь и не понимая, как все такое можно было допустить?! Ведь молодые ребята - это будущее, гарант нашей обеспеченной страны.

"Хорош "гарант"! Окончила всего три класса и один коридор -

зато заезжему мужику при деньгах, который вдали от своей бабы, она такое преподнесет! Институты кончать не надо!" - В Иване и Илье опять вспыхивало возмущение и гнев. Я же жалела несчастных девчонок, скорее всего "холодных и голодных", потому и идущих на эту унизительную жизнь. Распластав себя по кускам, раздавив и распродав, растоптав свои еще неуспевшие зародиться женские чувства, они навряд ли найдут и испытают истинную любовь, а не этот скоропалительный секс, облаченный в красивое словосочетание "займемся любовью". Да разве можно заняться любовью?! И кто только придумал это выражение? Наверное, ни по уму, ни по чувству он недалеко ушел от этих московских малолетних "жриц любви".

... В своих горячих спорах мы и не заметили, что музыка затихла. Изящная балеринка застыла в неудобной позе с поднятой ножкой.

"Отыграла шарманка, - грустно произнес Виктор. - Вот также и жизнь наша когда-то возьмет и замолкнет. Обманули тебя, Мариш! Кругом один обман и все кругом вруны!" Иван и Илья ушли курить в тамбур. За окном несущегося поезда уже светало. Виктор, не отрывая взгляда, смотрел на меня. Красивые, бездонно-карие, грустные глаза. Виктор уже не звал проводницу, готовился ко встрече со своей "настоящей царицей". Женой.

- Мариш! - обратился он ко мне. - ты знаешь, она у меня, действительно, барыня-царица! Вот я сейчас приеду, ты что думаешь, она меня погладит - пожалеет? Если бы ...Нет, она сразу в карман - сколько привез?! Думаешь, будет довольна? Куда там. Мало!

Я тут, в этой вонючей Москве, горбатюсь, валяюсь, как бомж, на нарах в вагончике, а она ... Нет, она ничего не хочет понимать и слушать.

Вот я, сейчас, Мариш не пью. Приеду - завалит делами. Без меня ничего не делалось. Даже поросенок корыто сгрыз! Значит, что?

Хреново кормила! - Виктор немного помолчал, привалившись к стенке купе и грустно закончил - И, вот, за этот месяц, что буду дома, моя царица столько тоски нагонит, что, не дай бог, раньше запить! Вот, так-то, Мариш!

Мне хотелось успокоить его, поддержать; я что-то начала говорить о семье, о долге, о совместнопрожитых годах, на что Виктор кивнул головой: "Вот то-то и оно! Дочку учить надо! Нагляделся я на таких вот "дочек" недоученных, всеми брошенных: и отцом, и матерью, и родным обществом."

Пришедшие Иван с Ильей засобирались, скоро им выходить. Моя остановка - станция была следующей, а Виктор ехал чуть дальше. И сразу в купе будто похолодало. Стало как-то тревожно и пустынно.

Виктор взял со столика шкатулку с балеринкой, покрутил ее в руках и опять своим пристальным, молчаливым, но таким многозначительным взглядом ввел меня в непонятное смущение и какую-то неловкость. Поезд, "кланяющийся почти каждому столбу", теперь

разогнался не на шутку и все приближал и приближал мою станцию. Виктор смотрел на меня и я, вдруг, всем сердцем поняла, почувствовала, что нам, совершенно чужим людям, случайным попутчикам, жалко, жалко этой холодной, так быстро пролетевшей ночи с ее горячительной водочкой и горячим кофе, с ее громогласными Иваном и Ильей, братьями Виктора по борьбе за выживание в новой капиталистической формации, даже, с ее недоброй, неприветливой "царицей" - проводницей, которая, бедная, того не зная, уже является последствием, "продуктом" этого нового экономического строя.

Мою душу охватила щемящая тоска - печаль, когда я, взглянув на Виктора, увидела на заскувавшем лице его потухшие глаза.

Поезд стоял всего две минуты.

И всего две минуты Виктор держал в своих руках мои ладони. Явно обозначенная, связующая ниточка взаимопонимания и очевидного интереса друг к другу была прервана в самом начале своего развития. Хотя, ведь все в нашей власти, стоило лишь захотеть, очень сильно захотеть и, тогда, возможно, изменилась бы, ситуация и, даже, сама жизнь. Ведь мы живем не в других мирах, а почти рядом! Но, слишком велика боязнь перемен; нарушение своих устоявшихся привычек и уклада, и мы будем жить дальше, пусть мучаясь и страдая, но ничего не меняя.

Я осталась на родном перроне, одинокая и какая-то потерянная, в непривычном для этих мест, люто-морозном утре. Все в этой жизни изменилось и, даже, казалось, никогда не меняющаяся погода моих краев, моего детства. Снега было очень мало. Стылая земля чернела около вокзала. Наверное, от бесснежья было так жестко - холодно, что даже деревенели губы.

Я глядела в след уходящему украинскому "экспрессу", и слезы стыли на моих щеках. Но что это? Откуда?

Я глянула вниз, на мою походную, клетчатую, "челноковую" сумку. Из нее лилась тихая, нежная, ставшая такой дорогой, мелодия. Милая игрушечная балеринка! Ты решила согреть меня в этот неуютный рассветный час, пожалеть и, быть может, развеселить мою замерзающую душу.

Я достала шкатулку, прижала к груди. Балеринка не боялась холода. Она танцевала.



## Двоюродный гом

**В** ожидании нужного мне автобуса до родной моей стороны, я сидела в небольшом пустом районе вокзальчике. Изредка распахивались двери, впуская вовнутрь вместе со стыlostью зимней ночи какого-нибудь такого же незадачливого предрассветного пассажира. Было тихо, спокойно вокруг. Отчего же душу мою щемила и мучила какая-то неудовлетворенность, незавершенность, какая-то "нехватка" чего-то. Душа моя не хотела "сидеть сиднем" в этом вокзале; она еще помнила, чувствовала ту возвышенную траекторию своего счастливого полета к чему-то очень родственному, находящемуся почти-что рядом. Душа моя рвалась в этом направлении, будто домашняя лошадь, управляемая возницей, сначала уныло бредущая по бесконечной, казалось, дороге, но, затем, учуявшая неповторимые родимые запахи, лихо рванувшая вперед, к дому, к теплоте своему сараю, так что, мужик ли, баба ли могли теперь не понукать ее, а спокойно выпустить вожжи из рук своих, зная, что лошадка с закрытыми глазами найдет дорожку сама.

"Ах, душа моя, лошадь-труженица, Мне тебя не обмануть! Не поднатуриться!"

...Совсем недалеко, в полутора километра от этого вокзальчика находилось некогда приветливое и уютное жилище моей родной последней тетушки. Теть Мани. В ее дом я бежала, как в родной, зная, что когда бы не заявила их "Маришка-беда", ее всегда встретят с улыбкой, пусть иногда подтрунивая необидчиво-шутливо над ее манерой, характером, поведением. Чувствовалось, что в доме этом я была желанна, интересна и ожидаема. "Бедой" прозвал меня дядь Вася, муж моей тетушки. По профессии сапожник, он полностью соответствовал укоренившемуся в русском народе представлению этой категории работников. Трезвый дядь Вася - явление бывало весьма и весьма редкое. И в те немногие дни или часы он, бедный, выглядел таким несчастным. Дядь Вася ни с кем не разговаривал; целый день ковырялся с чужими туфлями-обносками, дырявыми сапогами; смолил варом дратву, отчего в крохотной кухоньке, где он сапожничал, стоял особый "профессиональный аромат", который, впрочем, мне очень нравился, да "дул и дул чай", как говорила теть Маня. Но долго быть несчастным дядь Вася не хотел, и вот, распахивалась дверь и, задом - наперед, вваливался он, теперь "самый счастливый".

В доме сразу начиналось веселье, его неиссякаемое, неизвестно откуда взявшееся, балагурство, его шутки-прибаутки и смех, смех!

"Ох, Маришка-беда, я любил тебя всегда!" - напевал он, обнимая меня и в ответ на мой вопрос, почему "Беда", отвечал, опять же,

шуткой, да еще так складно: "А потому, что родилась ты мне на горе, на беду! ты и счастье, и несчастье, где другую я найду?!" "Вот и попробуй, поговори с ним!" - улыбалась спокойная, тоже с юмором его супружница, как он ее называл, моя тетушка Маня.

А проживи-ка тут без юмора?!

Четверо сынов, самых разных характеров да впридачу "характерный" муж-пьяница. А так хотелось дочку! Последний "малай" - Гейка - Геннадий, будучи совсем маленьким, слышав все разговоры взрослых о девочке, поняв, что, вообще-то, ждали не его, однажды предложил матери:

"А мы давайте моего петушка привяжем, и я стану девочкой!"

Вот этот-то Гейка и потратил же мне нервы, когда я целый девятый класс проживала у них. Он был моложе меня на два года. Чувствуя себя хозяином, он, как хозяин, не допускал меня на свою территорию.

Мне отвели маленький закуток-чуланчик в большом, выстроенном дядь Васей почти "в одни руки" доме. Гейка всячески выталкивал меня из своего жилища: кидался с печки просушивающимися там валенками, обливал холодной водой, а однажды, выволок мою кровать в сенцы и вывалял в грязи все постельное белье. Не знаю, чем я ему не угодила, но он меня просто не переносил, обзывая "ведьмой". Для пьяницы-отца его ж, я была просто красавицей. Да, конечно же, это была ревность! Самая обыкновенная ревность. Наверняка! Почему же я тогда не осознавала этого, мучилась в догадках его ужасного отношения ко мне?!

Старший брат Валентин учился в областном институте, и с ним мы общались мало. Два других средних двоюродных брата, Алексей и Иван, Лешка, Ванька меня любили и жалели. Я же, девочка, была как диковинный цветок, странный, непонятный в жестком, колючем кустарнике! Я тосковала по своей семье, по своим родным сестренкам и, конечно, по мамке. Но что поделаешь, в нашем селе не было школы-десятилетки, а мне хотелось учиться дальше.

Осенью приехал отец, привез три мешка картошки: "Я, доча, думаю, что должно хватить!". Смеялись все, улыбался отец и только Гейка с печки презрительно хихикал: "Ничего себе, обжора! Неужели все три мешка сожрешь?" Но эту картошку ела вся теткина семья, а от привезенного отцом, уже освежеванного, затем зажаренного двоюродными братьями гусака, мне почти ничего не досталось. Но я не обижалась! Что я, не ела сроду гусятины? А вот Гейка пусть попробует такую вкуснятину. Как-то, приехали две мои сестрички, их вызвали в район на математическую олимпиаду. Я несказанно была рада, а тетя Маня посадила нас всех трех за стол и попросила:

"Ну-ка, сестры Федоровы спойте-ка нам!"

И мы запели. Помню, "Лебединую верность" Мартынова. Так случилось, что доживать свои последние годы тетя Мане пришлось с

Иваном, Ванькой, по прозвищу "Ван Гог". Уж не знаю, откуда в захудалой глубинке слышали про величайшего художника, настоящего Ван Гога, но попасть бы нашему Ваньке в нужное русло великого искусства, обрести бы помощь и поддержку честных профессионалов, возможно, ряды самобытных художников пополнились бы.

У нашего Ваньки-"Ван Гога" был уникальнейший талант: он прямо с ходу, с лету мог нарисовать любой портрет; за считанные минуты выжечь на дощечке такую картинку-натюрморт, что окружающие диву давались. Но, к сожалению, талант брата остался невостребованным, дойдя лишь до первых вершин признания. Ему, мягкому и доброму по натуре, не хватило жесткой воли, стойкости характера пробиться, приблизиться к Олимпу живописи. Да и неудачи в личной жизни сыграли свою роковую роль; будучи однолюбом, он не смог никем заменить ушедшую от него жену с любимой дочерью. Бедный наш художник, несостоявшийся Ван Гог! Весь дом был увешан портретами его дочери Оксаны!

Приезжая в отпуска, я неизменно бежала по шпалам, далеко вокруг распространяющим так любимый мною запах креозота, коим они были пропитаны, к этому заветному, родственному дому. Благо, Гейки-Геннадия там давно не было. Вместе с семьей он обитал где-то на Псковщине. "Кузены" Валентин и Алексей тоже были вне дома, и меня встречала теперь лишь одна тетя Маня с неудачником Ванькой. Возбужденная, разгоряченная я бросалась попить воды, но Ванька "притормаживал" меня, обнимал:

"Подожди, сеструха! Зачем глотать пустую водичку?"

Читала ведь, что сам господь-бог превратил ее в вино!

Так что, угощать я буду тебя вином, хотя я и не господь-бог!"

Голос у Ивана такой мягкий, прямо бархатный, прищуренные глаза лучатся добротой и светом. Ах, эти милые встречи, добрые шутки... не знала я, что это было началом большой беды. Отвергая все другие истины, разуверившись во всем, мой брат Ванька признавал теперь только одну истину: которая в вине! Она скрашивала ему несложившуюся жизнь, смиряла с настоящей. Дядь Вася, будучи горьким пьяницей, но выполнивший законные для мужчины три великих дела: выстроивший собственными руками дом, родивший, аж, четыре сына, посадивший не одно дерево, а вырастивший целый яблоневый сад, к тому времени отошел в иной, хочется надеяться, лучший мир. Перед смертью, рассказывала тетя Маня, он все звал меня, свою "Беду", жившую уже далеко-далеко. Она глубоко переживала за Ваньку, втянувшегося в "прекрасно-призрачный мир веселого Бахуса", страшно боялась повторения судьбы его отца, своего мужа, моего дядь Васи.

Но, ведь "не родит свинья бобра-родит поросенка!"

Так что, от генов дорогого родителя никуда не убежать, никуда не скрыться! Только вот беда! Все нехорошие "пьяные" гены дядь Васи сконцентрировались только в одном из четырех сынов и, именно, в

Ваньке. Остальным двоюродным запахом спиртного был ненавистен. В свои редкие теперь приезды я не ругала-уговаривала, увещевала брата взглянуть на мир ясными глазами, на что он мне, неизменно, отвечал:

"Маришка, дорогая! Какой мир?! Когда я трезв - хоть в петлю, а выпью - и, на тебе, мир сразу, действительно ясен и прекрасен!"

Я жалела его до глубины души и плакала от бессилия.

Четыре года назад в отпуск я приехала не одна. Поезд пришел вот также, под утро. Стоял декабрь, но была оттепель и страшный гололед. Светила яркая луна. Такое полнолуние! В полнеба! Мой мужчина, Георгий, которого я, конечно, называла Гошей (а в подсолнечии, почему-то, с самого начала звучало, насмехалось, рифмовалось: "Гоша-Галоша"), на которого, признаться, я не возлагала особых надежд на построение вдругорядь личной жизни, изъявил желание поехать со мной в новые места, иные края, посмотреть мою малую родину.

Да и я решила "показать" его своим немногочисленным оставшимся родственникам. Я предложила добежать до моей любимой тетки, а не куковать до утра на вокзале. Гоша согласился, хотя на быструю ходьбу не был настроен. Он, вообще, был медлительный, несуетливый товарищ, немного полноватый, но при этом не очень теряющий во внешнем облике. Мы пошли скорым шагом, луна-путчица помогала преодолевать нам совсем скользкие места дороги. Когда я подвела своего мужчину-гостя к заветному дому, луна, вдруг, скрылась. Небо моментально затянуло свинцовыми тучами, и гостеприимный, светлый, когда-то, дом предстал перед нами мрачным и нелюдным. Я долго колотилась в перекошенную дверь веранды, замечая при этом, как у моего друга Георгия лицо тоже как бы перекашивается от недоумения и недовольства. Я и сама растерялась, не ожидая такого поворота событий. Свет в доме так и не загорелся, но, дверь, все-таки, открылась. Передо мной стоял брат Ванька, заспанный, обросший, всклокоченный, в каком-то немислимом "зипуне" и грязных, в золе и саже, огромных валенках. Чувствовалось, что он еще не проспался. Я взглянула на Гошу и внутренне, даже с каким-то удовлетворением рассмеялась, видя, что "мой мужик" просто обалдел и испугался.

"Что, чистый и стерильный, успешный господин, заехавший далеко, Георгий-георгин! Вы весьма огорчены такой картиной? Вы недовольны такой встречей? И, конечно, сейчас презираете меня за "таких родственничков..."

Ванька еле узнал меня и, кажется, вовсе не понял с кем я и зачем "он".

Прошли в темный дом. Оказалось, электричество "обрезали" за неуплату. Ванька метался в темноте, шарил по столу в поисках спичек, чтобы зажечь свечу. Но лучше бы он этого не делал! Даже при уютном освещении свечи в комнате царил уют, нездоровье и хо-

лод. Георгий брезгливо отодвинул какие-то тряпки на лавке, присел в уголок и, казалось, перестал дышать от обиды на меня: "куда я его притащила?!" но это была только присказка, сказка-вперед! Мой брат Ванька пытался растопить грубку, так как русская печка была не топлена уже несколько дней и в помещении было холодней, чем на улице. Я спросила о тетя Мане. Ванька провел меня в мрачную "залу", в тот самый закуток-чулан, где жила у них я девять школьных месяцев. На той же кровати, укрытая непонятно чем, лежала моя тетушка, смертельно больная. Со свечкой в руке, я присела на краешек кровати, отвернула с лица ее старый засаленный полушалок, открыв худое, неузнаваемое лицо, с жесткими, слипшимися седыми космами волос по впалым щекам. Теть Маня испуганно, долго глядела на меня, не узнавая. Затем, в сознании ее, видать, прояснилось, и она заплакала:

"Мариша, это ж ты? Неужели ты приехала? А я думала уже, помру и тебя не увижу."

- Ну, как же, как же, моя дорогая тетушка! Я летела к тебе, как на крыльях! Как я могла не прийти к тебе? Вот завтра утречком ты станешь, и мы с тобой долго-долго будем разговаривать.

-Нет, Мариночка, "беда" ты наша, - вдруг, серьезно так сказала тетя Маня, - все мои ушли: и подруги, и сестры, и мужик. Видать, пришла моя очередь, и за мной пришла безглазая.

Я гладила ее по неузнаваемому лицу, тонким, высохшим рукам и глотала, сглатывала слезы, беспрестанно катившиеся по моим щекам.

- Ну, чего ты реवेशь, дурочка? Не реви, не голоси! Я, слава богу, пожила уже -она постаралась дотянуться рукой до моей склоненной головы, но рука повисла, как плеть.

- Теть Маня! Ты совсем исхудала! Что, Ванька тебя совсем не кормит?

- Что ты, что ты, Марина! Он сам ничего не съест - все мне, все мне! Ты же знаешь, ему только выпивка нужна, а еду он в рот не берет!-горячо зашептала тетя Маня, даже на смертном одре защищая и жалея своего непутевого сына.

Я позвала, крикнула Ваньку с Гошей. Наощупь, привычно ориентируясь в темноте, пришел один брат Ванька.

- Сейчас бредить начнет!-сказал он, - всех-всех вспомнит и живых, и мертвых.

Мне стало жутковато, и в этот момент тетя Маня, неожиданно, окликнула:

"Маришка, а ты знаешь, дядь Вася крепко тебя ждал, даже плакал, когда умирал. Кричит, бывало, "Мань, хоть б за ручку "беду" свою подержать!"

А меня все ругал, все обзывал. Мариночка, ну какая я немецкая подстилка?! Я ведь даже ни разу своему Ваське не изменила. Хотя так любила, так любила Петечку-Петра! Только его одного! Не Вась-

ку-мучителя своего, пьяницу горького, сволочь головастую, а только его! -тетя Маня, вдруг, громко и гневно закричала, как никогда не кричала в прошлой семейной жизни, удивляя меня воспоминанием о своей любви,- Мариш! А может мы увидимся с ним там?! Может верну я Петечку?!

У меня от таких речей умирающей тетки холодок побежал по спине, а она, все же, нащупав мою руку, уже тихо, устало, закончила:

"Я ведь Ваське своему полностью за все отплатила, господь-бог знает и видит все. Все грехи мои смыты слезами за всю мою горемычную жизнь.

Я поцеловала тетя Маню в прохладную щеку. Никому бы не пожелала я такой судьбы.

...До войны она окончила медкурсы "на акушерку", но большого опыта в этой замечательной мирной профессии приобрести не успела - началась война. Во время оккупации ее заставили работать "перевязочной сестрой". Приходилось не только перевязывать, но и лечить-выхаживать в эти ужасные два года молодых завоевателей-"фрицев".

"А куда было деваться?-рассказывала она мне, - в Германию я не поехала, а под дулом ружья, что хочешь сделаешь!"

- Да, как ты могла?!- кричала я ей, патристически-воспитанная и не стоявшая, слава богу, "под дулом".

- Ты ведь, тетя Маня, могла уйти к партизанам в лес, как твой дядя Вася!

Тетя Маня сразу сникала, опуская голову, смахивая слезинки с глаз, а мне, почему-то, становилось ужасно стыдно, гадко, противно. Когда немцы покидали поселок, тетя Маню тоже хотели захватить с собой, но она схоронилась. Потом ей рассказывали, что главный немецкий доктор сказал:

"Данке, данке шон, Мари! Но, он ест жидовка!"

Молодая "Мари", действительно, была похожа на еврейку. Черноволосая и черноглазая, с "правильным" продолговатым носиком, Маня выделялась из многочисленной славянской, русоволосой и сероглазой семьи. В самом конце войны повстречалась она с дядя Васей, наконец-то, выкарабканным из партизанских лесов и болот. До свадьбы он ничего не знал о работе тетки "при немцах". Удивительно, но людская молва не успела тогда достигнуть его ушей, и молодой, бравый, большеголовый партизан с голубыми, как незапятнанное мутными облаками небо глазами, и с такой же незапятнанной боевой биографией, счастливо вел под руку, через весь поселок, черноглазую, волосы- "волной", статную девушку Маню.

Уже в самом начале счастье молодых было омрачено. "Акушерку Мари" за содеяние немецким раненым хотели судить; вот, тут-то, и спасло ее боевое прошлое мужа, перекрывшее ее "преступление" значимостью, высокой идейностью его партизанского подвига.

А потом в молодой советской семье пошли укоры! Несмотря на то, что один за другим появлялись сыновья, будто бы тетя Маня хотела замолить свой невольный грех, задобрить, успокоить мужа, дядя Вася относился к ней все хуже и хуже. Из семьи он не уходил, но и не замечал ее, живя в своем, отдельном мире. Все чаще и чаще возвращался он "навеселе" из сапожной мастерской, где числился обувных дел мастером. На дому мог отремонтировать самую уже ничемную "обутку", но денег не брал. Он презирал "продажный металл", как выражался сам в частые минуты его счастливого раслабления, которое получал в оплату за счет "питьевой природы", а именно, самого любого спиртного. Тетя Маня ни в чем не перечила ему и я чувствовала, что в этом доме соседствуют, сосуществуют два мира, не совсем враждебных, но и не близких до самой сердцевины. И тем не менее, этот дом, благодаря мудрости его хозяйки, моей незабвенной теть Мани был для меня уютным и дорогим.

...Ванька обнял меня за плечи, повел обратно в "прихожую", где затаился мой Гоша-Галоша. Сейчас такая рифма ему очень соответствовала, ибо от горделивого Георгия-георгина мало чего осталось. Он сидел ни жив, ни мертв, скужившись от холода - грубку "гостеприимный" Ванька так и не сумел разжечь. Когда я сказала, что надо трогать в обратный путь, чтобы, все-таки "успеть на автобус" уехать в село, "заморский гость Гоша" тут же вострепнулся, подхватился с лавки. Я оставила Ваньке пару банок тушенки, еще кое-какие гостинцы и, признаться, тоже не без поспешности засобиралась на улицу, на волю, на воздух. Ванька вызвался проводить нас; я вначале отговаривала его, но затем согласилась, зная, как хорошо он ориентируется в родной местности, да еще в темноте. А темь стояла непроглядная! Наша луна-спасительница решила испытать нас, схоронившись где-то там, высоко в небе. Бежать в этом мраке, по гололеду, не зная сюрпризов дороги, было совсем непросто. Ах, как хорошо, что Ванька все-таки настоял на провожании! А тут еще один сюрприз преподнесла уходящая ночь. Ни с чего, ни с того, разыгралась такая метель! Из свинцового неба летели, кружились, танцевали мокрые хлопья снега и было не понять их движения и направления. Я бежала впереди, слава богу, эту дороженьку я тоже знала, выучила, а мокрый снег залеплял мне глаза, я поворачивалась спиной - снежная круговерть снова кидала мне в лицо горсти пушистой, холодной ваты. Ванька с Гошей оставались где-то позади и я представляла, как мой двоюродный брат "упирается" с моим кавалером. Я остановилась, окликнула их, на что брат Ванька крикнул:

"Беги, "беда", беги! Мы почти рядом!"

К вокзалу я прибежала хоть и запыхавшаяся, но первая. Мужиков моих еще не было видно. Наконец, в предутренней метельной мгле обозначился мой двоюродный братец, ловко скользящий по ледяному паркету дороги огромными неуклюжими валенками, под-

держивая под "белы рученьки" растерянного, измученного Георгия. Увидя эту парочку, я просто расхохоталась.

- Вань! Ведь в тебе погиб не только талант художника, а еще и фигуриста! Ты посмотри, как ловко, прямо грациозно орудуешь по льду в своих валенках! - сказала я, когда мужики дошли до меня.

- А ты, что ж, Гоша ("Галоша") весь раскрылетился-размяк? Тут и ходу-то всего ничего! - улыбаясь упрекнула я гостя.

Злой, набычившийся Георгий даже не смотрел в мою сторону. Я знала, какой гнев, обида, почти истерика ожидают меня.

Я подошла к Ваньке, обняла его - "что б я без тебя делала?", а он мне на ухо шепнул:

"Марин! Ты что, с ума сошла? Это ж не твой человек, не твой мужчина! Я еле его допер! Гляди, не вздумай выходить за него за-муж!"

Вот тебе и Ванька-пьяница! И как, когда смог углядеть он и понять моего "жениха"? Я пообещала обязательно еще раз заехать к ним, навестить тетку. Объявили о посадке. Я позвала Гошу в автобус. Ну что оставалось делать бедному путешественнику?! Насупясь, не поднимая головы, он прошел в салон автобуса, сел в самый дальний уголок. Мне, вдруг, стало так жалко его! Он представился мне большим взъерошенным, нахохлившимся воробьем, случайно залетевшим на чужой чердак. Я стала его утешать; при моей попытке обнять его, он резко вскочил, обратил ко мне красное, распаренное от неожиданной пробежки, злое лицо и с ненавистью закричал:

"Ты, что, специально завезла меня в эту глухомань, чтобы я тут подох?"

Потом схватил свою сумку и пересел на другое место. Несмотря на его крик, ко мне, вдруг, пришло неожиданное успокоение, исчезла раздражительность, а мозг осенила секундно-возникшая мысль: "Боже, а ведь я не люблю его!" Мы сидели в автобусе, словно чужие люди, в разных местах, но надо было исправлять положение. Я ехала в гости. С мужчиной. Никто не должен видеть наших проблем. Я пересела к Георгию. Реакции - никакой! Ну, и это слава богу! Я уже знала, изучила слабые стороны своего незадачливого спутника. Скорее бы сестра за праздничный стол сестренки, к которой я его везла, выпить за встречу-знакомство и мой Гоша расслабится, подobreет. Его подкупающая простота и доброта будут напрямую зависеть от количества выпитого. На последних рюмках это уже будет такой задумевный, такой "прекрасный" мужик, из которого "хоть веревки вей"!

Но, по прибытии автобуса в село, судьбой-злодейкой был подкинут еще один сюрприз. Во-первых, резко изменилась погода и, несмотря на то, что от райцентра мы отъехали всего на сорок километров, здесь не мело, не бурило. Наоборот, небо выяснилось, лихой морозец сковал все кругом и, казалось, в прозрачном утре

даже воздух звенел. Во-вторых, оказалось, что сестра Женька с мужем Женькой, которых я шуточно называла: "Мои Женьки", "Мои Евгении" переселились на другую, молодежную улицу в центре села, и пока я искала дом сестры, торкаясь то в одни, то в другие двери, мой попутчик вовсе окован. Я и сама насквозь продрогла и, когда, наконец, отворилась нужная дверь, я просто ввалилась в сенцы, а затем понеслась в комнату к горячим батареям. Это были уже не наши хаты, а каменные, добротные дома с электрическими титанами, обогревающими все помещение. Мои Женьки сначала оторопели от столь неожиданного визита, затем схватились нас отогревать. В тазик с горячей водой сыпанули сухой горчицы и заставили нас опустить туда ноги. Я с удовольствием приняла ножные ванны, а вот Гоша здесь удивил меня мужским проявившимся характером, наотрез отказавшись от этой процедуры. Потом, как и подобает, было хлебосольное застолье, начавшееся с обеда и плавно перетекшее в ужин. Заходили соседи, друзья моих Евгениев. Как и ожидалось, оттаявший, "подогретый" и подобревший Гоша резко изменился. Он много говорил, шутил, а с мужем сестры, Женькой-кооператором даже быстро нашел общую тему разговора: Георгий в душе всегда был частником, собственником, что глубоко скрывал в годы своей комсомольской юности, будучи вожаком, секретарем организации. Под конец вечера, сытый и пьяный Гоша уже смеялся сам над собой и даже позволил себе обнять меня:

"Нет, правда Женя и Женя. Я уже думал: надо было ехать за тридевять земель, в какое-то будулье, чтобы тут испустить свой дух! Ну, Марина у меня, ну и учудила! Притащила к какой-то родне! Прямо как в яму помойную опустила! Грязища, нищета, убожество!"

Последние слова задели меня за живое и в душе резко, опять вспыхнуло раздражение, неприятие и неприязнь к этому, действительно, наверное не "моему", чужому человеку. Но, я ничем не выдала своих негативных эмоций, тем более, семейство начинающих кооператоров, Евгениев не признавали моей районной, бедственной родни.

Жили в селе десять дней. "Ходили по гостям". То к Женькиным родителям, то к моим немногочисленным оставшимся здесь подружкам, то к тете Фросе, жившей в трех километрах от села. И всем Георгий нравился. С тетей Фросей у них возникла обоюдная симпатия. Когда мы пришли к ней в гости, Гошу поразило, как семидесятидвухлетняя пожилая женщина (старухой назвать тетю Фросю он не решился) сама, единоручно разделявает тушу зарезанного поросенка, ловко орудуя топором, отсекая и отбрасывая подчеревок в одну сторону, грудинку, окорок - в другую.

"Специально, для вас зарезала подсвинка, когда узнала, что ты, Марина, приехала! А как же? Нябось давно не ела жареночки? она оторвалась от работы, улыбаясь из-под низко-повязанного чистого

платочка карими лучистыми глазами, бросила окровавленный топор на лавку.

Гоша вызвался ей помочь, чем сразу сразил ее. Теть Фрося очень маленького росточка, худенькая и "ну, очень некрасовитая" "замужем сроду не была", но любила полных, высоких представительных мужчин. И чем белее с лица и полнее с тела был мужик тем милее и краше он был для теть Фроси. Скоро на грубке, в чугунке томилось, скворчало запашистое, ароматное мясное варево. Жаренка. Хотя и не жарилось в печке. Теть Фрося угощала нас, предлагая Георгию "можа беленького винца, а можа красненького, а можа, попробуете и лично моей домашней воточки?" Гоша был покорен ее гостеприимством и пробовал, пробовал...

У нее мы и заночевали, так как "пробы" скосили Гошу наповал неожиданно, хотя он всегда был уверен в своей непобедимости в "борьбе с возлияниями". Заехавший за нами утром Женька понял, что Гоша от щедрот теть Фроси уходить вовсе не собирается, но и обижать Женьку, хозяина, было ему как-то неудобно и, благодарно прощаясь с теть Фросей, сунувшей нам огромный шмат грудинки, мы погрузились в машину.

Гостя, мне еще раз удалось вырваться в район, к моему "двоюродному" дому. Не доходя до него, видя лишь обшарпанную, когда-то беленую стенку дома, я еще издали заметила пьяного, шагающего мне навстречу Ваньку-"Ван Гога", громко орущего песни. Все в тех же огромных валенках, в запахнутом "сикось-накось" ватнике, он шел прямо на меня и не видя меня. Я содрогнулась от страха, боли и, чтоб не столкнуться с ним, свернула в сторону. Я не хотела видеть его глаз, его лица. "Такого лица!"

У теть Мани сидели навестившие ее соседки. Она спала, и в ожидании пока проснется, я решила заняться уборкой. На кухонном столе стояли черные, закопченные кастрюли с оставшейся пригоревшей едой. Пустые банки из-под моей тушенки стояли тут же. Я вымела, выскребла, вымыла холодной водой полы, отчего в доме стало чище, светлее и... еще прохладнее. Дело в том, что вот в таких домах-пятистенках (в районе уже не принято было называть их хатами) обязательно должны быть сложные две печки. Одна, как и положено, русская - большая, квадратная, с удобной загнеткой и объемным вместительным сводом, где в многочисленных чугунках и чугуночках варилась пища для людей и для скотины, с небольшими печурками, для сушки рукавиц, "вязенок", портянок и носков, располагалась в первой половине дома, обогревая кухню и прихожую. Другая же печь, называемая "голландкой" была неширокою, круглою, со вделанной железной плитой. Она обогревала другую, большую половину дома, "залу", отделенную пятой стенкой. Во многих домах "голландку" облицовывали оцинкованным тонким железом для красоты и пущего тепла. В доме теть Мани и дядь Васи сооружена была лишь одна русская печь. Была она огромная, со вмести-

тельной лежанкой, рассчитанной на многочисленную ребятню и располагалась сразу в обеих половинках дома, одним боком грея прихожую и кухню, другим - большую залу. Но, конечно, отсутствие плиты-"голландки" при наличии пятой разделительной стены "хорошо" чувствовалось долгими холодными зимами. Не хватало, видать, средств, а может и терпения дядь Васе, возводящему свой "храм" почти десять лет, чтобы сложить еще одну печку. По мере вырастания сыновей рос и строился дом. Сыновья были единственными помощниками отца и я помню, когда мы с мамкой заезжали к ним в гости, дядь Вася смеялся:

"Ну-ка, девочка! (тогда я еще не была "Бедой")

Внеси и ты свою лепту в мое сооружение!"

Строительная эпопея была завершена и оставались кой-какие "недоделки". В новом доме мне предстояло вымыть полы холодной водой, чтобы к ногам не приставала краска. Боже, с каким удовольствием я это делала! Я до сих пор помню запах олифы и краски, свежую влажность только что побеленной известью печки. Я, напевая, мыла полы и эхо звенело в еще не обжитых стенах.

Теперь эти стены глухи и мрачны. Живые, веселые голоса навсегда покинули их. Теть Маня все спала и я ушла, не дождавшись ее пробуждения.

...Больше увидеть мою тетушку мне не довелось. Евгений ехал в Москву по своим делам и захватил нас с собою. В поезде Георгий воспрял духом и чем ближе мы подъезжали, он веселел и веселел, балагуря с соседями-пассажирами, меня будто бы не замечая, а я, наоборот, все грустнела и печалилась. Ясно же, он, живой и невредимый возвращался на свою родину, а я, болея душой, уезжала от своей. Всем видом, Георгий показывал, что он все помнит, ничего не забыл, но теперь-то он "на коне" и мне еще покажет и докажет. Но ничего не нужно было доказывать. Эта поездка выявила всю сущность наших отношений. Из поезда мы вышли в разных направлениях. Дома меня ждала телеграмма, отбитая "Ван Гогом". У меня умерла последняя родная тетка. Я осиротела, как осиротел и мой далекий, стоявший в запущенном яблоневом саду "двоюродный" дом.



## Хросечка

Уже совсем рассвело. Вокзал загудел, оживился. Люди волновались, торопились, покупая билеты на электричку: многие работали в городе; другие же, наоборот, возвращались с ночных смен в родной поселок. От людского дыхания, живого гомона в помещении вокзала стало уютнее, теплее. А мне вдруг захотелось хлебнуть свежести утреннего воздуха и уединиться. До отправления моего автобуса еще было время, и я, оставив под присмотр присевшей рядом девушки свою сумку, вышла на небольшую привокзальную площадь. То ли от ядерного морозца, то ли от пронесшихся воспоминаний, в носу моем защипало. Душа моя - та ожившая лошадка, вдруг, опять взбрыкнула своими быстрыми ногами и, задрав башку, лоя чуткими ноздрями незабываемый креозотный аромат, понеслась было, по черным шпалам в знакомом направлении, но запнулась, вспомнив, что там никто ее не ждет, что там никто ее не встретит - обреченно-опечаленно смирилась, угомонилась.

На площади располагалось несколько продуктовых киосков. К одному из них, работающему, как я поняла, круглосуточно, была небольшая очередь. Почти рядом со мной стояли, разговаривали две женщины, намеревающиеся купить только что завезенных свежих косточек в этот киоск. Еще не видя лица, в голосе одной из них, я уловила что-то необычайно-знакомое, хотя весьма и весьма отдаленное. Женщины разошлись, и та, подсознательно узнавшая мою, быстрым шагом направилась к киоску. Я, уже почти уверенная, вспомнившая ее походку и мельком углядев лицо, заспешила за нею. Она очень торопилась и мне пришлось чуть-ли не бежать за ней. Сердце во мне прыгало от волнения и предстоящего розыгрыша, сиюминутно возникшего в моей голове, а душа, вновь ставшая девочкой, смеялась и веселилась. Женщина встала в хвост очереди, "за косточками", я - за ней. Не за продуктом.

- Простите, а кости свежие? - тронула я ее за рукав шикарной дубленки.

Женщина повернулась ко мне. Так и есть! Иришка! "Иришка-Маришка, палка ды шишка!" - так "дражнили" нас в селе. С пятого по восьмой класс мы с ней были неразлучны. Иришка, которой предназначалась "палка", была высокой, тонкой, красивой девочкой; я же была пониже, покрепче, посбитнее, что, скорее всего, и соответствовало моей "шишке". Сначала мы обижались на прозвища, гонялись за обидчиками-обзывалами, но потом уже не обращали внимания на эту дразнилку. В Иринку были влюблены все мальчики класса и даже те, обзывавшие нас, при встрече с нею опускали глаза, краснея и смущаясь.

Сейчас Иришка пополнела, но это ее не портило. Мало изменился и овал лица, тоже округлившегося в меру, чего не скажешь обо мне. Мой "овал" - настоящий завал! И потому моя сельская школьная подружка никак не узнавала меня. Она ответила, "что, вообще-то, здесь всегда свежий завоз". Грусть коснулась моей души, но я смахнула ее и, встав прямо перед "девочкой Иришкой", женщиной Ириной, глядя ей в глаза, спросила:

"Неужели вы не узнаете меня?"

Ирина растерянно улыбалась:

"Ой, извините, что-то никак... Что-то не могу... Не припомню..."

- А ты припоминая, вспомни:

"Иришка-Маришка, палка ды шишка!" - улыбаясь, прочитала я ей нашу дразнилку.

Ирина покачала головой, веря и не веря, подпуская и отгоняя мысль-подсказку.

- Нет-нет... Мариша! Неужели это ты?

- Да, да! Это, оказывается, я, дорогая, милая Иришка!

Меня вновь кольнула досада от столь значительного изменения моего облика, но не подав вида, я весело затараторила:

"А помнишь? Помнишь, как мы... А не забыла, как мы..."

Бывшая подружка смотрела на меня повлажневшими глазами, и я сентиментальной, внутренней тонкой своей натурой, прямо противоположной внешнему "толстому обличью", чувствовала, что Ирине неудобно передо мной за долгое неузнавание.

- Ириш! Это сколько ж мы с тобой не виделись? Больше тридцати лет! Боже мой! Как же так получилось? - я прервала затянувшуюся паузу встречи.

- Так мы, как уехали к тетке в Ригу, так и все. - обрела дар речи Ирина. - Там я и замуж вышла!

- За латыша? - удивленно-радостно спросила я.

- Нет, слава богу, за русского. Иначе были бы проблемы. Видишь, что творится с республиками?! Всего три года назад мы вернулись сюда.

В отличие от моего, в ее голосе не было радости. Ей все еще, наверное, не верилось, что перед нею именно я. Боже, но ведь не настолько я страшна, хотя коррективы природы и внесли изменения в не лучшую сторону. Да и саму Иринку-красавицу время тоже не пощадило, нарушив правильность и утонченность черт лица и фигуры. О семье Ирины я узнала только, что муж у нее - бывший военный, сейчас на пенсии, имеет свой большой дом и любимую внучку от старшей дочери. Есть еще сын-студент. Хорошая, порядочная, наверное, счастливая семья, дающая, казалось бы, право Ирине на более радостное восприятие событий, чего опять же, не скажешь о моей жизни. Но моя бывшая деревенская подружка была мало-разговорчива и еще менее приветлива.

Подошла ее очередь. Я попрощалась с нею, надеясь, что Ирина пригласит меня в свой богатый дом, но она лишь кивнула: "До свидания, Мариша!"

Как будто мы встретимся с ней завтра на соседней улице, а не расстанемся на другой "тридцатник", который уже навряд ли осилим...

Из окна автобуса, везущего меня к младшей сестре Евгении, я увидела идущую в компании женщин Ирину, неожиданно-весело смеющуюся, энергично размахивающую сумкой со свежими, только то купленными косточками.

Что ж, все течет, все изменяется. Но так хочется, чтобы в душе человеческой жила, оставалась хоть капелька чистого, святого детства.

"Пусть в нас изменяются овалы,

У наших лиц и у фигуры.

Но память нас не предавала

И в детство снова, вдруг, вернула..."

Не сразу я узнала дом моих Евгениев. Сестренки Женьки и зятя Женьки. Как говорится, "два в одном"! Дом вырос, "поправился" несколькими пристройками и теперь назывался гордо и одновременно - коттеджем. "Коттедж" преобразился не только внешне, но и внутри все было по-городскому: полы устланы ворсистыми паласами, "стенка" уставлена хрусталем, а цвет обоев и тяжелых портьер гармонировал с богатой мягкой мебелью. На просторной кухне стояла стильная, из рекламы, чудо-плита и дорогая стиральная машина-автомат. Моя бедная, городская, стандартная кухонька была лишена таких размеров и современных изысков и, конечно же, никак не могла соперничать с такой вот, деревенской. Я, восхищаясь, ходила по комнатам, следом за мной - плохо скрывающая гордость сестра Евгения, а Евгений улыбался, поглядывая на нас и покачивая головой. Вначале, мои кооператоры - "богатенькие буратины", как я шутливо их называла, удивились и, как будто опечалились, что я приехала без Георгия, но потом быстро успокоились, потому как "пировать" (как говорят на Урале) все-равно было не с кем. Муж Евгений не пил уже два года. Что-то произошло в "королевском" семействе - фамилия "Женек" была Королевы. Богато, шикарно в доме моей младшей сестренки, но нет залиvistого, звонкого детского смеха. А его так не хватает для полного счастья! Это чувствуется заржавевшей даже душой и видится "зашоренным" глазом. Бедная моя, "богатая" сестра! Это ведь настоящая трагедия - вырасти в многодетном семействе и остаться бездетной. Где только не бывала она и как только не лечилась! У врачей один ответ: "Иди и рожай!". Намучилась Женька. И я чувствовала, как меняет ее эта неблагополучная сторона жизни, как отнимает у нее мягкость и доброту. Она стала раздражительной и плаксивой, дерзкой и какой-то непримиримой. Вот, запретила Евге-

нию вообще выпивать, хотя его, ну никак не причислишь к пьяницам-выпивохам. И потому, на этот раз застолье было щедрым, но скучноватым. Евгений занимался кролиководством. В этом "бизнесе" работала и Евгения. Маленькая кроличья ферма поразила меня чистотой и уютом. Запах сена хранил запах травы и цветов и будто бы окунул меня в лето. В десятках клеток сидели большие и маленькие обитатели-кролики. Они были невообразимо-притягательны своими блестящими, умными глазками-пуговками.

- Замучили оны мне, гады! - незло смеялся Евгений, - Усе хочю порешить их, ды рука никак не подымается. Сколькя сена жруть, травы летом-ужас! Прорва! Теленка можна выкормить!

Я засмеялась:

- Жень, а почему ты их не называешь трусами. Помнишь, как мы звали в детстве кроликов. Маленькие трусяты.

Женька в ответ о воспоминании только усмехнулся.

Но были у них и два теленка. Два бычка. Корова и два поросенка. Работы у Королевых хватало с утра до вечера. Гусей почему-то не держали.

- Да ну их!- пояснил мне Женька-Евгений, - еще и с ними возись! Их стеречь надо. А когда?

Я вспомнила, как стерегли по очереди мы этих гусей. Наша бабка Фекла неизменно брала с собой соседского Жучка, и вот, наперегонки с собакой, я неслась от стада к стаду гусей, заворачивая их от посевов люпина и гороха.

...Женька с удовольствием возилась с кроликами, задавала им корм. Я держала в руках пушистые лохматые комочки с пронзительным блеском бусинок-глаз и ладонью ощущала дробный перестук их испуганных, тревожных сердечек.

Вечером сидели за чаем, говорили, смеялись. Но внезапно Женька мрачнела. Что-нибудь замечала, выискивала в Евгении и с непонятной злостью выговаривала ему. Я заступалась, стараясь все обратить в шутку, но сестра, нет-нет, опять поворачивала на неприятные темы. Евгений вставал, уходил курить. Как-то вечером я сделала ей замечание ("не обижайся, я ведь старшая у вас, вроде как за мать!"). Евгения закатила настоящую истерику. Я испугалась, стала успокаивать ее, а душой засобиралась домой. Утром же, как никогда, сестренка была внимательной и доброй, и когда я заговорила об отъезде, даже обидевшись, закричала:

"Да ты что?! Мариша, не обращай на меня, дуру, внимания! Ты пойми - нервы мои стали никуда не годные!"

Я не была еще у теть Фроси. Решила сходить к ней, навестить. И только подумала об этом, а теть Фрося, тут как тут, стоит в дверях. Махонькая, в большой, зеленой, модной курточке, явно ей не по плечам; за спиною - завязанная узлом, большая пестрая шаль, дополнена уложенная продуктами.

- А я, Мариша, узнала от людей, что ты приехала и жду тебе, жду. А ты и не идешь! Вот, пошла у магазин, накупила усяго, еле пру, а ноги уже ни идуць! Ну, усе ж таки думаю, зайду к вам у гости.

В доме я была, как раз, одна. "Евгении" управлялись на ферме. Я пригласила тетя Фросю на кухню. Освободив плечи, она скинула свой "сидор" прямо у дверей и присела тут же, на табуретку.

- Теть Фрось! Ты чего там уселась? Проходи сюда, на кухню.

- Ды нет, Мариш, нада разуватца, а неохота. А с валенков боюся вода набягить, замараю...

Она сидела, положив маленькие кисти рук, выступавшие из широких рукавов куртки, на такие же маленькие, круглые коленки, обтянутые плотной юбкой. В голове моей, вдруг, стало горячо; я вспомнила, что в подарок тетя Фросе привезла теплые, шерстяные гамаши, а то, что они ей будут велики, я просто упустила из виду. Боже мой! Как же я опростоволосилась! Ведь в них войдет еще две таких тетя Фроси! Мне показалось, что она стала еще меньше ростом. Но что было делать, хороша ложка к обеду, а подарок вовремя! Я все-таки, уговорила ее пройти в комнату. Поставила чайник, достала печенье, конфеты:

"Сейчас, тетя Фросечка, будем чай пить!"

Теть Фрося промолчала. Нехотя взяла конфетку, надкусила ее, положив обратно:

"Нет, Мариш, я об ету конхвету зуб последняй сломаю! Ды и што я, чаю штоль не пила?"

Она проворно кинулась к своему узлу. Достала бутылку "Кагора":

"Сегодня, вить, большой праздник. Видянье! Вот уместо етого чая-воды мы и выпьем винца! Крепко хорошей ен, етот "Кагор". Укуснай и усе говорят, шту полезнай. Дажа по тилявизиру".

Мне стало так неловко, так неудобно.

- Теть Фрося! Я ведь сама в гостях. Была бы я дома, то сейчас бы так тебя угостила! А тут... Сама пойми, Женька наша этого не любит!

Теть Фрося улыбнулась:

"А мы с тобой, девка, пока те на хверме - по рюмочке и опрокинем!"

Я наскоро собрала стол. Нарезала хлеба, осмелилась достать из холодильника свиной домашний рулет. Теть Фрося замахала руками:

"Не нада, не нада! Не трогай, девка, ничего! Ну их к ударовой матери! Женька еще заругаетца!"

Мы выпили. Теть Фрося сразу разругалась и даже помолодела.

- Ты, Мариш, не обижайся, усе ж таки она табе родная сестра, но толька Женька стала совсем другая. Стала тыкая скупая, даже не знаю у кого! - Теть Фрося поджала губы, наморщила и без того морщинистый лоб, что-то вспоминая, и тут же воскликнула:

"Знаю, знаю у кого! У Онюшу! Точно, у покойницу нашу. Они даже обличьем схожи! Вот, Мариш, усе мои двоюродные: и ваша мамка, Вера, и Мурка, и Шурка были простушие и добрющие.

Про Маруську тожа ничаго не скажу. Она у деревни мало жила, а вот наша Онюша ета ж до того жадна была, шту родной мужик кликал ие бабкой Ягой. Вот так-то! Ну, правда, Женькя усе же не такая у нас. Усе ж-получши!

Мы выпили еще, закусывая вкусным рулетом. Теть Фрося мусолила-мусолила беззубым ртом пикантное мясо, потом вдруг кинулась опять к своему "сидору": "колбаска ж у меня есть!" Я остановила ее, и она рассказывала мне о перемене в Женьке.

- Я, ж, Мариш, кажнай год им по гусенку носила. У них жа нетути! Мне нешто жалко? А летось такой град был! Прибил у меня гусиню и гусака. Дык я их сама общипала и им снесла. Уж сам-то, Женик, так мне благодарил, так нахваливал, а она, наша Женькя-то, стоить, как у рот воды набрала! Ды скажи ты тетке спасибо! Правда, ни бряшу. Сам-то, Женик мне помог и усадьбу успахать, и назем вывез трактором. Молодец, Женик! Дай бог яму добраздоровья! А вот другая Женька, штой-та возгордилася, хотя по крови и родная.

Вино было сладкое, пилось легко, и мы не заметили, как оказалась выпитой почти вся бутылка.

- А-а-а! Теперя некему оставлять! - раздухарилася моя теть Фрося, - Давай, Мариш, прикончим ие и уся недолга!

Тут и вошла Женька. Мы обрадованно поднялись ей навстречу, хмель сделал нас раскрепощенными и веселыми, но сестра, будто через силу улыбнулась, и я своим тонким чутьем, от которого, зачастую, страдаю, поняла ее недовольство, а брошенный мельком холодный взгляд на наше пиршество оставил мои догадки без сомнения.

- Жень, я тут похозяйничала немного, ничего? - спросила я обнадеживающе, ожидая успокоительного ответа.

Но Женька промолчала, затем демонстративно хлопнув крышкой холодильника, ушла в другую комнату.

- Вот, гляди, гляди, - зашептала мне захмелевшая теть Фрося, - она уже фыркаить, ей не понраву, шту мы празднуем.

Теть Фрося с трудом поднялась с табурета, расправляя болевшую спину, заглянула в комнату:

"Жень, а Жень! Ты тока не гневайся! Мы чичас уходим. Маришка хочет у мене побыть. Пускай, ладно?"

Слышно было, что Женька что-то проворчала. Долго копившееся внутри моей души, подогретое сладким винцом, вдруг, вскипело и хлынуло наружу:

"Моя дорогая сестра! Я штой-та ничаго не пойму! Мы-то в чем виноваты? Я ж с тобой и так, и сяк, и таким макаротом, а ты усе как

камень-кремень! Избаловал, издурил тебе твой Женечка. Не на того ты напала!"

У другого б была, как шелковая.

Теть Фрося успокаивала меня, уговаривала, но я уже "вошла в раж". Я кидала свои вещи в сумку, при этом выговаривая Женьке все наболевшее, припоминая и детство, когда ее все жалели и берегли, как самую маленькую. Ругаясь, я с удивлением замечала, что перешла на местный, родной говор, с твердым "г" и уже кричу, как простая брянская баба. Женька громко редела в другой комнате, и мне показался этот рев наигранным, на "публику", то есть, на нас, двух нечаянных зрителей: меня и тетку. И мне не стало жаль ее.

Отойдя на несколько метров от коттеджа "Евгениев", я обернулась, в сердце кольнула и обида, и боль, и, все-таки возникшая жалость. Мне захотелось вернуться, успокоить несчастную сестренку, но взглянув на согбенную маленькую тетю Фросю, мелкими шажками торопящуюся домой, я вдруг сама заплакала, отобрала у тетки узел-шал и поплелась с ней рядом.

"Мое последнее пристанище, последняя отрада".

... "Хросечка" - так тетю Фросю звали все в деревне. Я доводилась ей уже двоюродной племянницей, так как моя родная, по матери, бабка Маша и ее родная мать - бабка Акулина, звавшаяся сокращенно Кулина - были родными сестрами. Но, такую строгую родственную иерархию тетю Фрося, конечно же, не понимала и считала меня просто своей племянницей. Я и сама тянулась к ней. Возможно потому, что для меня, никуда еще не ездившей и ничего не видевшей, эта деревенька Бураковка, находившаяся в трех километрах от моей хаты, казалась чем-то новым, каким-то неизведанным местом, притягательным и интересным. Место это, действительно, было красивым, будто сошедшее с полотна художника-пейзажиста. Одна сторона деревни - "вулица" - располагалась ровной линией у подножия высокого зеленого холма, по которому удивительно стройными рядами поднимались кудрявые березки, а другая - верхняя улица лежала уже на верхушке этого продолговатого холма. Внизу, с обратной стороны его, серебрился водой большой пруд, где вместе с гусями и утками плескалась ребятня. Мне особенно нравился холм летом: я пулей неслась вниз, на бегу хватаясь за ветки березок и живым бревном скатывалась в обратную сторону, прямо в прохладный илестый пруд. Из маленькой Бураковки в нашу школу ходило тогда много ребят. В моем классе учились Томка Беданова, Юрка Соломушкин, Людка Ванюшина, Леник Горелов, Нинка Боскина, Лидочка Зенина. Я была дружна с ними, но особенно трогательные отношения были у меня с Лидочкой. Она прекрасно пела, буквально завораживала своим голосом. Ее дом стоял самым первым в Бураковке, и я, неизменно, заходила к ней, когда бежала к тетю Фросе. Были в классе и несколько мальчишек, которых наши сель-

ские "центровые" постоянно гоняли, обижали. Мне же их было жалко. "Наши" обзывали их "щеглами" за иное произношение: вместо звука "ч" они почему-то произносили звук "щ" и у них, например, вместо что, чего - звучало: щто, щаго... А еще всех бураковских дразнили "дураками из Дураковки". Но большинство этих "дураков" училось лучше всех остальных умных, а я в эту деревеньку всегда бежала на одном дыхании. Рядом с хатой тетя Фроси стояла хата Солomuшкиных, и хотя в ней жил-был мужик, хозяин Федор Солomuшкин, она совсем не отличалась от бедной хатки тетя Фроси. Дядя Феде все было недосуг. В семье имелось десять душ детей. И все они были не Солomuшкины, а Симочкины. По имени своей многородительницы. Как будто самый главный человек в хате не имел к ним никакого отношения. Сама Симочка была чуть больше соседки Фросечки. Невысокая, худая, одаренная Богом такой плодовитостью, она была мишенью для насмешек бураковских, да и "центральных" баб.

"Симочка, ты хуть поделись с суседкой

Хросечкой, подкинь ей хуть одного из ребят".

"Симочка, одолжи хуть свояго Федьку на ночку-другую суседке своей!"

Симочка не обижалась, и сама смеялась вместе со всеми. И только в школе ее называли Серафимой Тихоновной, когда она в очередное школьное собрание выслушивала похвалы своим старшим детям. Юрка Симочкин был среди средних. Учился он в нашем классе и сидел рядом со мной. Учился он неплохо, но постоянные издевки и оскорбления, как-то принижали его. От Юрки исходил неприятный, специфический запах, оттого, что спал он на полу, посредине, меж своих маленьких братьев и сестер, справлявших малую нужду тут же. Где же в небольшой хате расставить столько кроватей?! Печка с казенкой тоже были заняты, и лишь за переборкой выслалась настоящая кровать, принадлежащая "производителям" этого семейства. Над Юркой Симочкиным смеялись девки, затыкали носы, а он конфузился и отмалчивался. Как-то, за компанию, вырвался смешок и у меня, а Юрка так взглянул, так посмотрел! Он не ожидал такого предательства, считая, что я тоже наполовину их, бураковская. Мне стало невыносимо стыдно. Однажды, по осени, Юрка пришел в класс в сапогах на одну ногу. Просто торопился и перепутал. Его подняли на смех! Не было смешно только ему и мне. Этот легкомысленный детский смех я помню всю жизнь.

Солomuшкин Юрка стал офицером, и сейчас, подходя к деревеньке, я лелеяла надежду что-нибудь узнать о нем, а может даже и встретить! Мы топали с тетя Фросей, уже успокоившиеся, разгулявшимся, разгоряченным зимним деньком по прочищенной бульдозером дороге. По обе стороны ее мерзли картофельные поля. Ах, как же и мы мерзли на этих вот полях, когда классами, школой,

по первому уже зазимку, собирали колхозную картошку. До своих хат было далеко, и мы с Ленкой Авериной, продрогшие на холодном ветру, бежали к тетя Фросе. Она наливала нам по кружке топленого, только что из печки, молока, отрезала по горячему ломтю, большой скибке домашнего хлеба, и мы, углетая за милую душу, согревались. Бабка Кулина, лежавшая на печке, уже давно болела, но, услышав "гостей", отдергивала ситцевую занавеску-шторку, недовольно ворчала на дочь:

"Ну ни граммочки вума у девки нетути! Готова кажныга напоить-накармить!"

Теть Фрося задергивала шторку:

"Ляжи, мам, и помалкивай! А то на том света и куска ништо тебе не подасть!"

После смерти бабки Кулины тетя Фрося так и жила одна. Она с еще большей приветливостью принимала меня, и я летела к ней, как на крыльях. Я, сама того не понимая, стала отдушиной в ее, собственно, безотрадней жизни. Теть Фрося называла меня помощницей. А я и была сезонной помощницей, потому как самая горячая работа приходилась на два сезона: весну и осень. Уже в конце апреля начинали вывозить на огороды навоз, или по-местному, назем. Моя мамка с охотой отпускала меня "к Хросечки" на помощь, так как дома хватало работников - моих сестер и братьев. Мне так нравилось стоять на высокой навозной куче, скопившейся не за одну зиму, в резиновых сапогах, с большими вилами в руках и чувствовать себя по-настоящему, взрослой. Я подхватывала вилами слежавшийся пласт назема, кидала в самодельную тачку. Теть Фрося наигранно-упираясь, будто ей неподъемно-тяжело, еле сдвигала тачку с места и охала:

"Ох, Мариш, ты хочешь, чтобы тетка надорвалась!"

Но я, видя ее улыбку, понимала, что она шутит и в очередную ходку шлепала ей в тачку лишние "вилы". Поднимая перепревшие пласты навоза, от которых валом валил пар, через резину своих сапог я чувствовала создавшееся тепло там, внутри кучи. А сверху ласковый весенний ветерок обвевал разгоряченное работой лицо. Раскидав кучу до середины, я замечала скопища белых продолговатых личинок, которые, к удивлению, мне совсем были не противны. И здесь зарождалась жизнь.

Почти у каждого двора кипела такая же работа. Теплый, бархатный ветерок смешивал ароматы нежной, только что народившейся зелени с необычным, неповторимым, остро-кислым, пахнущим уютными сараями и скотиной запахом, заполнившим всю округу. Мы с тетей Фросей делали перекур. Уходили в хату обедать. После обеда работа быстро заканчивалась и не потому, что мы уставали или не хотели - просто мои ноги начинали мерзнуть. А это значило, что солнышко не успело прогреть всю кучу. Мои вилы начинали скрежетать

об ледяной валун, навоз здесь уже "не брался" и мы оставляли его "дотаивать". По всему огороду рядками высились маленькие пирамидки деревенского натурального удобрения. На следующий день, отдохнувшие, мы легко "махали" вилами, разбрасывая эту органику. Так было каждую весну. А осенью "рыли картохи". Эта работка была потяжелей, мне удовольствия и радости не доставляла. Когда одолевала усталость, в моей маленькой душе рождалось раздражение: "зачем засаживать такие гектары?" Я начинала все чаще и чаще вглядываться в край картофельного поля, но от этого он не становился ближе. Надо было колупаться и колупаться. А тетя Фрося почти не разгибалась, что меня просто поражало. Она копала лопатой, я, схватив высохшую, потемневшую ботву - "плетки", выпряхивала картошку, собирая затем в ведро до самой дробной. Самая дробная, маленькая шла скоту, ее никак нельзя было оставлять на земле еще по той причине, что она могла потом прорасти и засорить огород. Тетя Фрося успевала и рыть, и зорко следить за чистотой моей сборки. Заметив пропущенную картошку, она говорила мне:

"Мариш, во-о-он розовенькая светитца!"

Удивляясь выносливости маленькой тетки, копающей "боровок за боровком" (рядок), я начинала злиться:

"Где еще тебе светится? Не светится, а валяется! Ну и черт с ней!"

Тут уже было дураку ясно: работу надо заканчивать - ребенок выдохся!

Тетя Фрося, охая, еле распрямляла согнутую спину:

"Усе, Мариш! Хватить! Ну ие к огню!

Что нас, гонюць штоля?!"

Я, радехонькая, тоже еле вскакивала: от постоянной присядки затекли колени. Конечно, признаюсь, на "осенний сезон" помощница уж не так летела к своей "Хросечки" в деревню Бураковку. С тоской думала я о завтрашнем трудовом дне. Ох, уж, это "рытье картохи"!

Но, слава богу, неожиданно утром заявлялся старший брат тети Фроси, дядя Степан со всем своим семейством, и работа продолжалась. Только я сейчас занималась другим делом. Я сидела на пустых мешках возле картофельного бурта и перебирала, делила картошку на крупную, среднюю и дробную. Передо мной стояли три ведра и я с удовольствием пуляла в них картохи. Это занятие было мне по душе. Через два дня на чисто-убранной огородной земле лишь желто светилось с десятков тыкв, по-местному, гарбузов. Как огромные купчихи в широченных сарафанах, сидели они в разных точках огорода, удерживаемые шероховатыми стеблями-поводьями. Из мякоти этих гарбузов у нас варили кашу-гарбузю. Мое обоняние до сих пор хранило память о ее ни на что не похожем вкусе; оттого и свело скулы мои сейчас судорожным спазмом.

... Мы пришли в Бураковку. Но сейчас, те несколько оставшихся хатенок, из которых три-четыре можно было считать добротными, никак не соответствовали статусу деревни. Остался от красивого пейзажа только березовый холм, да и он выглядел одиноким пологим косогором.

- А щаго ты, Мариша, удивляешься? Кому ета деревня типерича нужна? Усе поразбеглись, поразъехались. Усе поразвалилось. Наверно, конец усем приходить, - тетя Фрося правильно поняла мой грустный взгляд, когда мы приостановились.

- Чичас мою гнилушку-развалюшку увидишь.

Гляди, тока не испужайся. - тетя Фрося улыбалась, поглядывая на меня, подводя к своей хате.

- Ты вот, годов пять назад у меня была, да? Ды и были вы - всяго, ничаго. Ну и усе ж таки хата тоды получше была. А типеря... Как зимою задуть буран, как начнеть усе крутить, а я ляжу на печи, держусь за кирпичи, а в голове одна думка: как ба ни улететь уместя с моими хоромами. Утром Симочка прибягить: баб, живая? Ды живая-живая, а сама узяла бы у беремя самое нужное ды и побегла из хаты.

Скока раз Степка наш мине уговаривал переехать у город, к няму. Дык, вот, нет...

"Хоромы" имели весьма печальный вид. Покосившееся маленькое крылечко, скособоченный правый фасадный угол хаты уволок с собою окошко с сорванным наличником. Крыша была разномастной: кое-где желтели доски-тесины, и общим черным пятном выделялся толь-рубериод, во многих местах разлохмаченный зимней непогодой. С прогнившего крылечного порожка, по шатким неустойчивым поленьям, накиданных вместо ступенек, мы спустились в небольшие сенцы. В их дальнем углу был огорожен ворох торфа. Самое первое, необходимое топливо для деревенских печек и грубок. Я подошла, потрогала высохшие, шершавые, темно-коричневые кирпичики.

Заготовка торфа - это отдельная страница нашей крестьянской жизни. Это - особая страда, начинающаяся рытьем в начале июня, продолжающаяся просушкой-перекладкой раза три в лето и заканчивающаяся в конце августа перевозкой торфа в хозяйские дворы и сараи. Вот тут-то и призывалась на помощь соседская ребятня. У каждого из нас была своя "плютуха" и мы, наперегонки, носили просушенные, выветренные за целое лето жаркими ветрами, сухие, легкие кирпичики в сарай или торфяник. Но эти самые "кирпичики" в ранней заготовительной стадии давались нам нелегко. Они были тяжелыми, напитанными влагой, и даже на тачку мы их грузили понемногу. И еще, тогда они имели запах сероводорода, который нам не был знаком по школьным урокам и который сравнивался у нас другим газом, житейским, и мы, посмеивались, смущенно отводя глазки. Нам казалось, этот запах издают мужики, почти с головой скрыв-

шиися в яме, от тяжелой работы, выкидывая вверх мокрые пласты-кирпичи торфа. Хлюпая сапогами в торфяной жиже, они все глубже и глубже погружались в яму, и когда резак уже не доставал ее поверхностного края, мужики вылезали из ямы, вскорости заполняемой водой. У каждого на болоте была своя яма, которая с каждым годом расширялась и углублялась, а затем заменялась новой. На болото, также как на сенокос, уходили всей семьей, "с обедом". Неспеша перекусывали хлебом с салом, выпивали по сырому яйцу, запивая все это дело молочком из бутылки с газетной затычкой, и хватались за работу.

Теть Фросе самой приходилось только расчищать на болоте место под свою ямку. Она снимала верхние пласты дерна и пробовала копать первые верхние слои. По причине маленького роста, коротковатых рук, ей было трудно выбрасывать брикеты торфа углубляясь в яму, и она нанимала кого-нибудь из мужиков. Мужик рыл, а мы с тетей Фросей развозили в тачках. Иногда, подгадывая под отпуск, приезжал брат Степан, и я с удивлением глядела на родных брата и сестру. До чего ж непохожи! Может быть, бабка Кулина родила их от разных мужиков?! Дядя Степа был высоченный, могутной. Настоящий дядя Степа-великан! Голос был у него, как из трубы иерихонской. Когда полным ходом шла копка торфа, и все семьи со своими выводками копошились, как муравьи, монотонно гудя, дядя Степан своей завидной фигурой и мощью голоса перекрывал общую картину. Было видно и слышно только его. Мы с тетей Фросей путались под ногами, и он смеялся:

"Ну, девки, спихну вас сейчас в яму, что б я об вас не спотыкался!"

Крупная, с копной русых волос голова его красовалась над торфяной поверхностью...

... "Что ж ты, Степан-великан, не поможешь сестре малышке?" - думала я, все это вспомнив, глядя на ворох торфа, вкривь и вкось огороженного кольями.

Теть Фрося, будто прочитала мои мысли, и я даже на мгновение опешила.

- Ды, Мариш, ты и не думай! Степка мне не бросать! Я ж тебе кажу, усе зоветь к сабе, у город. Кажить, сестра, я даже помогать перестану-пускай у тебе усе повалитца, тогда, можа, быстрее прибягышь!

Теть Фрося засмеялась: "Как жа! Прибягу, когды задавить!"

Мы зашли в хату. Все так же уютно, все то же убранство. Но нет! В хате появилось новшество. Прямо на обеденном столе стоял маленький цветной телевизор с комнатной антенной. Теть Фрося, раздевшись, подошла к столу, осторожненько, прямо с нежностью, взяла в руки телевизор и перенесла его на пышную постель, утопив в

мягкой перине. "Пускай отдохнеть, а то заморился балакать!" Меня это тронуло до слез.

- И что, тетя Фрося, часто ты его смотришь? - спросила я, сглатывая ком в горле.

- А гляжу! Што-што пойму, а шаго и не пойму, а усе ж веселее. Я, Мариш, крепко концерты люблю, а еще, когда старых артистов кажут. Теперя штой-та все реже и реже. А еты, дрыгалки...ды ну их! А еще Симочка ко мне прибегаить. У них тиливизяр поломался. Дык, мы с ней на пару глядим! Это она, наверное, не знаить, шту ты пришла-а, то б уже прибегла! Ну, ладно, теперя я табе угощенье поставлю.

Теть Фрося кинулась в сенцы. Притащила торфу, кивнув мне: "разжигай!" Я скомкала старую газету, кинула ее в грубку, стоявшую, как всегда посередине хаты, положила сверху расщипленных тонких поленьев и чиркнула спичкой. Не забыла еще! Получилось! Когда моя растопка разгорелась, я подбросила куски торфа. Грубка уютно загудела, наполняя теплом хату. Хозяйка уставляла стол, при каждом новом блюде с гордостью поглядывая на меня: "вот ведь неплохо живу!" На душе моей стало так хорошо, так спокойно, так уютно, будто она откуда-то возвратилась и улеглась на свое родное, привычное место. Глядя на эту святую простоту, наивность, неутраченную доброту и жизнелюбие, все мои горести, надуманные обиды показались совершенно никчемными. Теть Фрося накрывала стол, на ходу рассказывая о своей жизни, о своих бедах и проблемах и при этом улыбалась и даже смеялась. Я еще раз убедилась, что это могут только наши бабы. Русские бабы.

- Мариш! А ты шаго ж не спросишь, шту у мене пузо большой? - вдруг, остановилась тетя Фрося, и не успела я сообразить, как она резко, вместе с фартуком, приподняла юбку и, приспустив гамашу, оголила свой живот. Моему взору открылся большой, неровный, огромный шишкой торчащий пупок.

- Это, Мариш, грыжа! Три раза исделали операцию, а ен, змей, етот мой пупок, усе растеть и растеть. Ну, зато я хуть потолстела, правда? Хуть на одно пузо! - тетя Фрося вновь засмеялась своей шутке, у меня же запершило в горле. Я достала привезенные в подарок гамашу и, извиняясь, стала ей объяснять про свой промах с размером. Она с радостью приняла их, успокаивая меня, что "подвернет их да и на завязочку!" у меня с сердца как сто пудов свалилось!

- Теть Фрось! Тебе тяжелого сейчас ничего нельзя делать!

- А я ничего и не делаю! Никакого змея! Жру ды тиливизор гляжу! Увидев, что она собирается жарить сало, коронное блюдо нашего угощения, я запротестовала:

"Ой-ой, тетушка, не надо! Это же чистый холестерин!"

Но тетя Фрося, поняв-не поняв столь загадочное слово, мелькающее в телевизоре, оборвала меня:

"Ты, Мариш, не обращай униманья, шу говорять по етому ящику. Мы ж усе выросли на сала, уся, ж, деревня! Нихто без куска сала за стол не садится! Ды я сама, если не поем салыца или щаго-нибудь жирненького - то, считай, цельной день голодная! И, слава богу, усе до старости доживаем!"

Я засмеялась, потому как я и есть самый яркий представитель и популяризатор нашего брянского сала. Мой организм, с детства выкормленный этим калорийным продуктом, постоянно борется со мной, если я начинаю изменять ему, прибегая к постной трапезе.

Сало, во всяких его видах, из моего холодильника никогда не выводится. И не поев его, я тоже голодная! Но ведь вредно! И это доказано! Что ты будешь делать!

- А насчет того, шу от сала толстеють, то ето, Мариш, тоже брехня. Вон, как я растолстела, правда? За усю жисть толька и поправила на пупок, да и то по болести.

Я ходила по заметно потеплевшей хате, рассматривала старые портреты на выцветших шпалерах и вспомнив, вдруг, про золоченый патефон, ту далекую, детскую, дорогую мне игрушку, ради которой я стремилась сюда много лет назад, стала встревоженно его искать. Заглянув под кровать, обнаружила там три пышнобоких гарбуза.

- Ой, тетя Фрось, свари-ка мне завтра гарбузю! Тышу лет не ела!

Теть Фрося удивилась:

"Вот ето выбрала делитес! Ну, ладно, стомю тебе завтра у печки! Усе на пользу пойдуть, а то будуть валятца до вясны.

Я все искала глазами патефон.

- А щаго ты ищещь?, - заметила тетя Фрося.

- Ой-ой! Теть Фросечка, а где ж тот золотой патефончик?- расстроено спросила я.

- А-а, дык яго уже сто годов нетути! Как Степкины ребята подросли, то старшой и утащил яго. Скызал, шу ето крепко дорогая вещь. Ен, Мариш, крепко мудрено яго назвал. - тетя Фрося задумалась, захватив в горсть подбородок.- Как жа яго... Етот... как жа, какой-та...квырият. Во-во, Мариш, квырият! Никак не выговоришь, удар его возьми!

У меня упало сердце:

"Антиквариат, тетя Фрося."

- Ах, ты господи! Правильная, Мариш! Ето самое! А ты теперя не горюй! Давай-кя мы с тобою пообедаем. А то, пока прошлися, усе и прошло.

Как было не горевать! Ведь это из-за него, голосистого чуда в темно-синем бархатном ящике, я бежала в хату к тетя Фросе. Не успев спокойно поесть, я вытаскивала из-под кровати запыленный патефон. Открыв крышку, вынимала заводную ручку и, вставив ее в

боковое отверстие, накручивала до упора. Рядом лежала небольшая стопка пластинок, с разноцветными кружками в самом центре, возле дырочки, для маленького блестящего стерженька, на который я и насаживала пластинку. На нее, с дрожью в руках, я опускала крупную, блестящую золотом, крутोलобую головку патефона и откуда-то изда- лека, из чужого загадочного мира, с небольшим шипением и потрескиванием прорывалась музыка. Я заворожено взирала на вращающуюся пластинку, а тетя Фрося кричала мне из кухоньки, чулана ли:

"Маришечка, дочичка, поставь-кя ты мою любимую!"

Я подзаводила патефон и неповторимо-красивый, глубокий, чуть дребезжащий голос Лидии Руслановой выводил:

"По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах"...

Тогда, в детстве я даже не интересовалась, откуда этот патефон, теперь же спросила у тетя Фроси.

- А-а, огонь яго знать! Уже посля войны у нас появился. Степка откуль-то приволок. Уродя, у яго товарища Вихтура отец с войны привез. Как етот...трохей. А наш Степка одолжил ды и оставил на усе уремя, пока ребята не забрали.

Мы сели за стол, на котором "негде было курице клюнуть!" Так его уставила тетя Фрося. И тут-то, в хату, торопясь, вошла соседка Симочка. Не узнавая меня, удивленно спросила:

"Хрось, никак у тебе гости? А я бягу и думаю, шту ето Хроська гусей не загоняить? Осталося усяго ничаго, и тэ померзнуть!"

Стоя у порога, Симочка вглядывалась в меня, все еще не узнавая, продолжала свое:

"А я, Хрось, прибегла к тебе картину поглядеть. Мой Васья, унук из Брянску, усе сулился тиливизяр исделать, а сам никак ни едить. Говорить мне: ты, баб, ни сумливайся, привязу лампочку, шту перегорела и излажу нехуже мастеру. А сам, змей етот, уже вторую неде- лю ни приехал!"

Тетя Фрося перебила ее:

"А шаго у дверей стоишь? Шаго не проходишь? Можя, Маришки моей испужалась?"

- Мать-пресвятая богородица!- воскликнула Симочка. - дык ето ж Маринка! Ну, Сроду б не узнала, если б игде-нибудь устретились! Ах, ты, дева святая! Мариночка! Кыкая ж ты барыня стала!" - она, не отрывая взгляда, пошла прямо ко мне. Я обняла ее, а она, коснув- шись руками моих бедер, засмеялась:

"Марин, а я тебе не обожму! Руки не достають!"

Мы пригласили Симочку за стол. Она присела на краешек лавки, не снимая потертой "кухвайки". Только что улыбающаяся Симочка заплакала:

"Ох, вы, детки наши! Давно ж вы бегали по вулицы, по лужам разутыми и раздетыми?! А теперича, вон какими стали!"

- Ладно, давай-ка не ряви! Не стогни! Садись-ка за стол ды выпй за устречу! - Теть Фрося подвинула соседку к столу. Мы выпили домашней "воточки"- самогонки.

- А я, ить, Марин, крепко ето кино люблю,- опять уже улыбалась Симочка. - Тама, можа ты и видела, Марин, тама в етой картина показывають бабу одну, вот уродя нас с Хроськяй, токо покрасивши ды посправнее, ну и помоложа, конешна! Вот ета баба поехала у Москву продавать сало.

- Какая сала! - вдруг, перебила соседку теть Фрося, - ни сало, а вечину!

- Ды разницы нетути! - махнула рукой Симочка. - Ну, да! Вечину домашнюю повезла. И познакомилася с шохвером. И крепко оны, уродя, понравилися друг другу. А у самом конце етого кина, она, ета баба, хотела к няму бечь на свиданку! А дверь городскую никак не открыть! Ключей, видать, не нашла у заловки своей. А ен, беднай, ие ждеть и ждеть! И усе пипикаить и пипикаить ей из машины. Крепко яму она понравилася своей простотой. Серые щелочки маленьких глаз Симочки в морщинистых, нависших веках завлажнели, а вслед за нею и я почувствовала на своих щеках соленую мокроту.

- И ты знаешь, Марин, - заканчивала свой эмоциональный монолог Симочка, - вот скоко раз уже глядела я ето кино, а кажнай раз усе думую: а, удруг, она усе-таки открыть дверь и устретица с ним. С етым шохвером, как яго, с таксистом. Вот почаму оны конец такой плохой иседелали? А, Марин?

Только Симочка да учителя называли меня правильным именем-Марина. Для всех других я была Маришкой, Маришей.

Теть Фрося ушла загонять в сарай гусей. Я угощала соседку, взяв на себя роль гостеприимной хозяйки и поражалася нашей схожести отношений и чувств к великолепному фильму "Три тополя на Плющихе". Ведь я также сильно любила его и также всякий раз переживала за печальный его финал. Мне хотелось, чтобы героиня Дорониной - Нюра встретилась с героем Олега Ефремова. В кино эти актеры замечательно сыграли прекрасные человеческие чувства, а вот в реальной жизни, особенно в тяжелый период перестройки, разделения театра, отношения этих великолепных актеров дружескими назвать очень трудно. Но я не стала все это объяснять соседке Симочке. Зачем ей все это?! Пусть в ее душе живет эта киношная иллюзия. Я же, опять и снова, ощутила себя кровно-связанной с дорогими моими брянскими бабами. Как же они близки мне и понятны! И пусть в народе более популярно высказывание: "Баба рязанская", я, не стесняясь, признаюсь и гордо произношу: "Я - брянская баба!" И пусть я вращаюсь несколько в другом мире, другом людском окружении, зачастую подстраиваясь под него, моя истинная сущность, глубоко запрятанная во мне, так и ждет своего часа, чтобы вырваться наружу и обнять, воссоединиться с самым кровным и родным.

...В распахнутой фуфайке и накинутой на голову шали, с улицы пришла возбужденная тетя Фрося.

- Во, змеи глумная! Я их у сарай, а оны нивкакую ни идут! Лапы уже поотморозили! - незлобиво кричала она на гусей.

- Ды, Хресь, ни огня им ни будить! - успокаивала тетку Симочка.

- А мы тут с Маринкой про кино балакаем.

В хате стало жарко. Соседка скинула фуфайку на лавку, села на нее. Тетя Фрося продолжала угощение. Мне же хотелось узнать про многочисленных детей Симочки, где они, как устроили судьбы. Но, особенно, интересовал меня мой одноклассник Юрка. Бабы мои стали вспоминать свою молодость, вспомнив опять, наше босоное детство и тут я спросила о судьбе Юрки.

- А ты и не знаешь?! - будто бы с испугом вскрикнула тетя Фрося и тут же тихо добавила - Ды откуль тебе знать? Нету яго, Мариша, давно.

Она обратилась к Симочке: "Ето, ж, скоко годов яго уже нетути Сим?"

Тоскливой волной окатило меня. Я не могла поверить, что Юрка погиб.

- Нет, дочичка, нет Мариночка, Юрик мой не погиб. - Симочка скорбно опустила давно уже, наверное, выплаканные глаза и продолжала тихо и спокойно.

- Вот, Марин, скоко годов служил охвицером, а смертушку принял совсем не геройскую! Залился ен у речки. Дурацкая смерть! Ето, тожа картина тыкая есть. Тихай Дон называетца. Тык вот, у етом Дану и залился Юрик мой. Служил ен тама и жилье было. Ездил я к им у гости. Баба у няго хорошая, хуть и не наша, ни брянская. Тожа как ты, "бонба", не обхватишь. И на морду красивыя. Малай один у их. Антошкой зовуть. Ну, теперича, она с другим мужиком живеть, дело молодоя, а унук, Антон етот, к нам приезжал. Хресь, помнишь?- обернулась Симочка к тетя Фросе.

- Ды помню, помню! Фулюган, каких свет не видывал! Ен, жа, Мариша, чуть гарод у мене ни угробил! Залез у закутку, выпустял оттуда поросенка и давай яго по усадьбе гонять! Усе гряды затоптали! Вот, бандит, што наделал! - тетя Фрося даже не улыбалась, видать, разор был нешуточный, но зато Симочка засмеялась громко, от души, любя и прощая все своему "сироте-унучку".

- Ды брось ты, Хресь! Ну подумаишь, беда великая! Ить ен, Антошка, свиней сроду не выдал! Антиресно яму стало! - Симочка успокоилась и опять печально и тихо продолжила - И, вот, дочичка, етот самай ихняй Тихай Дон. Речка с виду, уродя, и правда тихая, медленно текеть. А когды я зашла у няго, то волны ети бягуть как сумасшедшии. Я хотела сполоснутца у бережку, не успела оглянутца, а мене уже понесло от етого берега. Еле выка - рабкалась! Вот и Юрик так-та! Отдыхали у выходныя. Ну, выпили тожа. И ен, уродя,

как на спор, поплыл к какому-та востровку. И уже когда назад плыл, оборачивался, штой-та случилася у яго с сердцем.

Выловили уже далеко. Вот, так-та, моя дочичка.

Я заплакала, а пережившая и переплакавшая все Симочка стала меня уговаривать:

"Не плачь, Мариночка! Ничаго теперя ни исделать! Был ба ен к берегу поближа, хуть ба оборку какую кинули, подтащили. Можа ба, и спасли. А ен, кык раз посряди етого Дону. Я теперь и кино это не гляжу! Прямо сразу болеть начинаю. Вот тебе и "Тихай Дон"!

Теть Фрося обратилась к соседке:

"Ты, Сим, Расскажи-ка лучше Марише, как тебе вещевало перед этой бядой."

Симочка протерла сухие глаза и, оживляясь, начала:

"Ты, Марин, можа и не поверишь, но, вот, прямо перед етым появился у нас, у хате новай жилец. По ночам стал какой-та скрежет. Мы с батяй ничаго не поймем. Стали усе обглядывать и тут увидели нырку. (нора) Дык ета нырка тыкая интересная, выпиленная у хвормя хреста. Вот, прямо, настоящий хрест. (крест) Стали мы караулить, стеречь у нырки. Ничаго нету! А толька ляжем спать - опять штой-та шебуршить. Батя узял ды ие и заделал. Дык ты не поверишь! Дня через два у другом углу хаты тыкая же лазейка дырка. И опять, будто, хрест. Тут-то и нам стало не по себе. И навалилася, дочичка, на mine тыкая тоска, тыкая тоска! Вот, тошно и сердцу, и души. Прямо, болить усе унутри, вот тебе и усе! А через неделю телеграмму принясли. Батя хоронить ездил, а я свалилася. За самой ходили мои девки".

Симочка замолчала. Теть Фрося потихоньку убирала со стола, собираясь поставить телевизор.

- Ды, ладно, Хрось, кино давно кончился. Зато я Маринку поглядела. Молодец, доча, шту не забываишь нас, горемык. Пойду-ка я, а то уже глаз выколи, темень стоить!

Да, мы и не успели заметить, как пролетел короткий зимний денек и опустился вечер. Я вышла проводить Симочку, запинаясь в темных сенях, но соседка сама вела меня за руку, зная здесь все наощупь.

- Ох, Хроськя! Ну ты и экономист! У сенцах свет отключила!

- Ды какой там отключила?- из раскрытых дверей в хату закричала теть Фрося.

- Тожа твоего Васьюку жду когда приедить. Пусть поглядить мою проводку у сенцах. Штой-та тама замыкаить!

Мы с Симочкой осторожно спустились с крыльца. Светилось лишь несколько огоньков. Тишина стояла звенящая.

- Марин, а зайдём к нам! Отец наш уже на печке наверно. Крепко ты хорошая девка и я хочу тебе угостить.

- Ой, нет-нет, теть Симочка! Сколько можно? В меня уже не лезет! Спасибочки-спасибочки вам!

Маленькую фигурку соседки поглотили густые темно-фиолетовые сумерки. Небо было беззвездно, и полное безмолвие окружало меня.

- Маришка, ты што? Иди у хату, а то замерзнешь! - тетя Фрося осветила современным фонариком забитые и забытые напротив хаты бывших соседей, вырвав из зимней полутьмы покосившиеся сараи и крылечки.

Мы вернулись в хату. На столе красовался-говорил телевизор.

- Хочешь, Мариш, глядеть, так гляди! - сказала мне тетя Фрося.

- А я штой-та заморилася. Цельной день на ногах, а оны уже и не держуть!

- Ты еще молодчина, тетя Фрося! Мне до этих лет и не дожить наверное! - сказала я. - И мне тоже спать захотелось. Наверное и я улягнусь!

Тетя Фрося, не торопясь, разобрала свою нарядную высоко-пышную постель. Любовно сняла она расшитое цветными узорами покрывало, сбросила с подушек тонкие, изящные накидки и, приоткрыв большой белый конверт пододеяльника с богатым верблюжьим одеялом, крикнула мне: "Готово! Залезай!" Провалившись в мягкую перину, я мгновенно провалилась в свое детство - настолько ярко, явственно, всем существом своим ощутила давно знакомые и совсем не забытые запахи тети Фросиной постели.

Укутанной в ее пышность, мне стало жарко. Я отбросила одеяло. Сама хозяйка залезла на печку, еще с утра хранящую тепло. Нам не спалось. Я слышала как с боку на бок ворочается тетя Фрося. Казалось, что-то мучает ее, что-то осталось недоговоренным.

- Мариш! Ты не спишь? - Подала голос тетя Фрося.

Я улыбнулась в уютной темноте и теплоте хаты складной рифме-вопросу.

- Да что-то тоже никак! А вроде так хотелось!

- А ето на новом месте! Приснись жаних невесте! - Опять складно сказала тетя Фрося.

- Мариш! Усе хочу тебе спросить: а как жа етот Жорик, с которым ты у мене была? Щаго ты одна приехала? Неужели разошлись?

- А мы, тетя Фрось, и не сходились! И не Жорик он, а Гоша. Гоша-Галоша! Не получилось у нас, дорогая тетушка.

- А, шаго? Можя, ен тебе бил?

Я засмеялась: "Еще чего! Нет уж, до этого дело не дошло. Уж этого бы я не допустила!

- Мариш! А, можя, ты и зря не попыталась жисть наладить?

- Пыталась, пыталась, тетя Фрося. Целых восемь лет притирались, ды так и отлетели друг от друга, как будто этого только и ждали! Ты ж, тетя Фрось, одна усю жисть прожила - и ничего! Слава

богу, все нормально!" - я почему-то разволновалась и, поэтому, сразу перешла на родной язык детства язык-выговор.

- Дык, што я?! Мне, Мариш, у молодости ни вязло, хуть тоды и покрасивши была. И то помню: мать твоя скажет бувальча: ох, и страшная ты Хроськя у нас! Прямо, страшной атомной войны! И у кого ты тыкая уродилася? У нашей природы таких страшных не было. А ты, Мариш, думьешь мне ето не обидна? Ладно, она красивая была, а шту толку? Уско жисть с твоим батяй промучилась и сгнила уже давно.

Больно резанули эти слова меня по сердцу, но я молчала.

- Ты, Маришечка, только не обижайся, ладно? Ето дело уже прошлое. Оно, конечно, с хорошим мужуком жить легче, а иде их узять? Попадались и мне, дык, если нетути доли, то хуть што делай. И никто ни подмогнетъ: ни господь-бог, ни родная матка.

... Родная матка, бабка Акулина, аж три раза пыталась "сплавить" свою дочку, свою Хросечку замуж, но ни одной попытке не дано было увенчаться долгожданной свадьбой. Сейчас, конечно, я понимала обиду тетя Фроси, но и чувствовала, видела искреннюю простоту матери, которая, как известно по пословице, бывает "хуже воровства". Действительно, даже приблизительно назвать "нашу Хросечку" красивой, было бы далеко неверно. Крупноватые, крутые скулы в сочетании с узенькой полоской лба да еще широкий рот с чуть выступающей вперед челюстью создавали, на первый взгляд, весьма непривлекательный облик. И только карие глаза, открытые всему миру, лучащиеся добрым, ласковым светом, удивляя таким необычным соседством с другими чертами, притягивали к себе. Как-то в детстве, я услышала в деревне, что кто-то нашу Хросечку назвал "боговой невестой". Я возьми у нее да и спроси: "А когда у тебя свадьба будет с Боговым?" помню, тетя Фрося рассмеялась, а еще живая бабка Кулина со вздохом сожаления и огорчения произнесла: "Кыкая, к удару, свадьба... Она типерь ни богу свечка, ни черту кочерга!"

... В первый раз приехали сваты из соседней деревни, прослышав, что есть девка-перестарок. "Перестарку" едва стукнуло двадцать два годочка. Мать, бабка Кулина, всячески расхваливала перед сватами свою девку:

"Она ж у мне тыкая рукодельница, тыкая мастерица! Нихто так рушники не вышиваить, как наша Хросечка. Руки у ней золотыя! Ну, а чту на морду некрасовитыя, то, ить, и у вас жаних - не артист! - отчаивалась на смелость бабка Кулина.

- А уж кыкая она чистюля! По всей деревни такой ни найдитя!

Сваты оценивающе глядели на набычившуюся невесту, деланно-торговались, сомневались:

"Дажа не знаим што и делать! Крепка она росточком маловата, Совсем на бабу не похожа!"

Что и говорить, не удалась невеста не только лицом, но и ростом. Их же "товар-купец" стоял тут же и был рыжеволосым, худеньким да еще с покалеченной рукою, висевшей плетью. Тут уж дефект налицо! И еще ломаются, торгуются. Мать принималась опять доказывать преимущества дочери, а Хросечка срывалась из хаты, убежала далеко за деревню, пока несли ноги, а потом падала, валилась в заросли седой полыни и задыхалась горючими слезами, смешанными с полынной горечью. Хросечка не считала себя убогой, не хотела замуж без любви и лютой ненавистью ненавидела всех этих сватов. Но ее все-таки "пропили". Состоялся, по обычаю, так называемый "запой", где две стороны договариваются о свадьбе. Запалакнутую невесту увезли в соседнюю деревню, познакомиться с будущей родней. Через два дня Хросечка уже сидела у себя в огороде, скрываясь в картофельной ботве, откуда за виски ее и вытащила бабка Акулина.

Приезжал несостоявшийся мужик, звал Хросечку обратно, называя несмело женою, но тут "молодая" проявила норов:

"Кыкая я табе жена, рыжий тырыкан?! Свадьбы жа не было и не будить! А бабой мне ты не сделал - силов не хватило! Так шту - я девка нетронутая!"

"Нетронутую девку" через некоторое время посватали из "самого городу". Через каких-то дальних родственников. Да и сам жених происходил из далекого колена родства. Мужик был уже в возрасте и, по разговорам деревенских, был "крепко вумным".

- Этот мужик, бабы, хуть и ни блястить крысотой, зато рассуждать прямо интересно. Ен говорить, шту яму ета крысота не нужна, шту человек должен быть унутриння красив. Поняли? А насчет родства говорить, шту мы усе ветки одного дерева, усе братья и сестры.

Тут бабы начинали смеяться:

"Уж этот брат сястру Хросечку уломаить! Ён с ней цацкаца ни будить! Быстро прибереть ие к рукам! И уже из городу она ни убягить!"

На этот раз Хросечка была удивительно спокойна. Неужели смирилась со своей незавидной участью?! Никто не знал, что зрело в ее голове. Она согласилась съездить с будущим мужем в город, вроде как посмотреть только что достроенный новый дом. Обрадованная внезапной переменой в дочери, бабка Кулина заторопилась гнать самогонку, такую "идреную, шту горить хуть у ложки, хуть на газете". Уже были оповещены гости, но ровно через неделю в хату забежал запыхавшийся бригадир Тихон и с порога затараторил:

"Усе, баб! Свадьба, видать, опять откладываетца! Ох, Хроскя-Хроскя, никак не дает выпить стаканчик за ее новую, брачную жизнь! Шурить домой пешедралом! Одна! Я сначала глазам своим не поверил, - Тихон раздухарился, и дальше бы выкрикивал свое удивление,

но увидев, как изменилась в лице бабка Акулина, приостановился, и вроде как растерянно, уже спокойно, сказал:

- Иди, баб, устрейвай свою богову невесту!

У бабки Кулины опустились руки, а в ноги и спину "уступило". Она не могла поверить: "неужели и из городу убегла, от такого-то мужика, от богатого дому?"

Запыленная, с разутых ног до всклокоченной головы, Хросечка заявила в хату решительно и смело:

"Усе, мам! Город поглядела и хватить! И больше, штуба, никаких запоев! Я табе, мам, сразу говорю: еще раз придуть сваты, я удавлю. Вот и думай!"

У Хросечки всклокоченным был не только внешний вид, всклокоченно билось, горело все ее нутро: и душа, и сердце, и мысли.

Мать обомлела. Глядела на дочку, не узнавая ее. И испугалась. И зареклась сватать.

А через весну Хросечка влюбилась. И была это любовь на всю жизнь. Да и как в него было не влюбиться?! Первый парень на деревне и живущий рядом с ней! В кучерявого, ясноглазого, веселого Шурика были влюблены все девки. Но если у девок были хоть какие-то шансы стать счастливыми, то у Хросечки - никаких! Но она все равно была счастлива своим первым, горячим, хотя и безответным чувством. Она страдала, мучилась, коротая бессонные ночи...и была счастлива. Шурик давно пришел из армии, но все не женился. Перегулял со всеми девками. Кроме Хросечки, конечно. А она иной раз стояла до "самого свету" в ласковой майской ночи, поджидая, когда, насвистывая, пройдет сосед Шурик с очередного провожания. К Хросечке он относился как к соседке, и не более того. Хотя уж никак не мог не заметить ее интереса к нему. Женился Шурик по зиме. Как раз под Новый год. Гуляла-бушевала свадьба. Были приглашены и Хросечка с матерью, и даже теперь городской брат Степан. Но Хросечка ушла за деревню, чтобы не слышать веселья и счастья в соседской хате. И навсегда запомнила она предвечернее необычное зарево. А, может, это было предзнаменье? Ей хотелось в это верить.

Широченная полоса небесного свода полыхала всеми насыщенными земными красками, переходящими в различные тона, полутона, многочисленные оттенки. Багрово-багряный цвет расплылся до нежно-розового; темно-синий, сгущающийся до черноты, плавно переходил в тончайшую голубую расцветку, окаймленную сиреневым опереньем. Весь этот сложный колер подсвечивался снизу уходящим закатным солнцем. Хросечка оторопела, даже испугалась такого невиданного небесного зрелища. Распахнутыми глазами, в замерзающих льдинках слез на ресницах, смотрела она зарево, причудливую картину сияющих красок и никак не могла оторваться.

Это чудное вечернее небо притягивало ее и, как будто успокаивало. Солнце село, и в одно мгновение разноцветная полоса стала меняться и тускнеть. В хату Хросечка вернулась совсем продрогшей. Мельком взглянув в зеркало, увидела до боли некрасивое лицо со вспухшими, обветренными, искусанными в кровь губами. И что-то сдвинулось внутри. Все! Хватит плакать и страдать! Хватит терпеть насмешки матери и соседей! Она теперь не даст себя в обиду и жить будет по-другому. Эта вечерняя заря влила в нее какие-то, доселе невиданные силы, зарядила ее решимостью, смелостью, верою и надеждой. И еще любовью! Да любовь останется в ней и будет жить с нею до конца!

И Хросечка "с головой" ушла в работу. На ферме, где работала дояркой, дополнительно взяла себе еще группу коров. Но что это была за группа?! Двенадцать худых, истерзанных вечным недокормом по вине пьянства их бывшей хозяйки Райки, грязных, с висящими по бокам и внизу, на пузе, колтунами, несчастных коров. Хросечка не вылезала из коровника: мыла-намывала хилые вымя коров и во всю матушку ругала-костерила Райку. Целую неделю та могла не выходить на работу, и голодных животных обихаживали другие доярки. Сейчас её перевели работать скотницей. Тут же. Она чистила коровник, но и здесь ей уже грозило увольнение.

- Гнать у шею нада таких работников! - громко возмущалась сидящая под коровой незаметная Хросечка. Совсем рядом стояла, возвышалась мощная, как монумент, широкозадая и широкомордая Райка-скотница. Бабы подшучивали:

"Гляди, Хрось, доразаряешься! Пырнеть вилами у бок, дажа и пикнуть не успеешь!"

Но бесстрашная Хросечка продолжала поносить Райку. Та ухмылялась:

"Сама и чисти! Я к твоим дажа не подойду!"

Хросечка сама и убиралась в своих двух группах. И совсем через небольшое время этих коровушек было не узнать! Чистые, ухоженные, посправневшие они давали самый большой надой. Хросечка выбилась в передовики. Бабка Кулина опять воспряла желанием устроить судьбу дочери. Случилась еще одна попытка свадьбы. Но теперь это была другая Хросечка. Уважаемая Ефросинья. Маленькая, но гордая. Непримиримая ко всяким теперь нападкам, проявлением чужой воли. Работа отнимала много времени, заглушала сердечные волнения, а когда что-то начинало опять ворохаться в груди, она хваталась за любимое занятие - вышивание. Ни у кого из девок не было таких расшитых цветастыми нитками рушников, наволочек, обтяжек и накидок. Пышная постель Хросечки из отборного гусяного пуха казалась воздушной, да только утопала она в ее прохладе в гордом одиночестве. Лето Хросечка не то что не любила - она его боялась. Боялась особо-волнующих,

горячих, летних ночей, когда не спалось, а идти «на улицу» было уже неловко. Подросли другие девки - появились новые невесты. В такие ночи Хросечка особенно мучилась и торопилась лето, ждала длинную туманную осень и ясную, стылую зиму, от которой прояснялось в голове и сердце. Прохладой остужались и душа, и тело. Но именно зимой к ней неожиданно-негаданно пришло счастье. И хоть грех так говорить и думать, но это еще раз подтверждает теорию относительности. Относительно одного человека, в данном случае Хросечки - это счастье, а в отношении другого человека - наоборот. В деревне случилась беда. У красавца Шурика умерла жена. Ужасная, нелепая смерть унесла совсем молодую женщину, оставившую двоих детишек. У Аннушки, жены Шурика, разболелся живот. Шурик шоферил в колхозе, а Аннушка с маленьким сидела в декрете. Живот побаливал давно, да мало ли какие у баб женские проблемы и секреты. В этот день, уже с утра, Аннушка лежала на печке: от горячих кирпичей боль вроде бы унималась, затихала. Но внезапно стало совсем лихо и старшенький Андрейка был послан к бабке Акулине. Он ревел, было непонятно о чем говорит, но бабка разобрала, "что мамка криком кричит на печке". Когда бабка Кулина пришла к соседке, та уже сползла с печки на казенку и, белая как полотно, еле проговорила, что надо в больницу, "скорее-скорее". К хате на ЗИЛке подкатил ничего не подозревающий Шурик. Приехал на обед. Аннушку завернули в одеяло, уложили в кабину, и Шурик погнал. И трясти опасно, и медлить нельзя! Но... Затянула свою хворобу Аннушка, и гнойный аппендицит, перешедший в перитонит, погубил молодую жену и мамочку. Страшное горе потрясло всех. "Как же ен типеря с двумя дитями?" - горевали в деревне. Плакала Хросечка, не понимая такой несправедливости жизни и смерти. Она находилась "по-суседски", рядом, она первая и ступила на двор Шурика, чтобы помочь в самых необходимых, житейских делах. Шурик весь сник, не поднимал кудрявой головы, свет померк для его ясных глаз. Спасала только самогонка и его теперь все чаще и чаще видели пьяным. Отец Шурика, как и отец Хросечки, погиб на войне, большая мать жила у старшей сестры в городе, а две другие сестренки жили своими семьями в соседних деревнях. Они наезжали каждую неделю, привозили кой-какую снедь, давали советы и указания и опять улетали в свои родные гнезда. Детей Шурик им не отдавал. Хросечка все успевала: и на "хверме", и в двух, теперь, хатах. И как ловко у нее это получалось! Уходя на работу, она оставляла четырехлетнего Андрейку с бабкой Кулиной, а маленькую, полуторагодовалую Любочку брала с собой. Доила коров в постоянном напряжении, девочка сидела рядышком на маленькой лавочке - того и гляди корова хвостом смахнет; задавала корм - Любочка сидела в золотистом ворохе соломы - не дай бог, под вилы полезет! На

ночь уносила детей в соседскую хату, к папе Шурику. Бабка Кулина ругалась, плакала впричет:

"Родимыя мамушка! Эта жа што с девкой делаецца? Чужих ребят тыскаить за собою, при живом-та отце, а об своей доли дажа не кумекаить! Ох, горе-горькое, отец небеснай, за што ты мне дал такую нескладеху?"

Хросечка не обращала внимания. Жизнь ее приобрела смысл и, не признаваясь самой себе, тем более не показывая своих чувств окружающим, она впервые почувствовала себя нужной, необходимой и такой...счастливой. Да-да, она была счастлива, и мир теперь казался ей прекрасным. Ах, как сине, приветливо было высокое небо, ах, как нежно и ласково грело, обнимало ее солнце, как заворожено пели птицы и журчали весенними ночами полноводные ручьи! Какая музыка жила во всем!!! Хросечка даже самой себе казалась другой: красивой. Она, которая уже ни на что не надеялась, обделенная женской статью и красой; которая, до некоторых пор, стремглав, проносилась мимо зеркал, боясь увидеть там свое отражение и опять лишний раз огорчиться, она, вдруг, заметила за собой, что при каждом посещении соседа Шурика, тайной и несбыточной любви своей, стала останавливаться, задерживаться у прибитого на стенку зеркальца. Хросечка поправляла волосы, по-иному старалась причесать их, благо, "виски" у нее были густые и чуть даже выющиеся. Меняла платки и полушалки, что не ушло из-под зоркого ока бабки Кулины: "што-та ты, девка, заносилася к Шурику?" Однажды она вбежала в хату раскрытая, раскрасневшаяся, взволнованная и, стараясь не глядеть на Шурика, сразу бросилась к ребятишкам. Ни под каким видом не хотела она показать свою любовь! Только желание помочь ребятам и жалость к ним. Шурик только что проспался. Взъерошенный сидел у печки. Хросечка подскочила к нему:

"Ну-ка, батя, чего ты там наварил нам?"

Она не поверила ушам своим, что сейчас произнесла, а когда схватилась, доставая из печки чугунок с пшенной кашей, то эти самые уши похолодели у нее. От стыда. Ей подумалось, что Шурик поймет ее неправильно, а у нее это просто вырвалось. Она положила кашу в большую миску, забелила молоком и стала кормить Любочку и Андрейку, посадив их рядом на лавку. Сама же присела перед ними, бросив под колени какую-то тряпку. Шурик лупал, лупал на Хросечку прояснившимися глазами, да и плюхнулся сзади, обхватив ее за узенькие плечи.

- Ты такая хорошая, Хрось! И совсем не страшная, как болтають по деревне. - он ткнулся носом в ее затылок, - а виски у тебе, Хрось, так хорошо пахнуть! Ты чем голову моешь?

Андрейка ел-уплетал кашу сам, Любочку Хросечка кормила с ложки и рука ее дрожала.

- Чем усе моешь, тем и я. Толька когды споласкиваю, то усегда

туда капну декалону. - ответила Хросечка, наклонив пылающее лицо, чтобы скрыть смущение.

- Ты не уходи домой. Побудь у меня, - вдруг тихо произнес-просил Шурик. У Хросечки заколотилось сердце. "Вот оно, наконец-то! Да неужто?!" Но она, опять не подавая вида, равнодушно промямлила:

"Ладно уж. Приду послая дойки. А ты за дитяи догляди, ды не напейся!"

На ферму она прилетела на крыльях! В голове одно: "что будет?, что случится?" на этот раз Хросечка медлила. Последних коров обихаживала неторопливо.

- Ты что, Хрось, ночевать тут сегодня надумала? - удивлялись бабы-доярки.

"Ой, зря я яго от выпивки отговорила. Пусть ба был чуть-чуть выпимши. С совсем трезвым я не знаю как себя вести! Сгорю от страха и стыда!" - мучилась воображаемым вечером близости Хросечка. Дома, тайком от матери, она взяла "четверку" ("чекушку") чистой, как слеза, самогонки, сунула в карман фуфайки и подалась на "свиданку". Да, по сути - это и было ее первым свиданием, первой встречей с желанным мужчиной, который к тому же сам, о, счастье, пригласил, позвал ее. До соседской хаты было шагов двадцать, но шаги эти Хросечка осиливала долго. Нафантазировала черт знает что! То ей казалось, что Шурик, чистый, выбритый, красивый как в парнях, сидит за убранным угощением столом, ждет ее; то она представляла, как он, пьяный, валяется на печке, неубранные голодные дети ревут, мечутся по хате; последняя же мысль, что Шурик просто посмеялся и не ждет ее - поворачивала Хросечку обратно, назад. Набравшись смелости, она, все-таки, толкнула дверь, вошла в хату. Дети бросились ей навстречу. Так и есть! Теперь позору не обещаться, если он подумает, что я дура и вправду поверила и пришла. Она схватила одежду ребят, только собиралась увести их к себе, как в хату влетел Шурик.

- Вы куда ето, на ночь глядя собралися? Ну-ка, всем раздеваться! - шутивно и совсем трезво закричал он, стягивая с Хросечкиных плеч фуфайку.

...За столом сидели вчетвером. Хросечкина самогонка пришлась в пору.

- А, ведь, мы Хросечка пьем с тобою в первый раз, да? - спросил Шурик и улыбнулся, - и дай бог, чтоб ни в последний!

От выпитого Хросечка расслабилась, ей стало так хорошо, как никогда не бывало в жизни. Детей уложили спать. Она еще и еще подливала Шурику, все же стесняясь его прямого разглядыванья. А он, не отрываясь, все глядел и глядел на нее, как будто бы впервые увидел. И когда он, наконец, захмелел, Хросечка осмелела. Веселье окатило ее: хотелось смеяться и смеяться. Шурик, наверное, понял

это по-своему, по-мужички. Обнимая Хросечку он старался увести ее в сторону постели. Но та упиралась, мысленно уговаривая себя: "только не сегодня, только не в первый же раз! Пусть еще хуть чуть-чуть поухаживаить!" Молодой, горячий, похоже после смерти жены не имевший с женщиной близости, Шурик вовсе распалился. Он, как котенка, схватил Хросечку и швырнул на кровать. Весь хмель у нее тут же улетучился. Такого броска она не ожидала. Справиться со здоровым мужиком Хросечке было не под силу, да она вовсе и не пыталась... От пронзившей ее маленькое тело боли Хросечка не кричала. Терпела. И только почувствовав блаженное облегчение, а вместе с ним что-то влажное и вязкое, в коем утопала в постели, она заплакала.

- Ну ты, Хрось и даешь! Ты што, мать твою бога так! Все еще девкой была?! Тибе ж сватали двадцать раз! Неужели ни один мужик не совладал с такой-та дюймовочкой?! - растерянный Шурик моментально отрезвел.

- И ты б ни совладал, и ты б не управился, если б я тибе, дурака такого не любила!

Шурик сконфуженно повесил голову.

- Что жа делать теперя будем? Знаешь, переходи-ка ты, Хросечка, сюды, к ребятам - тихо произнес он.

- Оны ж тибе гляди, как любят!

- А ты, Шур, хуть крышечку любишь мне? - осмелилась спросить Хросечка, чуть успокоившись.

- Любишь, не любишь! Дитям ты нужна! Оны уже и привыкли к тебе, так шту сама гляди.

Хросечка встала и, уже ничего не стесняясь, скомкала кровяную простынь вместе с валявшимися в постели запачканными трусами, бросила в таз для стирки. В эту ночь Шурик ее больше не тронул. Сразу же, на другой день Хросечка не решилась перейти к нему, ведь не прошло еще года после смерти Аннушки. Когда же Шурик особо настаивал - оставалась на ночь...И в деревне заговорили по-другому! При встрече с Шуриком, посмеиваясь, интересовались:

"Шур, по деревне слух идет, шту завел ты сабе молодуху, а дитям новую мамку?"

Если Шурик был абсолютно трезв, что случалось еще редко, будто стыдясь, обрезал:

"Что вы привязались ко мне с Хросечкой?! Што, других баб штоля нетути? Зубоскальте, делать вам больше нечего, как языками чесать!"

Хорошо, слов этих не слышала Хросечка. Дома же, изрядно выпивши, чувствуя все же вину перед нею, Шурик ругался, глядя на окна и двери, будто там стояли слушатели:

"Ды вы пальца ие ни стоятя! Ды вы ей в подметки ни годитесь,

барыни-красавицы. Хросечка у mine маленька, да удаленька! Правда, Хрось? - обращался он уже к ней самой.

- Ты лучши ето усе на людях скажи, а в хята ни хорохорься! - Хросечка уже не церемонилась с Шуриком, считая его своим. А как же не своим если Хросечка округлилась, пополнела и даже похорошела. И все благодаря ему, Шурику. Но ни этому здоровяку и крикуну, хотя, конечно, его участия не отнимешь, а другому, махонькому, только что обозначившемуся в ней. Большому Шурику она вымолвить про это не смела, боясь сглазить свое счастье. Она не обращала внимания на частые его выпивки, ругань, она благодарно, благоговейно глядела на него. Конечно, он теперь свой!

Но не тут-то было! Как коршуники налетели на Хросечку сестры Шурика - Нинка с Зинкой. У них были свои планы, свои расчеты. Хросечку они не ставили ни в какой ряд: ни сбоку, ни спереди. А тут, оказывается, не только помощью благой пахнет! Тихой сапой подкралась страхолюдина к красавцу-брату и уже почти приручила. А в деревне красивых девок хоть пруд пруди! И ни одна не откажется от любви к такому вдовцу, несмотря на двух деток. Да и после войны осталось столько молодых вдов! Одна такая баба была подружкой Зинки, старшей сестры Шурика. И вот Катеньку эту и привела в хату брата Зинка. Придя с вечерней дойки Хросечка увидела яркосветящиеся окна "соседской" хаты и поняла: шумит пьянка-гулянка. Сердце ее "юкнуло", в голове тоже зашумело. Она еще подошла к задней стенке хаты, прислушалась. Хоть и громко орала песни развеселая троица, с выделяющимся басом Шурика, сердце Хросечки бухало в груди еще громче, мешая разобрать отдельные слова гуляк. Хросечка поняла, что Шурика потеряла. Но еще большей тоской ее охолонуло от сознания потери детей, Любочки и Андрейки. Кончилось ее короткое счастье. И радовала, и пугала мысль о том, что и как будет с ее родным, малюсеньким Шуриком, когда тот заявит о себе во всеуслышание.

Так и случилось, как вещала душа Хросечки. Катенька с того вечера осталась в хате Шурика. Она была бездетная, не успела родить, убили мужа на войне совсем молоденьким. Была она старше Шурика на пять лет, но блистала и покоряла своей красотой. Куда уж там, бедной Хросечке!

Шурик теперь при встрече с Хросечкой прятал глаза, еще завидев ее издалека, сворачивал за угол, а дети бежали к ней, спотыкаясь, тянули к Хросечке свои ручонки. Особенно маленькую Любочку нельзя было оторвать от хросечкиного подола. Мать же, бабка Кулина, радовалась в душе, что все так переменялось, она не пускала ребят в хату, Хросечка пропадала на работе. Уходила затемно и приходила затемно. Она взяла дополнительно еще группу новорожденных телят, ухаживала за ними. Вскоре, Шурик с Катенькой уехали из Бураковки. От боли и отчаяния Хросечка сходила с ума.

Она осунулась, похудела. Теперь все замечали ее живот. "За глаза" некоторые насмеялись над ней, но многие и жалели. А бабка Кулина даже заболела, не перенося такого "позору, шту девка принесла у подоле." Но "нетронутая девка" так и не стала матерью. Подол ее оказался пустой. Работящая, махонькая Хросечка, жадная до работы, взвалила на себя непомерную ношу и тащила ее, пока не надорвалась. Разносила пойло теляткам и тут случилось страшное. Открылось сильное кровотечение. Был уже глубокий вечер. Пока искали машину, пока собирались, Хросечка совсем ослабла, помертвела лицом и все боялась, что до районной больницы она не дотянет. Но в дробном, хилом тельце, как это ни удивительно, оказался сильный, здоровый дух. Хросечка выжила. Желанного же ребенка не спасли. И был это не маленький Шурик, а комочек-девочка, незаконнорожденная и не принятая этим белым светом, но обретшая божеское имя Александра, под коим и была предана земле. Убивалась Хросечка: "Лучше б я умерла!"

...Вот тогда-то и заполнила она возникшую пустоту и одиночество мною, подросток к тому времени племянницей, пусть даже и двоюродной. Теть Фрося этого понятия не принимала, да и не понимала. Для нее я была "доча", всегда маленькая Маришка.

Зимнее позднее утро уже размежило свои снежные морозные веки, заглянув в маленькие оттаявшие кружочки оконного стекла-ветхая хатенка теть Фроси, к удивлению, еще сохраняла тепло - а мы с хозяйкой так и не сомкнули глаз.

- Это ж, нада, Мариш! Усю ночь проговорили. Давай-ка, хуть один-два часика поспим, а то буду ходить как сонная тетеря.

Меня мучил, свербил в мозгу еще один наболевший вопрос. Мне хотелось прояснить его. Это был вопрос о трагической жизни, судьбе, любви моей матери. Никто из моих теток не могли открыто и подробно мне рассказать об этом. Может просто не хотели, а может мало чего знали. И от теть Фроси я только успела услышать:

"А, што, Мариш, об их говорить? И любов у них была. Толька дурак ен, батя ваш. Вот и усе. Дурак."

И тут же из-за цветастой ситцевой шторки раздался неожиданный-громкий храп миниатюрной хозяйки.

Поспать нам так и не дали. С утра пораньше загрохала в дверь не по росту большими подшитыми валенками соседка Симочка. Принесла мне гостинец - трехлитровую банку молока. Чуть позже прикатили на лошади мои Евгении. Вместе. Излишне веселые и говорливые. Я даже испугалась: неужели выпили?! Но потом, поняв и приняв их игру, стала также непринужденно вести себя. Как будто не произошло никакой родственной размолвки.

Теть Фрося не хотела меня отпускать; мне же так жалко стало моих Евгениев. Я обещала нашей "Хросечке", что в следующий приезд буду жить только у нее.



В гостях у Хросечки



...Уже летом сестра Женька прислала мне очень доброе письмо, с извинениями и признанием в любви и сообщила, что нашу "Хросечку" все-таки, брат Степан забрал к себе в город. Чуть ниже была приписка: номер сотового телефона.

Я тут же позвонила. Через неохватное взглядом и сознанием воздушное пространство, где-то там, в далеком родном городе, к телефону позвали тетя Фросю. Я представила, как она заволновалась, засуетилась, глядя на диковинный говорящий, блестящий мигающими цифрами электронный брусочек, совсем не похожий на обычный телефон, который видела у себя в сельсовете и магазине, к услугам которого она и прибегала всего раза три за всю жизнь.

- Да вот сюда, сюда говори! К уху, к уху приставляй! - услышала я сквозь невнятные шумы и помехи голос Степана, брата "Хросечки".

- Дык, как яго, змея, держать? Прямо к роту што-ля? А куды говорить? Ничаго не видно! - узнаваемый, неповторимый говор Хросечки достиг моего уха. Я закричала:

"Теть Фрось! Это я-Маришка! Ты меня слышишь? Это я..."

- Слышу, слышу. Усе поняла! - было понятно, что она растерялась и ей хочется, как можно быстрее освободиться от столь современного средства общения. Я продолжала кричать в телефон:

- теть Фрось! Ну как ты там? Как устроилась? По деревне не скучаешь? Я обязательно заеду к тебе! - я остановилась. Ждала ответа. В дальней дали зависла пауза. Через минуту я четко различила шепот Степана:

"Пусть приезжает. Скажи ей".

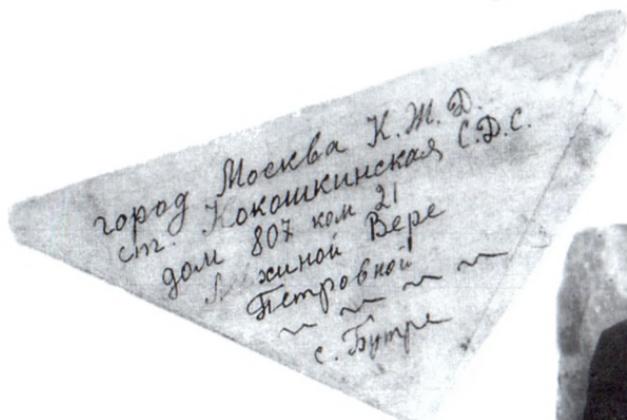
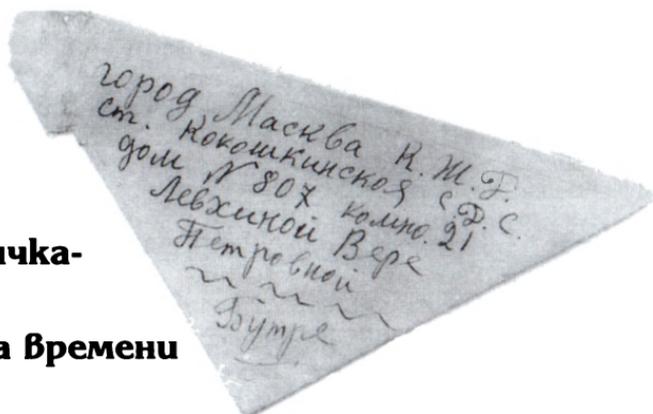
- Заезжай к нам. Степка тебе стренить. А игде ты живешь? Тута хорошо. И базар прямо рядом!

В голосе тетки я не ощутила волнующей радости, чувствовалось скрывающее присутствие рядом стоящего Степана.

Да, близость базара - вещь немаловажная для нашей Хросечки. Ей, бедной, приходилось каждый раз топать до магазина, в общем, шесть километров. Связь оборвалась. Дорогая моя, последняя тетушка! А ты ведь меня так и не узнала! Ну что ж, я позвоню еще.



**Два  
треугольничка-  
письма  
или Машина Времени**



Я бережно храню два пожелтевших, ветхих, истлевших по краям письма-треугольничка. Их я случайно обнаружила в задней стенке одного из портретов в опустевшей бабкиной хате. Несколько фотографий-карточек в портрете поддерживались, закреплялись сложенной старой газетой. Вот под этой газеткой и хранились треугольнички-реликвии. После войны тогда уже минуло девять лет, а письма шли без конвертов, сложенные треугольником.

Прошло более полувека, но в них сохранились, совсем не выцвели чернила, и я вижу и слышу мою незабвенную, тогда еще совсем молодую тетя Муру, второпях, без всяких знаков препинания, соблюдения собственных имен и заглавных букв, пишущую письмо моей матери, своей младшей сестре.

Мать завербовалась в Москву, жила на станции Кокошкино. Глядя вновь и вновь на эти бесценные треугольнички и в который раз перечитывая их, я чувствую, как торопится тетя Мура, перескакивая с мысли на мысль, боясь упустить самое главное, самое важное и, скорее всего, решающее значение для того момента.

Прочитав эти старинные листочки, я не получила полной ясности, какой добивалась у своих теток, но, все же, мои догадки нашли в них правдивое подтверждение.

Теперь мне понятно, почему злость свою отец срывал на мне, первом и старшем ребенке. Хотя он по-своему любил меня, несмотря ни на что, я, все ж, была его дочерью. Я нисколько не была похожа на него, а повзрослев, стала настоящей копией матери и давнишняя боль отца, всякий раз подогретая сивушными парами самогонки выплескивалась на меня страшной истерикой и агрессией.

Однажды я спросила у матери:

"А может, мам, я все-таки не его дочь? Может, я уже была "заложена в славном городе Москве?"

Мать ответила, грустно улыбнувшись:

"Я что же, доча, слон? Что я тебя два года носила? Ты сама посчитай: свадьба у нас с отцом была зимою 1955 года, в январе, а ты родилась осенью 1956 года. Ну и как же ты ни его?! И больше ничего не выдумывай и не вытвляй!"

Я чувствовала грусть, боль матери, но, будучи еще совсем незрелой, чего-то не допонимала.

Не понимала самой сути. А суть эта, оказывается, скрывалась в маленьких послевоенных треугольничках. Я читаю первое письмо, датированное 8 декабря 1954 года:

*"Здравствуй дорогая Вера во первых строках нашего письма мы тебе сообщаем что живы и здоровы тово и тебе желаем и передаем по чистосердечному привету от мамы Коли толи и от меня, во вторых мы тебя сообщаем что письмо мы твое получили за которое большая благодарность дорогая Вера ты в письме пишешь что*

или ехать или нет нету по подарку еть без подарок в нас все есть только хочится посмотреть тебя а в нас всего хватаит Я тебя писала насчет галош то ты их не покупай а нащет матери платья не покупай она говорить лутчи ей купи 2 стаканчика пошонца и одну селедочку и все в нас деньги есть да еше по литру масла а мы денег бережем тебе ето ни горюй и ничего не покупай нам да вера Вася ждет тебя интересна что будить Как он будит к тебе подходит сейчас он ни с кем ни ходить, а тетке Ольге хочится взять тебя в Клинское у нас хорошие ребята пришли с Армии. Вера тепер опишу как мы проводили праздник видянье очень хорошо вотки у нас было 25 поллитров вотку гнала из свеклы по 2 литры. горить ни токая как тебе присылали в гостья под виденье пришла наша Онюша с Иваном. вечером и тетка воьлга и наша тетка Прасковья, гостивали, потом Иван пошол в гости к рябому ключикову, а нас позвала тетка прос. тожа холодец и вотка потом позвала Маня Янушова в гости Ивана и Онюшку и меня пили Иван свалился танцый в клубе до упаду на другой день я позвала Томару, Мотьку Ушакову и Валю Стенину завтрикать потом Иван - Яна позвал нас с матерью и еше солдата. Мы были в гостях и танцевали до свету потом мы проводили Ивана до погоста с Валеи ни знаю как они дошли в общем хорошо... здесь не видно слов...Теперя дорога Вера я хочу завтра наивать постелки и что тепери есть тот миткаль я хочу вышоть 4 рушника пока ты приедишь а можа и просватыем тебя вот что я тебе хотела описать Вера приезжай обязательно. Я тебя буду встречать."

И приписка младшего сына тетъ Муры, нашего будущего двоюродного братишки Толика: "Няня приезжай с гетарой. Мы тебя крепко ждем и еше ждет тебя бабушка. Учусь я пока хорошо. Готовлюсь к елке, будем высту Вера крепко я жду тебя с гетарой

Толя Лукутцов"

Ох уж эта пресловутая "гетара"!

Я представила свою маму-"москвичку" с гитарой в руках в нашем захолустном селе. Какими глазами глядели на нее деревенские "ребяты"?!! А она "покрутила" и укатила в свою Москву. Она была уже другою: возвышенной и гордою, хотя в городе столичном делала самую черную работу - таскала с этажа на этаж тяжелые ведра с раствором, краской, известью. И ждала. Принца - не принца, но и неинтересный "лопух" ей был не нужен. Вот откуда идет в нас родственная последовательность поздних женитьб и замужеств! Ведь и мы, мамочка, дочки и сынки твои обзавелись семьями далеко не юными. Тоже все ждали, воображали, мечтали... И также как и ты, я приобрела гитару, и ты, моя учительница, заскорузлым, артритным пальцем зажимая лады, переборами наигрывала единственно-выученную тобой песню: "Соколовский хор у яра был когда-то знаменит, Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит!" Вот этим

"Соколовским хором" моя мамка и разбила сердце деревенского неграмотного Васи из бедной семьи. А в последствии и он разбил ее жизнь. У Васи была кличка - Гама. Маленький Вася хотел есть и просил: "Гам, гам, гам..." Так что кличка эта была основана на постоянном в тридцатые годы голоде. В детстве я не знала "подноготной" этого прозвища отца и даже гордилась схожестью с именем великого мореплавателя Васко да Гама. Совпадало даже имя - Васька - Васко! Но все оказалось намного прозаичнее. И трагичнее. Второй треугольничек написан 20 декабря этого же, 1954 года. Получается, развитие событий умещалось в совсем небольшой отрезок времени. Опять же, без всякого соблюдения знаков и собственных имен, тетя Мура пишет отгостившей и уехавшей моей матери: *"Здравствуй дорогая сестрица Вера. Разреши передать свой чистосердечный привет от мамы, Коли, Толи, а также и от меня. Дорогая сестра Вера, ни ожидавши от тебя письмо я тебе хочу сообщить как же мы живем. Мы Вера живем хорошо, но я, Вера, хочу сообщить Вера ты тама вера, а про тебя тута по всей деревне слух идет открыто говорить что ждет веру Гама и теля говорить, что чу ба на рожество запой, одни истратки будуть. Я вера получила два литра масла и мне при всех и мосеевский были, и она говорить Мура, береги масла скоро у вас запой. ето говорила Вера Паничева и вот он сей час ни с кем ни ходить наверно ждет тебя. Вера я уже вышиваю урушника, если пойдеш замуж за Васю то обязательно привези себе найди на вокны тюли, а то здес нет и миткалю и ниток расшивных ни миллиона есть люди привезли но Вера если денегнет то абы на дорогу. если в мани или в кого рублей 50 возьми в заемы а приедешь отошлем у меня денег есть то пожалуста а то тебя ждуть я гоноу вотку ждем тебя с нетерпением тока отбей телеграмму и мой Коля стренить тебя или я вот я хочу что сообщить скорей если хочешь выходить тута то старайся насчет тюли а то нада накидку на постел можа тута найдем вот что хотела описать а я пока людям отвечаю болобы дела все будить и масла и все будить. вот и все затем досвидание остаюся жива и здорова еще по привету от мамы Коли и Толи а также и от меня*

*досвидания Мура."*

Два письма в один месяц. Ясно, что все было непросто. И можно понять тетя Муру, оставшуюся после войны с двумя маленькими сынами, беспокоившуюся за судьбу младшей сестренки, явно "засидевшейся в девках". Не остаться бы красавице-москвичке вековухой! Матери уже было двадцать семь лет. По деревенским меркам это очень много. И уже опасно! Потому в письмах искреннее желание устроить ее судьбу. И так ясно и четко чувствуется необходимость в торопливости событий.

Незамысловатое, по-житейски простое содержание этих письменных треугольников дорисовали мне тогдашний облик, душу, ха-

рактир матери. Ах, бедная, бедная моя мама! Как хотелось ей жить иначе, вырваться из серой, будничной, деревенской жизни. Ей хотелось праздника! Жизнь же повернула по-своему и вернула мечтательную девку "на круги своя". Мать покинула Москву и вышла замуж за Васю, который, кстати, был моложе ее на четыре года. Молодые стали жить в хате мужа. К своей невестке свекровь и свекор относились до странного равнодушно. Можно сказать, с холодком. Мне мать рассказывала, как в какой-то престольный праздник в хате было полно гостей. Пили, ели - потом петь захотели. Мать все это время находилась в чулане, качала люльку, в которой я никак не засыпала. Тут кто-то вспомнил про нее и закричал: "Вер, иди-ка, запой нам песню!" А у "Верки" с утра маковой росинки во рту не было. Мать вышла к гостям. От обилия угощенья на столе у нее, голодной, свело скулы, а вместо запрошенной песни из перехваченного спазмом горла чуть не вырвались горькие рыдания. Потом "молодые" купили маленькую избушку-хатенку, где одна за другой появились мои сестры. Уже тогда отец начал "шуметь", и мы, по ночам, прятались в сарае. Однажды, он ушел в соседнюю деревню, делать крышу какой-то молодой бабенке, да так и остался было под этой крышей. Целый месяц его не было дома. Зареванная мать уговаривала старшего сына тетя Муры Колю сходить в ту деревню и вернуть отца. Коля взял с собою и Толика, младшего братца своего. И ведь привели-таки ребятки дядю Васю! Некоторое время он был притихшим и добрым. Таскал на плечах младших сестер моих, Томку и Галку. Я же, четырехлетняя - была уже большая и в подобных ласках, по его мнению, не нуждалась.

Вскоре началось все по-прежнему. Я не понимала частых ссор, упреков, пьянства. Позже думала, как мать могла связать свою жизнь с ним?! Разве он был парой ей, закончившей семилетку и считающейся уже довольно образованной?! Конечно, парень Вася был красивый и полный. Видать, постарался за свое голодное детство. Его откормила советская армия, хотя очень удивительно, что его туда взяли. Вася был совершенно безграмотным. По вине своей семьи, которая видела в мальчике только работника-пастуха, и не более того. Ну так Вася всю жизнь пастухом и отмантулил! И разве о таком парне мечтала, такого выжидала моя мамка, высиживая в "девках" до стольких-то годов?! Хотя теперь понятно, что сидя "в девках" она уже не была девкой, девушкой, девочкой-целомудренницей. А настоящий мужчина-принц никак не шел ей навстречу. И тогда, подогнанная письмами старшей сестры, она решила: значит - Судьба! Значит, Вася и есть ее та самая пара! Ей думалось, что любивший ее деревенский, неграмотный парень не будет никогда укорять, упрекать ее за горячую, романтическую юность-молодость. Ведь Вася чуть не повесился, удавился, когда услышал нежелание отца-матери брать в хату красавицу-москвичку.



Мура и Маня. Им по 25.



теть Мура и теть Маня.  
Уже - по 50.

Пришлось же моей мамочке за столь опрометчивое вольнодумие всю дальнейшую супружескую жизнь расплачиваться за свой грех. А уж как она его отработывала, отлюбливала, замаливала! Мягкой постелкой стелилась отцу под ноги. И куда улетела, проюкнула любовь его, едва захватил он в плен мою бедную мамку. Помню, он и меня злобно обзывал: "Мысква!" Но это было гораздо позже. Уже тогда, в детстве, я чувствовала холодок между матерью и тетью Мурой. Может, напрасно старшая сестра торопила младшую со свадьбой и звала ее, мечтая посватать за Васю? Теперь-то ясно, что это так. Значит, все-таки знала тетя Мура мамкину тайну и боль! И я теперь понимаю обиду матери. Чем больше мать выслуживалась перед отцом, тем больше становилась виноватее! Отец ругался, дрался - "шумел", как говорят у нас в деревне, а выйдя на улицу, как ни в чем не бывало разговаривал, смеялся с соседями. "Шутил". Хоть шутки у безграмотного, но высокомерного отца были плоскими и глупыми. И смеялся над ними только он. Сам с собой. Мать изо всех сил старалась сохранить в доме мало-мальски мирную, уютную обстановку. Я поражалась мягкости ее характера, считала её слабой. Сама же, будучи замужем и имея ребенка, сохраняя, оберегая свою семью, я заметила, что повторяю свою мамку. Я также была готова на все, чтобы моему мужу, моей семье было хорошо и удобно. Запомнилось два и смешных, и горьких случая. Во времена начавшейся перестройки и бытность всяческих бумажных талонов, я бежала по залитому солнцем тротуару и увидела валяющуюся

целую неискуренную сигарету. Стыдливо оглянувшись по сторонам, я подобрала ее, так как моему мужу никак не хватала курева по этим талонам. А целая сигарета для него - это же столько дополнительной радости и удовольствия! (И сколько-то загубленного здоровья, о чем в молодые лета не думаешь.)

Через некоторое время этот тротуар залили расплавленной мастикой, для укладки нового асфальта, и моего дорого пьяного мужа угораздило по нему прогуляться. Домой он пришел босиком. Сдернув с него заляпанные носки, я по "горячим следам", гудронным отпечаткам побежала за "утопленными" туфлями. Мне было жалко терять обувь. Это были настоящие югославские туфли, с трудом приобретенные мною для несчастного мужа. Хотя, кто из нас несчастный - вопрос спорный. Светло-коричневые ботинки из натуральной кожи, стоявшие в гордом одиночестве, я увидела издалека. По обновленному, залитому горячим гудроном тротуару пройти больше, кроме моего ничего не видящего мужа, никто не решился.

Опять же поглядев по сторонам на беспечно шагающий трезвый народ, я, нарочито-вызывающе (для своей же смелости) бросила под ноги газеты, прихваченные мною. Одну, другую, третью... десятую и, наконец, я у цели. Едва вытянула, выдернула обувь из уже "схватившейся", подсохшей мастики.

Вот этих два "тротуарных" случая (почему-то мелькает мысль назвать их траурными), казалось бы, показывают мою слабхарактерность и мягкотелость. Неимение малейшей гордости! Нет, это совершенно не так. Прежде всего - это человеческое понимание, участие и доброта. Вот они, великие ипостаси, несущие и счастье, и (что обидно и несправедливо) несчастье, объединяющие меня с матерью. Оказывается, наследственный ген не только хранит, передает характер человека, его привычки, достоинства и недостатки - он еще и предопределяет повторную жизнь последующего наследователя! Ведь по сути я - это моя мама! Моя жизнь - почти полный повтор ее. Слава богу, без трагического конца, хотя никто не знает, каков он будет, тот финал, причал жизни.

...Из забитой деревни романтическая мама уехала на стройки социализма. По вербовке. Я - представитель нового поколения, также укатила возводить народные стройки века - БАМ и КАМАЗ. Только грубоватое и прозаичное слово вербовка было заменено на современное, идейно-высокое - "комсомольская путевка". Прослеживается сходство начала нашего жизненного пути. Я, также как и мама, ждала своего Грзя на алых парусах, а замуж вышла за простого деревенского парня. Не очень начитанного, но доброго душой. Отличие в одном: я вышла замуж в "срок" и не за земляка. Хотя очень могла припоздниться, но слишком красив был пензенский морячок, судьба которого сильно тронула меня, и была очень сходна с моею...

...Читая-перечитывая неровные, с ошибками, строки моих драгоценных треугольников, я вижу и слышу всем сердцем, всей душой самых родных, дорогих мне людей - мамку и тетя Муру. Мой природный, совершенный мозг-компьютер зримо и явственно воспроизводит их говор, их улыбки, их движения, их грусть-печаль и незатейливую радость. Я слышу, чувствую, ощущаю их; они живут во мне, ведут меня по жизни и помогают мне. И я удивляюсь все большей похожести на них. Я замечаю, что походка моя и манеры - мамкины; передалась даже (о, чудо!) ее привычка из старого платья делать юбку. Она отрезала верхнюю часть платья, так как появляющееся потомство, непременно вскармливаемое грудным молочком, влияло на изменение ее груди в сторону пышности, и лиф платья становился тесным. Нижняя часть платья подшивалась в поясе, продевалась резинка и - новый наряд - юбка - был готов! Господь не одарил меня большим деторождением, но грудь моя не уступала мамкиной, и привычка таким образом делать юбки сохранилась и передалась мне.

Со стороны тетушки Муры наследственность проявилась в более серьезном плане. Как сейчас помню, она всю жизнь страдала заболеванием суставов; особенно донимала ее коленка левой ноги. Уж каких только мазей-втираний не делала она! Никакого облегчения! Но с юмором была моя тетка! Скажет бывало: "Только говна еще не прикладывала к ней. Вот намажу и если не поможет, пусть ваш отец оторвет эту коленку у меня и кинет на болото!" С возрастом и я почувствовала изменения и боль в суставах. Они то и напоминают мне о возрасте, который я не воспринимаю и в который не хочу верить.

"Мне сегодня сорок девять,  
Завтра будет - пятьдесят!  
Так не хочется мне верить  
В старость, коею грозят.  
Как не хочется признаться,  
Что уже не молода,  
Думала, что девятнадцать  
Будет мне всегда, всегда..."

А самое главное, что осталось во мне от всей нашей "природы", как говорят на Брянщине, с ударением на первом слого - это желание со всеми быть в ладу. И хоть я совершенно не верю в гороскопы, но мой знак Весы соответствует моей натуре.

...Для меня сохранившиеся письма - это маленькие треугольные окошки в прошлое, куда я заглянула, встретила с молодыми родными. Это -своеобразная машина времени, перенесшая меня туда, где меня еще не существовало, но запрограммированно шла подготовка к моему появлению. На старой карточке мать, беременная мною, в окружении тетя Муры, отца и дядя Мити. Исхудавшая, с

измученным, некрасивым от пигментации лицом, которую она почему-то называла лягушкой. Эта "лягушка" потом сопровождала все беременности матери. Передалась она и мне. Беременная единственным сыном, я обижалась, когда кто-нибудь глядя на мои скулы в коричневых пигментационных пятнах, радостно удивлялся: "Надо же! Будущая доченька всю красоту мамочкину забрала!" Мне же радостно не было от таких высказываний. И не из-за "попорченного" лица, а из-за "доченьки". Я хотела и ждала только сына! Так и получилось.

На фотографии у матери такие грустные глаза! А я уже живу в ней, дышу ее воздухом, питаюсь ее соками, совершенствуюсь невидимым телцем, связанная с родимой мамой неразрывными кровными узлами.

Коль я попала, села в Машину Времени - этакую "притчу во языцех" - перенесшую меня в прошлое, хочу тут же рассказать о машине времени, перенесшую меня в будущее.

...С моими одноклассниками районной школы, с которыми я училась в девятом-десятом классах, я не виделась более тридцати лет. Так уж вышло! Приезжая в отпуск, я находилась, в основном, в родном селе, у своей живой еще тогда, незабвенной теть Муры. В район же наезжала по случаю. Этим случаем для меня, главным образом, была надежда на встречу с кем-то из "городских" одноклассников. Многие из них, в романтическом духе того времени, как и я, разлетелись по всей нашей необъятной и неделимой тогда Родине. Лишь некоторые обитали в "родных палестинах". Но и их не удавалось мне увидеть. Признаюсь, по молодости я, как-то не особо задумывалась об этих встречах. Конечно, хотелось видеть кого-то больше, кого-то меньше. Примешивались какие-то человеческие амбиции: кто-то чего-то достиг, кто-то живет не так, а ты, вроде, как другая, отчужденная. Но пришла пора, когда все это стало казаться несущественным и совсем не главным!

Мне захотелось увидеться.

Здесь я должна чуть притормозить Машину Времени и одним колеси-



Две сестрички. Так различны!  
Боже! Откуда у меня, малышки (я стою), такой не по-детски печальный, грустный взгляд?!



Двоюродный брат Толик, недовольный (заставили!) держит меня и сестренку Томочку

Я - в десятом классе, Томочка - в восьмом



ком повернуться к той прошлой школьной жизни моей. Из всех десятиклассников нового класса, особенно тепло и просто приняли меня три девчонки. Меня, смешную наивную деревенскую девочку с чистыми, возвышенными мечтами о будущей жизни. И еще один мальчик, сидевший позади меня и во время уроков раскачивающий мой стул. Кстати, удивительно, что уже в то, юное свое время, этот мальчик к жизни относился реалистически и, поняв мою романтическую душу, с небольшим сарказмом предлагал сбросить розовые очки и не ломиться в открытую дверь. И это в семнадцать лет! Разве носят в этом возрасте другие очки? Наверное, он был прав, и в дальнейшем жизнь его не била, не удивляла и не ...восхищала. Мне очень хотелось встретиться с ним. Первая из девочек, Лара Минина, приглашала меня к себе в гости, наверняка, рассказав о новенькой своей маме. Мама Ларочки так заботливо хлопотала возле меня, так настойчиво угощала, что от такой доброты и щедрости мне до слез стало жалко себя: одинокую и несчастную. Но настаивать на обеде и не надо было! В те растущие годы у меня был отменный аппетит; я вечно чувствовала себя голодной, а вкуснящий красный борщ со сметаной, поданный мамой Ларочки, я не забывала никогда. Удивительно, но в моей родной деревне почему-то не выращивали красную свеклу и не варили таких вкусных борщей. Только белую, кормовую - для скота, так называемый бурак. Варили лишь свекольник из ботвы этого бурака. Еще запомнился у Мининых большой белый рояль, стоявший в хорошо обставленной комнате. Несмотря на кажущееся богатым убранство и сытое существование, меня поразила и удивила человеческая доброта и простота, искреннее желание помочь почти незнакомой девочке, ибо такого сочетания, зачастую, не бывает.

Еще и еще я бывала в добродушной, хлебосольной семье Ларочки Мининой и чувствовала себя уже свободной, незажатой, даже смелой.

Другая девочка, тихая, скромная и милая, с соответствующим именем Мила была одной из трех дочерей прекрасной, интеллигентной учительской четы Фесиковых. Мила Фесикова относилась ко мне тепло и сердечно. Обладая тонким, мягким юмором, она иногда подшучивала надо мной, но это было не обидно. Потому что умно. Я очень уважала ее родителей. Клавдия Петровна вела у нас алгебру и геометрию. Никогда я не видела ее раздраженной и несдержанной. Хотя наши тупые головы наверняка могли ее вывести из себя. Спокойно, чуть улыбаясь, она вновь и вновь объясняла непонятное, иногда подолгу задерживаясь в классе.

Точно таким же был Юрий Константинович, ее муж, преподаватель физики. Сокращенно, мы называли его "Юрик". Доброта и мягкость характера на уроках явно были не в его пользу. Иногда

класс вел себя шумно и дерзко, несмотря на просьбы учителя о тишине. "Юрик" спокойно переждал, и снисходительная улыбка блуждала на его губах.

Я читала ее: "Дурачки вы маленькие! И ничего-то вы еще не знаете, не понимаете! Посмотрим, посмотрим, что будет дальше..."

Мне было неловко перед ним, жалко учителя и, не выдерживая, я вскакивала с места: "Да прекратите же вы! Сколько можно?"

Класс мгновенно затихал от удивления за мой неожиданный вскрик, в классе наступала покаянная, стыдливая тишина.

Жило семейство Фесиковых в уютном, деревянном доме. Я любила бывать у них, и когда Мила меня звала в гости, бежала с радостью. Может, их большой, доброжелательный, великодушный дом напоминал мне о моем, так во многом непохожем на него.

С третьей девочкой, Галкой Сенниковой мы целый год вместе ходили в школу. Она жила недалеко от моей тети, у которой я квартировала. Галка была маленькая, худенькая, похожая на "третьеклашку". Я же - высокая, плотненькая, выглядевшая явно старше своих лет. Ее мама смеялась над нашей девичьей парой, называя "Пат и Паташон", но очень радовалась нашей чистой дружбе.

Так вот, в первую очередь мне хотелось увидеть именно этих дорогих сердцу девчонок.

На зов моего ждущего сердца первой откликнулась Ларочка Мина, носившая сейчас, конечно, другую, мужнину фамилию. Но и в дальнейшем, при встрече, мы обращались друг к другу по прежним, девичьим фамилиям.

Какими-то путями она вычислила меня в мой очередной отпускной приезд и я, по ее звонку, исколесив, точнее, истоптав почти половину поселка, наконец-то нашла районную поликлинику, где Ларочка работала бухгалтером. Да, она мечтала стать врачом, а вышел

неплохой бухгалтер! Ее я узнала сразу, среди сидящих в большой, затененной старыми липами комнате женщин-бухгалтеров. И она бросилась мне навстречу. Потом говорила, что я "на лицо" не изменилась, только пополнела. Ларочка, мне показалось, вовсе не изменилась, даже прическа ее оставалась той же.

Мы обнимались и говорили, говорили и





Три сестрёночки-крестьянки.  
Чумазые «обезьянки»!

обнимались, не сдерживая переполняющих эмоций. Ночевала я у нее. Мы до утра не могли наговориться, взхлеб, перебивая друг друга. А ведь учились вместе всего два года! Не то, что с моей сельской, изменившейся подружкой Иринкой.

Назавтра Ларка обещала встречу находящихса дома, приехавших на выходные бывших

моих одноклассников.

И вот мы с нею стоим на центральной площади районного поселка у памятника поруганного и оклеветанного Ленина, позеленевшего от человеческой измены и предательства, но еще не снеженного в угоду новому времени.

Была поздняя осень. Шел снег с дождем, и я переживала, что не получатся уличные "фотки" из-за такой непогоды.

К нам быстрым шагом подходил чуть ссутулившийся высокий мужчина. Еще издали был виден его жестко-курчавый чуб на непокрытой крупной голове. Да это ж Венька Курченко! Да-да, Венька совершенно не изменился, будто и не было этих трех десятков лет! Даже красивая курчавая голова не поседела! И только небольшая сутулость свидетельствовала о прошедшем времени.

Мы обнялись. Венька не выразил никаких эмоций по поводу моей внешности. По это и понятно. Он и в классе у нас был самым умным, тактичным, интеллигентным парнем. Сейчас имел уважаемую про-



Подростшие сестрёнки вновь - Галина, Тома и Любовь!

фессию доктора. Где-то, в какое-то мгновение у меня промелькнуло: вот с кем можно по-свойски проконсультироваться по некоторым моим болячкам, но я тут же сама себя обругала, ехидно усмехнувшись: "правильно, молодец, нашла время и место!"

Следом за Курченко подошли две подружки: Ася и Тася. Эти, удивляясь, открыто рассматривали меня, ахали и охали. А я перенеслась в наш девятый класс и увидела Асю и Тасю, сидевших за первую партой, вернее, за первым столом и откровенно разглядывавших меня, новенькую, попавшую к ним случайно из какой-то деревни. И когда эта новенькая на одном из уроков географии, стоя у карты показала и назвала "Средиземное море", с ударением на букву "ё" - класс засмеялся.

Громче всех хохотали Ася с Тасей. Что же, это были счастливые девочки из достаточно обеспеченных семей, уже тогда следившие за модой и умеющие "подать себя". Они и сейчас у жизни были "на плаву", и сейчас ценили людей по своим меркам. Но я-то уже была другая! Не та застенчивая, наивная девчонка, у которой любая попытка стать иной: смелой и заметной, оборачивалась всегда смешным курьезом. Сейчас я могу без дрожи в коленках войти в любой кабинет, модно называемый офисом. Мне не страшен сидящий в нем важный господин. Он, прежде всего, смертный человек! Он такой же, как и я; он также кушает, писает и какает, болеет и радуется. Ну, подумаешь, у него сила и власть! Много денег и драгоценных побрякушек. Ведь все это материально и преходяще.

Да еще и опасно для жизни! Дьявол в нем свой правит бал, хотя новоиспеченный господин и бьет челом в божеском храме, дабы избежать преждевременной кончины, которую сулят ему ненавистные партнеры-завистники. И какая разница, что этого господина "покладуть" в золоченый, массивный гроб, а меня в простую домовину. Еще неизвестно, кто будет ценнее.

Но это уже "черное" лирическое отступление.

У меня же светлая грусть. Итак, на площади нас было пятеро. За краткое время моего размышления об извечных истинах, подошла еще одна семейная пара. И это было прекрасно! Я от души порадовалась за них. От школьного порога они ушли вдвоем и сейчас, благодаря моей Машине Времени, предстали передо мною сладкой парочкой. Я перенеслась в душистый, черемуховый май, в десятый класс и увидела худенького, невысокого Алика и такую же маленькую Аллочку. Они были так печальны и грустны! Им предстояла разлука: учеба в разных институтах. У меня щемило сердце. Казалось бы: я-то тут при чем?! И, зачем мне их забота, их любовь-печаль! А просто. По-человечески. Я завидовала им "белой завистью" и сама надеялась, что и меня скоро постигнет такое Чудо.

...Мы продолжали стоять на площади, поджидая еще кого-то. Ни Ларка, ни другие не старались обмолвиться именем ожидаемого.

Уже заметно стемнело. Кем-то было предложено "шагать в кафе". И тут, к нашей необычной компании, громко и горячо разговаривавшей, останавливающей на себе взгляды редких прохожих, приблизился высокий, солидный "с животиком", совершенно лысый мужчина.

Неужели этот "дядька" наш? - подумала я. Но этот "дядька" стремительно направлялся к нам. Я смотрела на него, совершенно не догадываясь, кто бы это мог быть из нашего класса? Нет, определенно, этот человек, наверное, просто чей-то близкий-знакомый. "Дядька" подошел, мельком окинул взглядом всю честную компанию и уставился на меня. Вот тебе и "дядька"!

А я, видать, - "тетка"! Такая же! Мы смотрели друг на друга. Хочешь - не хочешь, но он-то знал, кто перед ним, а я...

"Да, времечко не пощадило,  
Водю вешнею уплыло..."

- Ну, вы что же так и будете пялиться друг на друга? Жрать и выпить уже охота за встречу! С утра специально ничего не ел! - между нами возник Вадик Селютин.

- Давай, Санек, знакомься заново!

Боже ж ты мой! Так ведь это Сашка! Сашенька! Санечка! Грустное поветрие моей первой любви, так и не ставшее горячим ветром! Неужели это ты, притягивающий и одновременно отталкивающий меня в пору школьной юности?! Неужели это ты, тот самый мальчик, раскачивающий меня на стуле? Ты, иногда грубовато обрывающий мои горячие выступления и все же в душе переживающий за меня и всегда заступающийся... Я ведь все чувствовала это. И тянулась к тебе. Но ты тут же отталкивал. Ах, Сашка-Сашенька, чего ты боялся? Ты - всегда смелый, справедливый, чуть иронич-



ный, мог даже учителю высказать свое мнение, свое отношение и неординарные юношеские мысли. И многие тебя за это уважали. Я помню, как ждала объяснения, каких-то слов, как надеялась на Чудо в наш прощальный выпускной вечер. И ушла самой первой. Поняла, что ничего нет и не будет, убежав в июньскую белую ночь. Я бежала по хлипким кладкам заболоченной дальней улицы к дому своей тетки, к "двоюродному дому", ревела навзрыд, а бессонные лягушки во всю свою лягушачью глотку орали любовные песни. В эту ночь они, наверное, были счастливей меня.

А потом я искала встреч с тобою, ловила твой взгляд, но ты был уже другой. Оттого, что побыл с другой... И сейчас ты совсем другой!

Я еле-еле угадала дорогие когда-то мне черты и, не стесняясь, заплакала. Да, да, дорогой "другой" Саша Буренин, по прозвищу "Буря", я так и не скинула эти проклятые розовые очки и иногда по-прежнему ломлюсь в открытые двери...

В маленьком уютном кафе мы сбросились по денежке. Как всегда - не хватило, мы сложились еще, потом еще... Пили, ели, танцевали. А говорить было трудно. И не мудрено - ведь каждым прожитом в отдельности основная, "продуктивная" часть жизни, да и встретились мы тоже в пору "иной жизни", жизни без страны, без мечтаний, без романтических устремлений. В этой другой жизни царили и торжествовали сухой прагматизм, циничный расчет, бездушные отношения собственников. Машина Времени собрала нас на какой-то миг вместе, перескочив тридцатилетие и вновь разведет - доставит каждого к своему месту, своему предназначению и закрытому для других, очагу. Мне казалось, что я по-прежнему юная девочка, так как душой никак не могла воспринять свой новый облик



Три сестры (но не чеховские).  
Уже - женщины, любящие мамочки

толстой тетки, но ведь и у моих одноклассников были такие же души! И они, по-прежнему, чувствовали себя семнадцатилетними! И подтверждали это, доказывали в зажигательных движениях восточных танцев, коими наводнены сейчас бары, рестораны, дискотеки. Даже мы с Александром, ставшие солидными, дородными не уступали все таким же худеньким Алику и Аллочке, тряся своими полными телесами, как бы, даже гордясь и демонстрируя нажитое "добро".

У Сашки оказалось аж четверо детей. "Три сыночка и лапочка дочка!"

Вот те на! А он мне пророчил огромную семью, с кучей детей и домоседом-мужем, учитывая, наверное, мою деревенскую принадлежность и нехрупкое телосложение.

Тоненькая, как свечка девочка, из другого класса, тремя годами моложе Сашки, впоследствии ставшая его женой, одарила противника многодетности такой замечательной гвардией! Сашка, заметив мое удивление, к моему удивлению, сильно засмутился. И даже покраснел. Никуда не исчезли привитые нам в "совковом существовании" неумирающие нравственные постулаты, среди которых скромность и стыдливость. Хотя, чего же здесь стесняться? Многодетный отец - это звучит совсем не плохо. Жена Сашки занимает пост директора по районной культуре, а сам Сашка - ее личный шофер. Такой, вот, своего рода "культурный бизнес".

Вот и вся простенькая история жизни и любви, уложившаяся в несколько предложений на фоне пролетевших тридцати лет. А я ждала, опять ждала каких-то слов. Каких? И зачем? Но ведь я не насовсем сбросила, забыла "розовые очки"! Иногда, лихорадочно я отыскиваю их, запыленные и почти утратившие нежный розовый свет и...водружаю на свое лицо с изменившимся овалом.

...Ночевала я опять у Ларки. Уже давно не было ее гостеприимной мамочки; не сохранился и тот, диковинный для меня, белый ро-яль и жила теперь Ларочка в типовой двухкомнатной квартире с добрым мужем и красавицей дочкой.

Как славно, что наши души, пройдя через целую жизнь не изменились, оказались родственны и желанны друг другу. Как была я рада встрече, как благодарна Ларочке за ее организацию и как надеюсь на новую, будущую!

Наверное, пришла пора собирать камни, но не их я бы хотела иметь: ни драгоценные камни-бриллианты, ни простые валуны.

Я хотела бы собрать судьбы всех тех прекрасных, близких мне по духу людей, ценящих невысокое должностное положение, не богатое внешнее убранство, а обнаженную, открытую всем житейским ветрам, чистую, честную человеческую душу.

...Провожала меня Ларочка. Обидно до слез, что не увидела я двух других моих девочек: Милочку и Галочку. Но зато я нашла их адреса и, все же, надеюсь на встречу. А в поезде ехала уже не я.

Совсем другая женщина. Грустная женщина. Наконец-то, ощутившая, понявшая, принявшая саму себя. Машина Времени, перенесшая через целое тридцатилетие семнадцатилетнюю девочку из школьной юности в полную зрелость, доказала необратимость и закономерность природы.

"Увы, природа не дает нам шанса,  
И сколько ты, мой друг, не обольщайся,  
Все будет так, как ведаёт Она.  
Пройдет весна, минует счастье лета,  
Умчится осень песней недопетой  
И все остудит Вечная Зима..."

...Я возвращаюсь к моей бесценной находке - двум письмам-треугольникам пятьдесят четвертого года, как говорят сейчас, прошлого столетия. А мне не нравится такое выражение! И я не хочу говорить это слово - прошлое, я почему-то всячески избегаю его: прошлая жизнь, прошлая страна. Казалось бы, что значат эти два ветхих треугольничка?! Истлевшая, пожелтевшая бумага со стойкими чернилами из школьной непроливашки-чернильницы.

А какие человеческие судьбы зашифрованы в них! Как наблюдается здесь связь времен, связь поколений!

"Нет бесценны они и нетленны,  
Эти письма во все времена!  
Хоть какие грядут перемены,  
А душа Человека - одна!"



**"Брянские хаты, русские бабы".  
(лирические зарисовки обходящей деревне)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вечные ракиты или Грусть возвращения . . . . .	4
2. "Маруськин" или Незабываемая улыбка . . . . .	57
3. Ожидание . . . . .	91
4. Счастливый половичок или Поездка тетки на Алтай . . . . .	101
5. Праздники детства или "Баня" в Святки . . . . .	109
6. Продажа огурцов или Первый выход в город . . . . .	131
7. Жаренка - "гастрономический" рассказ . . . . .	138
8. Три Толика или Аромат черёмухи . . . . .	144
9. Ниночка . . . . .	168
10. Несостоявшаяся артистка . . . . .	195
11. Вторая родина . . . . .	205
12. Мои отпуска (зимние главы) . . . . .	221
1) Сломанная балеринка (глава I) . . . . .	221
2) "Двоюродный" дом (глава II) . . . . .	225
3) Хросечка (глава III) . . . . .	236
4) Два треугольника-письма или Машина Времени (глава V) . . . . .	267



БК 84-4  
Б-19

Автор выражает огромную благодарность  
работникам типографии ОАО ИПК «Соликамск» в лице  
замечательных женщин - Ирины Потаповой, Ларисы Мачужак,  
Нatalьи Шумковой, Ольги Зубковой, Елены Лапаевой -  
за их сердечное, человеческое понимание.

ISBN 978-5-89095-147-2

ОАО ИПК «Соликамск»

Лицензия А 108617 регистр. номер 017 от 28.02.1995 г.  
Формат 110х160. Гарнитура «Pragmatika». Печать офсетная.

---

Отпечатано в ОАО ИПК «Соликамск»  
618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск,  
Соликамское шоссе, 15, Телефон/факс 7-49-53.  
Заказ 4686.



